



Агриппина
Кореванова

МОЯ ЖИЗНЬ



АГРИППИНА КОРЕВАНОВА

Моя жизнь

ПРЕДИСЛОВИЕ

М. ГОРЬКОГО

ЕКАТЕРИНБУРГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2021

УДК 82-312.6

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

К66

Текст публикуется по изданию:

Кореванова, Агриппина Гавриловна. Моя жизнь : [автобиография уральской работницы-крестьянки] / предисл. М. Горького. — 2-е изд. — Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1938. — 351 с.

Кореванова, Агриппина Гавриловна.

К66 Моя жизнь : роман / А. Г. Кореванова ; предисл. М. Горького. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 363 с.

ISBN 978-5-7996-3247-2

Агриппина Гавриловна Кореванова (1869–1937) — уральская работница-крестьянка. «Моя жизнь» — ее первая литературная работа. Книга написана в форме автобиографии, но значение ее гораздо шире и глубже; она рассказывает живо и с большой силой о рабской доле трудящейся женщины, о жестоком гнете семейных и общественных отношений, о безграничной эксплуатации работницы капиталистами и мелкими хозяйчиками, о преследованиях царским самодержавием.

Книга подготовлена студенческой редакцией Издательства Уральского университета. Адресована филологам, историкам и всем, интересующимся романом А. Г. Коревановой.

УДК 82-312.6

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-7996-3247-2

© Уральский федеральный университет, 2021

© Оформление.

Поташев К. А., 2021

А. Г. КОРЕВАНОВА

На 68-м году жизни в Свердловске скончалась Агриппина Гавриловна Кореванова, автор замечательной книги «Моя жизнь».

Максим Горький, этот величайший писатель пролетариата, эпиграфом к предисловию, которое он написал к книге Агриппины Коревановой, взял грустные строки Некрасова:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться.
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Действительно, жизнь уральской работницы Агриппины Коревановой до Октябрьской революции — это темная пропасть бесправия, это страшная доля, на которую были осуждены миллионы дочерей и жен рабочих.

Агриппина Гавриловна была одной из тех стойких натур, которые сумели пронести через страшные условия рабского существования, сквозь вечную нужду и непосильный труд яркую мечту об иной, прекрасной жизни. Эта мечта сбылась, когда Коревановой было за 50 лет.

Красная армия освобождает Урал от колчаковских банд, Агриппина Гавриловна вступает в партию. В 65 лет она впервые берется за перо, чтобы рассказать о своей жизни. Она пишет книгу потрясающей правды, книгу простых и безыскусственных рассказов, по которым наша молодежь восстанавит картину страшной жизни, не известной ровесникам Октября.

Первый всесоюзный съезд писателей избрал Кореванову членом центральной ревизионной комиссии ССП.

Смерть лишила нас прекрасного товарища. От нас ушел человек большого сердца, до конца сохранивший материнскую любовь к товарищам, к великой нашей родине и молодую ненависть к врагам, к равнодушию и равнодушным.

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Так кратко и метко очертил положение крепостной крестьянки замечательный наш поэт-публицист Н. А. Некрасов. Положение это не стало легче после «освобождения крестьян от крепостной зависимости помещиками» в 1861 году.

Крестьянка и фабричная работница так же, как и раньше, принуждены были «до гроба покоряться» воле мужа, хозяина, работодателя — воле рабов идола — собственности. Церковь приучила мужчин смотреть на «баб» как на людей «второго сорта», как на существа низшего качества. Безграмотные, забитые до отупения каторжным трудом женщины жили в качестве домашних животных и производительниц «пушечного мяса» для казарм, для армии — для защиты русских помещиков, фабрикантов, лавочников, ростовщиков от нападения таких же немецких, французских, английских и других грабителей трудового народа — для защиты от них или нападения на них. Жили «бабы», выпевая позорную

и страшную судьбу свою в горестных песнях, жили в побоях мужей, в издевательствах хозяев и в бесплодной надежде выкарабкаться из нищеты, «нажить» корову, лошадь, увеличить клочок надельной земли, для того чтоб поднять на ноги детей. И когда мужу удавалось превратиться в деревенского кулака, жена обычно превращалась в существо еще более, чем муж, жадное, безжалостное к людям, еще более глубоко верующее в спасительность собственности. И вообще женщина, прикованная к своей избе, к своему жалкому, но тяжелому хозяйству, безграмотная, богобоязненная, была более невежественна, суеверна, безумна и безответственна, чем ее муж.

Девушки Советского союза только тогда поймут, почувствуют все величие работы партии Ленина, когда они познакомятся с каторжным прошлым их матерей и бабушек. Немые до Октябрьской революции женщины, крестьянки и работницы начинают сами, своими словами рассказывать о прошлом. Они пишут книги, и эти книги имеют значение исторических документов.

Именно таковы книги Елены Новиковой, Галины Грековой, Агриппины Коревановой. Это автобиографии, написанные для того, чтоб молодежь знала, как до Октябрьской, пролетарской революции жили «люди, обреченные на гибель», — именно такими словами определила Кореванова судьбу ее поколения.

Мы узнаем «земли родной минувшую судьбу» только тогда, когда хорошо будет знать условия жизни и работы трудового народа, когда оценим его «умственный багаж», накопленный веками рабской подневольной жизни. Узнав это, мы поймем, против чего мы должны бороться в самих себе, что должны искоренить в себе. Молодежь должна быть достойна эпохи, в которой она живет. Обычно сознание людей несколько отстает от бытия — так всегда было и так есть — в буржуазных обществах, которые при единстве стремления к наживе раздроблены бесконечным разнообразием частно-

собственнических интересов и бессильно путаются в пестрых теоретических формулировках оправдания и защиты этих мелких, жалких паразитических интересов.

Мы живем в стране, где все явления социальной жизни прошлого освещены ярким светом единой научной теории, которая применена к практической организации труда всех людей и дает небывало прекрасные, чудодейственные результаты. Мы живем в стране, где собственность как начало, разобщающее людей, уничтожено и где все более широко прививается начало коллективной собственности, освобождающее людей от идиотской, звериной необходимости борьбы друг с другом. Вполне понятно, что мы имели еще мало времени для того, чтобы вылечить от пороков, привитых индивидуализмом, которым люди руководились на протяжении веков. Но все же следует более энергично бороться с уродливым наследством прошлого, а для этого — повторяю — необходимо знать прошлое, ибо нередко бывает, что гнусная, мещанская его рожа все еще выглядывает откуда-то и, значит, оно живет среди нас.

М. ГОРЬКИЙ

часть первая

В ТЕМНОТЕ

Природа наделила меня крепким организмом и хорошей памятью, но жизненный путь указала суровый, подневольный и одинокий. С юных лет я потеряла семью: смерть отняла у меня мать, брата и сестру, и дальше, на протяжении всей моей жизни, я была предоставлена самой себе. Каждый мой шаг сопровождался тяжелой борьбой за существование. Если же где в какой-нибудь семье я укреплялась, словно злой рок следовал за мной: семья начинала распадаться, таять, и я снова одна.

И вот так всю жизнь: по извилистым и запутанным тропам, по ухабам и рытвинам шла я, надрываясь, к сегодняшнему прямому и светлому пути. И мне хочется рассказать об этом молодежи, которая не испытала того, что выпало на мою долю, и никогда не испытает. Узнать же об этом она может только из наших рассказов...

Узнает об этом молодежь и еще больше, глубже оценит ту жизнь, которая окружает ее сегодня, которую она сама себе строит заново...

СЕМЬЯ

Родилась я в июне 1869 года в семье ревдинского рабочего. Было в нашей семье тогда одиннадцать душ, я стала двенадцатой.

Семья к тому времени считалась уже вольной, но дух в ней все еще царил крепостнический, рабский.

Все чего-то ждали, чего-то боялись, от кого-то зависели.

Удушливая атмосфера окутала и отуманила мое детство, сделала неверными и нерешительными мои первые жизненные шаги и вредила мне на протяжении всей жизни.

Мужчин у нас в семье было четверо, все работали на заводе. Отец в гвоздарном цехе — гвоздарем. Он умел читать, средний его брат — Егор — тоже читал, хотя с запинкой, но писали оба, как курица лапой.

Все четыре женщины и та пятая, которая появилась уже при мне, были неграмотные. Ребят было трое: двое нас у моего отца и один у дяди Егора.

Дом, где мы жили, был старинный, длинный, стоял вдоль двора — две избы и между ними большие теплые сени. Из служебных построек — только один развалившийся сарай, с маленькой покосившейся дверью и без крыши. Помню, что и этот захудалый сарайчик потом разломали и продали. Были корова и лошадь.

Дед был в молодости крепостным рабочим на заводах Демидова и до глубокой старости работал на своего хозяина, за что получал в день пять копеек ассигнациями да ржаного хлеба пуд на месяц. Вот и весь заработок! После освобождения крестьян, в 1861 году, он был уже стариком, и на завод его не приняли.

Волей-неволей пришлось деду взяться за починку обуви.

В старости он сделался необщительным, до фанатизма религиозным и жил один в задней избе, где его никто не трогал, а в свободное время писал гусиным пером церковные каноны.

Бабушка, тоже крепостная, дочь рабочего, выполняла у ба-рыни черную работу, никакой квалификации не имела, была неграмотная, но сметливая и развитая.

Когда мне исполнилось шесть лет и я начала кое-что со-ображать, то запомнила, что бабушка торговала глиняной посудой (горшками, кринками) и мелким товаром: иголками, нитками и пр. Меняла на старые тряпки чугун и железо. Тряпки, что покрепче, рвала на ленты, ткала из них поло-вики и продавала. Таким промыслом поднимала детей, а их было сначала пять человек, потом один умер. Кроме того был у деда еще брат — малоумный, юродивый, его тоже надо было кормить.

Богачей, попов и старообрядческих наставников бабуш-ка недолюбливала. Не чтит также и чиновников. В церковь не ходила и не молилась. Об отце своем как-то умалчивала, даже ее дети не знали — кто он, где он. Только мне как-то ска-зала, что ее отец был участником бунта кучекладов на Рев-динском заводе в 1841 году.

Вот что я запомнила из рассказов бабушки о бунте ку-чекладов.

Кучеклады привезли на завод уголь. С них много взяли на утруску в дороге. Кучеклады забунтовали. Рабочие на заво-де узнали об этом, вышли и поддержали кучекладов. Три дня завод стоял.

Рабочие и кучеклады наступали на контору, требовали управляющего.

Тот вышел на лестницу. Забастовщики бросились к нему, но он успел убежать в контору и дверь за собой запер.

Бастовавшие окружили контору и три дня держали ее в осаде, думая, что управляющий долго там не высидит и сдастся на их требования.

Из города управляющим были срочно вызваны на усми-рение солдаты и казаки.

— Сдаетесь или нет? — спросили те бунтовавших.

— Нет, не сдаемся, нас обирают! — ответили рабочие и кучеклады.

Спросили три раза, и три раза рабочие ответили — нет. Тогда в них выпалили из пушки.

Которые остались в живых — бросились бежать. Кучеклады вскочили в короба и погнали лошадей. Поднялась суматоха, а казаки нападали на бежавших. Мужчин без разбора хватали, а женщины — то ли она одна была, то ли с ребенком на руках — все равно сшибали с ног ногайками. Бабушка была тоже с ребенком на руках, но каким-то чудом спаслась.

Когда приходилось мне бывать с бабушкой на кладбище, она всегда заходила на большую могилу, что была за кладбищем, и подавала тут нищим милостыню, но сама не молилась. Когда я однажды спросила, кто тут похоронен, бабушка вытерла углом платка слезы и сказала: «Это братская могила — тут много братьев убиенных!..»

И я по-своему, по-детски, поняла так, что у бабушки было много братьев и кто-то их убил. И детским сердцем сердилась на тех, кто их убил. Хотя сама бабушка и не любила подьячих (так тогда называли интеллигенцию и чиновников) и была неграмотна, но детей всех обучала грамоте, но не в школе, а у своих же мужиков. Трудно было тогда «черни» добраться до школы.

Жила она отдельно от мужа — с детьми. В одном доме, но по разным избам они жили.

Дядя Егор, средний брат моего отца, был высокий и тонкий, но неуклюжий и неаккуратный. Одеваться не умел и не любил. Рыжие, как золото, волосы носил в кружало. Карие умные глаза покрывал хитрецей. Был грамотный, но работать не любил. При крепостном праве работал в кузнице, но очень лениво.

После выхода на свободу ездил на захудалой лошадке в коробу по деревням и занимался тем, что менял мелкий товар и копеечные книжки на куделю, лен и холст. Бывало, что выручит, то и пропьет.

Дядя Егор меня сильно любил: возил мне гостинцы, а позже — книжки.

Мне теперь думается, что дядя Егор был неверующий, но тогда понять его мне было трудно. Бывало, соберутся к нам соседи и заведут разговор о боге. Дядя Егор сперва начинает рассказывать, что бог есть, и так убедительно, что все ему поверят, а потом вдруг зло засмеется, тряхнет головой и начнет доказывать обратное. А мужики сидят, разинувши рты, и не знают, что и думать.

Второй дядя, Лаврентий, младший брат отца, из всей семьи был самый грамотный и писал очень красиво. Хотя он тоже работал в кузнице, но был аккуратный и непрочь щегольнуть. Среднего роста, красивый, с черными кудрями, с темно-синими глазами, этот дядя был тоже безбожник и в церковь не ходил. Когда ему стукнуло 21 год, взяли его на военную службу, где он и служил семь лет. За красивый почерк он был посажен в канцелярию. Со службы вышел больным туберкулезом, но жену свою пережил и женился второй раз. Недолго прожил со второй женой — скоро и сам умер, оставив дочку-красавицу от первой жены.

Красивая и развитая тетка Федосья была выдана в зажиточную семью по принуждению своих братьев. Мужа не любила и детей носила редко. С помощью матери купила домишко в два окна и с мужем ушла в свой домик. Была гостеприимная и ласковая и, хотя сама воспитание получила в строго религиозном духе, детей своих держала вольно и всех учила грамоте в школе.

В праздники она любила погулять, аккуратно одеться и детей своих любила также красиво одеть.

Муж ее — кривой, пьяница, пыльщик бревен — был до того безграмотен, что не мог сосчитать четырех пятаков мелкой монетой.

Отец мой — Гаврила Федорович, крепостной рабочий-кузнец — был таким же, как и дед, религиозным и трудолюбивым. Прирабатывал, чем только мог. В этом помогала ему сметливость.

В свободное время и вечером он уединялся и усердно над чем-то работал. Я — тогда еще девочка — с большим интересом следила за его работой, но подходить к нему не решалась. Помню, как отец был рад, когда закончил свою работу. Эта была модель какой-то машины. Модель отцом была куда-то представлена, после чего он с волнением стал ждать ответа.

Но вышло так, что это его изобретение причинило ему же крупную неприятность: отца начали таскать на допросы. Потом модель оказалась в нашем чулане, лежала там несколько лет, и мы, ребята, возились с ней, она у нас изображала лодку с веслами.

Несколько времени спустя отец сердито сказал дяде Егору: — Выпустили машину, а машина-то по моему шаблону... Оборвали меня, изверги!..

После неудачи с машиной отец принялся было сеять просо. Приобрел где-то мешка два семян, но с просом у него тоже ничего не вышло. Семена, также как и модель, лежали в чулане несколько лет. Часть их детишки растаскали, а остальное куры поели.

У нас в заводе жило много беглых каторжан, и приходили они к окну просить милостыню. Застанут нас за столом, отец обязательно зовет их в избу и накормит всем, что есть у нас; ни одного не отпустит с пустыми руками.

Самой главной страстью отца были колокола. Бывает, что иной парень гармошкой увлекается или другим каким инструментом, а вот моего отца колокола захватили. Особенно же он любил звонить, как говорилось «во-вся», т. е. сразу во все колокола. Как только обедня к концу, он лезет на колокольню и начинает подыгрывать под ровный шаг. Под его звон ноги сами собой идут, как под музыку. За это его любили богатенькие мужички.

Кстати упомяну об одном случае. Охотников звонить на колокольне у нас было немало, но мастеров этого дела только двое: мой отец да трапезник другой церкви. Вот этот

трапезник возьми однажды да и подшути над архиереем, который приехал к нам на завод. По обычаю, если архиерей шел или ехал, его обязательно должны были встречать звоном. И вот, как увидел трапезник въезжающего архиерея, ударил во все колокола. А колокола как будто сами заговорили:

По улице мостовой...

Архиерей послушал-послушал, вылез из кареты, вошел в церковь и сейчас же потребовал к себе звонаря.

Перед таким лицом как архиерей тогда все трепетали. А звонарь предстал перед владыкой без страха, даже с некоторой развязностью. Архиерей осмотрел его внимательно с ног до головы и спросил:

— Это ты звонил?

— Я, ваше преосвященство!

— А что ты наигрывал колоколами?

— «По улице мостовой» я наигрывал, ваше преосвященство!

— А почему ты играл именно это, а не что-нибудь другое?

— Увидел я вас, ваше преосвященство, как раз на улице мостовой — вот я и пожелал вам весело доехать!

Архиерей не рассмеялся только потому, что в церкви этого не полагалось, он похвалил звонаря и дал ему на водку.

Так вот трапезник этот вызванивал песни, а отец мой — марши.

В скором времени после моего рождения дом наш пошел на разорение. Тетку Федосью выдали замуж. Отца призывали на военную службу. Льготами он не мог пользоваться — за ним стоял брат Егор и, как тогда говорили, «подпирал» отца годами.

В семье — горе, слезы. Ведь на двадцать пять лет берут! Мать и братья решили во что бы то ни стало освободить многосемейного отца от солдатчины. Дядя Егор вызвался пойти за отца. Поехали в Билимбаевский завод, стали там на прием — отца берут, а Егора забраковали: грудью не вышел.

Не знаю, кто научил бабушку найти вместо отца заместителя. Такого человека нашли. Чтобы расплатиться с ним, отцу и бабушке пришлось продать корову, лошадь и одежду. Но и этого не хватило. Пришлось еще дать денег — взяли их у кого-то под залог дома. Мало того, заместитель отца долгое время оставался еще дома и очень злоупотреблял своим положением. Он частенько появлялся у нас и кричал отцу:

— Угощай, Гаврила Федорович! А то не пойду в солдаты!

Очень трудно пришлось тогда отцу. Работал день и ночь. Часть дома отломали, сарай продали, и все же отец не мог заполнить изъян. Семья наша впала в бедность, почти в нищету.

Как нарочно, к этому времени начались другие невзгоды: умерла моя старшая сестра, за ней умер и дед. Дядю Лаврентия взяли в солдаты, а жена его уехала вместе с ним. Егор, средний брат отца, стал лодырничать. В семье пошли ссоры, раздоры. Отца на каждом шагу укоряли:

— Из-за тебя разорились!

Отец не мог этого перенести и задумал уйти из дома. Напротив нас продавался полуразвалившийся домишко: ни ворот, ни сарая, даже не огорожен был. Отец купил его за сорок рублей и стал просить бабушку выделить ему пай. Бабушка рассердилась, ей не хотелось его отпускать. Она любила всю нашу семью — отца, мою мать и меня, да и на среднего сына Егора не было надежды, что он будет хорошим хозяином.

— Лучше бы уж Егора выделить, — говорила она, но Егор и не думал выделяться.

Так и ушел отец в купленный дом ни с чем. Жили бедно, семья с каждым годом прибывала, а заработки были грошовые. Отец в ту пору работал в частной гвоздарке кузнецом.

Вслед за отцом ушел из дому и дядя Егор: не в его характер было быть хозяином — он не любил работу. Бабушка осталась одна.

Помнится, мне рассказ отца о том, как в 1861 году «освободили» крестьян от крепостной зависимости: «После 19 фев-

раля 1861 года нам на сходе в волостном правлении вычитали манифест царя-батюшки о том, что он выпустил нас на свободу, что мы больше не будем работать на барина. Нас обещали наделить землицей. Как мы были все рады! В тот день только и было разговору по заводу о том, что мы теперь свободные, не барские. Но на следующий день призадумались — как жить, за что взяться? А на сердце было беспокойно — как будто что-то потеряли. Многие даже говорили, что хоть у барина и плохо было и тяжело было, но все же он как-никак кормил нас. Вот землю дадут, а семян нет, чем же будем засеивать? Но были и такие, которые не растерялись.

Когда работали на барина, нам выдавали хлеб на всю семью: ребятишкам до одного года — десять фунтов, до трех лет — двадцать фунтов, с трех до пятнадцати лет — тридцать фунтов и с пятнадцати лет уже как на взрослых — один пуд. Заработок на заводе и на других работах — пять копеек асигнациями в день, т. е. полтора рубля в месяц. А по выходе на свободу и этого у нас не оказалось. Что делать — пришлось пойти к барину просить работы. Барину это, конечно, на-руку. Пошла чистка и сортировка: здоровых и молодых приняли и объявили им самую ничтожную плату, а больным и старикам отказали. А за что они должны были взяться? Ничего ведь не знают, ничего не умеют! Да и силы уже ослабли.

В числе отброшенных был и мой отец — твой дед. Вот он и занялся дома починкой обуви!

Объявили надел земли. Мы обрадовались, думаем: «Ну, вот теперь будем с землей, теперь оживем!» Спросили рабочих, кто сколько имел прежде земли и какую. А у нас земли и вовсе не было.

И оказалось, кому отошла та же земля, что он имел и раньше, до надела, кому — другую дали, а у кого отобрали даже и покосы.

На нашу семью дали три деланки — покосы, которые мы когда-то сами расчищали, а на отца, как на старика, и вовсе

ничего не дали. На мою долю выпала делянка длинным проулком, между высоким лесом, так что траву сушить негде, не хватает солнца, да и один конец — болото. Егору дали на восемнадцатой версте лесистый и болотистый клочок, а младшему — Лаврентию — лужайку, на которой и травы-то никогда не растет. Вот и все покосы, вот и земля, весь надел! А заимки, т. е. пахотную землю, получили только богатые мужики, да и то человек десять, не больше. Лесу не дали. Дров надо или строиться надо — покупай у барина, как мы называли, в «казне». А семья-то с каждым годом прибывает и прибывает...»

Мать моя — крепостная крестьянка, кучекладка. В селе Краснояре, где она родилась и выросла, были все кучеклады, т. е. выжигали в кучах древесный уголь для заводов своего хозяина Демидова.

С малых лет моя мать осталась без родителей и жила батрачкой у своего дяди.

Как-то увидели ее моя бабушка и отец. Она им понравилась, хотя и была старше отца на три года и никакого за ней не было приданого. Ну, да бабушка и отец не гнались за приданым — им нужен был хороший человек. Отец женился. Вскоре вся семья полюбила мою мать. Она была красивая, умная женщина, скромная, приветливая и жалостливая. Около нее всегда вились сироты и калеки. Она им помогала всем, чем можно. Ни с кем никогда не ссорилась. Все соседи уважали ее. Воспитана она была в строгости, грамоты не знала, но после замужества научил ее муж и письму и счету.

ДЕТСТВО

Как из тумана встают два-три воспоминания.

Мне было три года. Я выскочила во двор, где находился плохонький амбар с маленькой покосившейся дверью. Я за-

метила, как бабушка низко-низко наклонилась и полезла в дверь. Я полезла за бабушкой. В амбаре был бабушкин склад — кринки, горшки и прочий хлам. В ярком солнце увидела еще дедову избу с зелеными ставнями. Забежала я к дедушке, а он сидит за низеньким столиком, и волосы перетянуты ниткой, чтобы не мешали работать — сапоги чинить.

Ну и второе, что мне врезалось в память, — шумная свадьба дяди Лаврентия. Он с невестой приехал от венца. Бабушка благословила молодых и посадила за стол. Я залезла на лавку и пошла по ней мимо зеркала, а на нем висело новое полотенце молодухи. Я села рядом с дядей, посмотрела ему в глаза и спрашиваю:

— Дядя, это твоя невеста?

Все почему-то рассмеялись, а бабушка взяла меня на руки и вытащила из-за стола.

Помню еще, когда дядя Лаврентий гулял в рекрутах. Его шапка была вся в цветах. Он приехал с приемного участка, залез на печь греться. Я сижу с ним на печи и тут же заметила, что у него нет волос, а волосы у него были длинные, концы даже завивались.

— Дядя, а где у тебя волосы?

Он ничего не ответил.

Перед рождеством новобранцев отправляли по разным городам, родные съезжались провожать их. Мы тоже поехали в Екатеринбург провожать дядю Лаврентия. Мы с бабушкой вошли в казарму и встали у двери. Солдаты во всем обмундировании и с ружьями ходили вокруг большого стола и пели:

Пойду я, выйду я во доль, во долинушку!..

Эту песню я помню и до сегодняшнего дня.

Один из солдат — «старшой» — разгуливал по столу и командовал:

— Раз-два! Раз-два!

Потом они быстро поставили к стене ружья и, толкая друг друга, куда-то побежали.

— За обедом побежали! — пояснила мне бабушка.

Обедали они на том же столе, по которому ходил начальник. Скатерти на столе не было, все ели, стоя, большими деревянными ложками из жестяных тазиков.

Рано утром мы снова были у казармы. Солдаты стояли рядами — каждый у своей котомки. Кругом мужики и бабы. Вышел начальник и командовал:

— На лошадей!

Багажные мешки солдат как будто сами собой стали громоздиться на телегу. Поднялись плач и вой. Мне страшно стало, я прижалась к бабушке. В это время появился дядя-солдат. Он поднял меня, поцеловал и сказал: «Ну, прощай!» Тетка Просковья, его жена, ухватила за дядю, голосом воеет, дядя тоже заплакал, оттолкнул ее и убежал к телегам...

Весь народ пошел за обозом. Пошли и мы. Я смотрю вперед, на небо, и вижу: небо слилось с землей и как будто лежит на крышах. Иду и думаю: «Вот дойдем до того дома, дальше итти некуда!» Дошли мы до тех домов, где небо лежало на крышах, а там стоят на столбах окаменелые птицы с крыльями и с двумя головами.

— Почему у птицы две головы? — спросила я бабушку.

Та мне ничего не ответила.

Посмотрела я на небо, а оно поднялось, отодвинулось и стало широкое, но почему-то темное. А солдаты ушли уже далеко вперед. Потом они слились с темным небом.

— А где же дядя? — спросила я.

Мне указали в темноту.

После отъезда мужа тетка Просковья сильно заскучала.

Помню, сидит она, что-нибудь починяет или вяжет, да и запоет:

Вот посохла и поблекла травка без дождя...

Все подруженьки с друзьями, только я, млада, одна.

Поет, а сама плачет.

Меня все удивляло: почему она плачет?

Не вытерпев разлуки, тетка ушла к мужу. Помню, собралось много женщин и среди них тетка Просковья, и все они были одеты по-дорожному, но куда они шли и зачем — не знаю, наверное, куда-то далеко, на богомолье. С теткой шли ее мать и сестра, и все плакали. Дошли до заводской плодины, тетка со всеми попрощалась, а потом подошла ко мне:

— Ну, прощай! Когда я вернусь — ты будешь уж большая... Помни тетку Просковью!..

Тут я только почувствовала глубокую к ней любовь, мне стало ее жаль, и из моих глаз покатились слезы.

Стали приходить письма от дяди Лаврентия. Бабушка получает письмо — целует его и плачет, ждет отца. Вечером придет с работы отец — читает, а бабушка опять плачет.

Зимой почему-то бабушка доила корову в избе. Принесет сено, положит в лохань, обольет горячей водой, посыплет отрубями, сильно перемешает и дает корове. Над лоханью облаками подымается пар, я стараюсь поймать его руками и никак не могу.

В детстве я была настойчива. Если мне что-нибудь было надо и не дадут, я все равно добьюсь своего, подыму такой гвалт, что хоть святых вон выноси. Никто не мог меня отучить от этих капризов. Помог один нищий — Мартяжка. Бывало, как только закапризничаю, мать этак таинственно посмотрит в окно и с испугом говорит мне:

— Мартяжка!.. Вот он идет!..

Одного слова «Мартяжка» было достаточно, чтобы успокоить меня. Я бросаюсь на печь, прячусь за трубу и долго там сижу молча.

Случалось, что Мартяжка и в самом деле заходил к нам. Тогда я стремительно пряталась на печь и закрывалась с головой полушубком. Печет мне колени и локти, нечем дышать, задыхаюсь, а пошевелиться боюсь, как бы Мартяжка не услышал.

А тут как назло мать и говорит:

— Мартяжка, у нас вот завелась страсть какая капризная девочка. Ты возьмешь ее себе?..

А Мартяжка, слышу, как в трубу, отвечает:

— И-и-и-и, да вы мне только скажите, когда она каприз своей покажет!.. Вот я ее возьму и посажу в мешок... Я вот таких маленьких собираю и в мешок сажаю.

А я лежу, как мертвая. Уж больно он был, Мартяжка-то, страшен.

Каков он был в молодости — не знаю, но, думаю, волосы его стоили многих женских слез: до того они были черные и кудрявые. А потом нищета состарила и обезобразила человека, волосы потеряли свою привлекательность, спутались, сбились... Борода, как метла, длинная и широкая, закрыла все лицо. Из бороды сверкали только глаза. Был он высок, широкоплеч и носил армяк. Малахай на голове — как воронье гнездо, ноги в рваных лаптях, а на боку висел огромный мешок, куда он собирал, кто что подаст.

Когда мне было лет пять, я заболела оспой. Оспа на меня насыпалась редкая, крупная.

— Хорошая оспа! — сказала бабушка.

Она унесла меня в баню, попарила и тем же веником выпарила здорового внука — сына дочери. На мальчика оспа насыпалась сильная, трудная, он долго болел. Как терка, корявый стал. Потом, взрослый, все меня корил:

— Через тебя я корявый хожу!

НАША СЕМЬЯ В ГОРОДЕ

Не помню, как мы приехали в Екатеринбург и чем был вызван этот переезд.

По приезде в город отец долго искал работы, не нашел и поступил в Спасскую церковь трапезником. Мы жили в одном с просвирней флигеле. У ней жила еще какая-то женщина.

Один раз я играла в огороде. Только что прошел дождь, и было тепло. Легко и заманчиво в мутных лужах качалось солнце. Я бродила по лужам и наблюдала, как рассыпается солнце на целые пригоршни звезд. В это время мимо шла женщина и сказала мне:

— Девочка, зачем ты бродишь... Ведь ты вся испачкаешься грязью, как свинья!

Мне это показалось очень обидным, и я выпалила:

— Сволочь!

Она пошла и рассказала все моей матери. Мать здорово отдула меня да еще заперла в чулан.

Отец в будни в свободное время писал каноны прихожанам. Я всегда вертелась около него и даже в церкви стояла с ним рядом. В церкви у меня была своя обязанность: во время земных поклонов подставлять богатым женщинам маленькие табуреточки с мягкими подручниками. Как только поклоняться — я их убираю в сторону, нужно — снова подставляю.

Барыньки меня за это любили и часто баловали.

Когда мне исполнилось семь лет, в день моих именин мне прислали платьишко. Чудесное было платье: по кремовому полю разбросаны редкие горошинки. Разве я теперь могу передать ту радость, что захватила мое сердце?!

На второй день после именин отец посадил меня учиться грамоте. Написал сам азбуку и учил по-славянски: аз, буки, веи, глаголь, добро и т. д. Все буквы я выучила в один день. После этого он перешел к слогам: буки-аз — ба, веи-аз — ва и т. д. Потом взялись за двусложные: во-да, му-ка. Остальные я уже слагала сама. Память у меня была хорошая, и я быстро двигалась вперед.

В Екатеринбурге мы прожили недолго, вскоре отец перешел на другую работу — на постройку Тюменской железной дороги. Мы тогда жили около теперешней станции Косулино в железнодорожной будке.

На новом месте было весело. Да и родители мои чувствовали себя здесь не так, как в церкви: унылыми и придавленными. Они повеселели и ободрились, хотя и жили по-прежнему в бедности.

У отца работы было мало, и он часто ходил вместе с рабочими бурить каменистую почву для прокладки железной дороги.

Я быстро подружилась с рабочими. Меня они полюбили, и, кто что купит, обязательно делятся со мной. Многих я знала по фамилии. Целое лето я провела в лесу. Как было весело!.. Ягод много, много людей и воздух — не надышишься!

Теперь несколько слов о моем друге Пермякове. Он жил на горе в землянке, что за нашей будкой. Я почти ежедневно бывала там и с интересом наблюдала за его работой. Он был «запальщиком». Рабочие бурили скважины, в которые вкладывался динамит, он поджигал фитиль и производил взрывы.

Осенью дни пошли дождливые, ветреные. В один из таких дней отец мой вместе с рабочими бурил камень. Недалеко от работ Пермяков развел костер и, стоя у огня, грелся, а динамит положил где-то поблизости.

Рабочий Голышев тоже подошел к костру. Во время разговора он свернул папиросу, взял головню, закурил и бросил ее в сторону. Головня попала в динамит, и произошел взрыв. Голышева бросило на спину. Он ударился с такой силой, что его глаза выскочили из орбит и кровяными шариками сползли на щеки. Рабочие в испуге повыскакивали из ям и стали яростно бранить Пермякова:

— Што ж ты, мать твою... не дал сигналу?!

— Взорвать нас захотел, сукин сын?!

Когда же дым рассеялся, рабочие увидели, что ругать некого. Пермяков исчез. Голышев, придя в себя, успел еще рассказать, как все произошло. Рассказал и умер. Стали искать Пермякова. Собирали его по частям: где руку, где ногу. Долго искали голову — ее отбросило далеко за кучу камней.

Так погиб мой первый в жизни друг.

С началом зимы жизнь на линии замерла.

А главное, не было близко воды. Когда было тепло, воду мы брали из болота, а с наступлением морозов все застыло, и за водой нужно было идти за несколько верст. Да было и еще немало других причин, что заставило нас покинуть будку и вернуться домой на Ревдинский завод.

Отец опять пошел в гвоздарку, и жизнь наша вошла как будто в свою колею.

Однажды мать куда-то вышла, и без нее к нам пришла нищенка Паша Бакина. В печурке в это время лежало недавно купленное мыло. Пришла мать,хватила мыла, а мыла нет.

— Где мыло?

— Не знаю!

— Кто тут был?

— Да никого не было, только Паша Бакина...

Мать рассердилась и отстегала меня опояской. Потом ей, видно, жаль меня стало, и она притянула мою голову к себе на грудь, стала ее чесать и заплакала.

— Вот умру я скоро, а отец возьмет другую жену, и будет она тебя бить, и некому будет за тебя встать... На отцов надежды мало. Будет новая жена — будут и новые дети... И будешь ты как чужая... Когда я умру — косыньку твою расплетут...

Плачет надо мной мать, плачу и я...

А мать была в ту пору беременная и ходила последние дни.

СЕМЬЯ РАСПАДАЕТСЯ

В апреле мать родила мальчика. Роды были очень тяжелые. Отец побежал за акушеркой, она сказала, что за день устала, и обещала прийти только на другой день. Как будто с этим делом можно было обождать, покуда она отдохнет! Мать промучилась всю ночь, а к утру умерла. Часов в восемь

утра пришла акушерка, мельком взглянула на труп матери, издали посмотрела на ребенка, ни о чем не спросила, повернулась и ушла.

Маму одели и положили на стол. Прибежали бабушка, соседки, тетка Федосья — они все любили маму. Поднялся плач.

Мать похоронили. Нас, детей, осталось четверо: мне — девять лет, брату — шесть, сестре — три года и вдобавок еще маленький ребенок. Бедность. Чужого человека держать — платить надо.

Отцу тогда было тридцать три года. Вскоре он нашел невесту — девушку двадцати лет, Марию Прохоровну. Тогда двадцатилетняя девушка считалась уже засидевшейся невестой. Свадьбу назначили через две недели, но в день, назначенный для свадьбы, умер маленький ребенок — не мог выжить без матери. Свадьбу отложили. Трехлетнюю сестру взял к себе дядя Егор. Нас осталось двое.

В день свадьбы отца все были настолько заняты, что некому было даже подоить корову, я пошла сама. Села доить не с того бока — корова не дается. Долго я билась, пока не догадалась пересесть на другой бок. Принесла я домой молоко, процедила в кринки, вымыла подойник, надо его положить на полку, а высоко — достать не могу. Недалеко стоит молодая мачеха, смотрит, как будто это ее не касается. Я стою с подойником и думаю, как я ее назову? Мамой — она мне не мама; теткой — она не тетка. Назову ее мамонькой — это будет и красиво, и мамино имя не дам. Подошла к ней и говорю:

— Мамонька, положи подойник на полку!..

Потом уже так и звали ее до конца.

Перед свадьбой мы, ребята, играли на улице в краски. С меня взяли фантик, за выкуп фантика мне назначили работу: бревна возить — тереть лбом о бревно. Очень уж усердно я «возила бревна», так что на лбу у меня образовалась большая короста.

— Что это у тебя на лбу? — строго спросила меня новая мать.

Недолго думая, я выпалила:

— Бревна возила!

Все расхохотались. Только новая мать не усмехнулась и молча, с пренебрежением отошла от меня.

Знала ли я тогда, что этими «бревнами» кончалось мое детство?! Знала ли я тогда, что этот смех над моим лбом был последним родственным смехом?!

В июне заболел оспой брат. Лежал долго, уход за ним был плохой: я мала, неопытна, мачехе не жаль — умирай!

Вслед за братом заболела оспой и сестра. За ней ухаживали бабушка и взявшая ее к себе тетка. Сестра с неделю пролежала и умерла, а брат болел до того тяжело, что оспа выжгла ему оба глаза. Я бессменно сидела около него. Мачеха никакого участия не проявляла...

В середине июля он умер. Я осталась одна.

За три месяца — четыре покойника... На отца жаль было смотреть. Он не находил себе места. После похорон брата я затосковала: были — и вот никого не стало. Заберусь куда-нибудь в уголок, чтобы никто меня не видел, да и плачу, выливаю стенке свою боль. Поплачу — оно и легче станет, будто короста сползет с сердца.

Бабушка еще при жизни брата сшила мне новое платье, я его надела, ушла в огород, долго сидела там и плакала, по-детски причитала:

— Мама, родимая мама! Как мне тяжело! Ты всех взяла к себе, а меня оставила...

Мне очень хотелось посмотреть хотя бы могилы: мамину, брата и сестренки. Кладбище было недалеко, но там росли густой стеной деревья. У нас среди двора стоял высокий столб. Я кое-как на него взобралась, ухитрилась встать даже и посмотреть в сторону кладбища. Потом решила соскочить и убежать туда. Во время прыжка ветер раздул мое платье, и оно зацепилось за столб. Получилось так, что я на своем платье повесилась, не могу ни вскарабкаться обратно, ни упасть

вниз, трепыхаюсь, как птица, и молчу. Не знаю, чем бы это кончилось, вероятно, меня платье задушило бы: уж очень душил ворот, а расстегнуть его я не могла. В это время вышла во двор мачеха и, увидев меня в таком положении, сначала расхохоталась, а потом закричала:

— Куда тебя нечистая занесла!.. Платье рвать?! А если бы ты убилась?! Отец-то и так не пособится с вами, все мрут, точно я виновата!

Вечером пришел домой отец. Молодая жена, верно, пожаловалась на меня.

— Скажи, зачем ты лазила на столб? — спросил меня отец.

— Я смотрела на мамину могилу... Оттуда ее видно!.. — ответила я, прижалась к нему и заплакала.

Когда я подняла лицо и посмотрела на отца, увидела в его глазах крупные слезы.

— Не надо было жениться, если не можешь забыть старую жену! — сказала мачеха и, сердитая, ушла в горницу.

МОЯ ШКОЛА

Подошла зима. Ребята идут в школу. Школа за нашим огородом. Во время перемены ребята бегают, играют. Я украдкой убегу из дому и присоединяюсь к ним. Дают звонок на занятие: ребята — в школу, а я — домой.

Просила отца, чтобы он отдал меня в школу, тем более что я по складам уже читала.

— Где уж нам в школе учиться, — хмуро ответил отец, — разве тебя примут?.. Из черни мы!..

Он отдал меня в ученье к грамотному мужику, а не в школу.

Мужик бегло повторил со мной азбуку и начал учить меня читать каноны, потом заставил писать палочки. Ходить к нему было далеко, а одежда и обувь у меня плохие. Я просту-

дилась и заболела. После болезни меня опять отдали учиться и опять не в школу, а на этот раз к соседке — через дом, с ней мы твердили псалтырь. Но вскоре у мачехи родился ребенок, и я стала нужна дома... Так мое ученье ничем и не кончилось. Мне очень хотелось читать, но дома кроме псалтыря и канонов никаких книг не было.

Отец купил за пять копеек маленький календарь. Днем мне читать не давали, а вечером не было огня. Бывало, ночью, когда все спят, я возьму календарь, сяду к окну и читаю при луне. По вечерам у нас в доме всегда топили железную печку и ложились отдыхать — это называлось сумерничать. Едва только мне удавалось освободиться от ребенка, я хватала календарь и — к печке. Огонь в печке горит неровно, а дверку открыть боюсь. И я пользовалась только тем, что дарила мне печка через дверные дырочки.

Часто попадались такие буквы, которых в славянской грамоте я никогда не встречала. Буквы те же, но печатаются они иначе, разбирать мне их было очень трудно, а тем более цифры. Если мне удавалось самой догадаться, какая это буква, я чуть не кричала от радости. И как только отец станет вечеровать, я подбегала к нему и показывала новую букву, спрашивала, так ли она называется. Первое время он относился к моим занятиям очень участливо, любил меня, но потом стал отдаляться от меня.

— Некогда мне! — отвечал он на мои вопросы.

Обычно таким он бывал — я это заметила — только при мачехе. Я поняла это и больше при мачехе к нему не приставала.

Но как только она уйдет, я к отцу, жмусь к нему и ласкаюсь.

— Эх, ты-ы-ы, горе мое!.. — скажет он, и я вижу, что у него на глазах слезы. — Нет у нас мамки-то!

Заплачу и я.

— Это что еще нюни-то растянула?! — слышу я злобный голос мачехи. — Кто тебя тронул?

— О матери скучает, вот и плачет! — защищает меня отец.

— Чего о ней скучать-то? Давай и ты, седой, поплачь!..

Мне жаль отца, я чувствую, как тяжело ему от этих укулов мачехи. Я еще больше плачу от жалости и к нему и к себе.

— Замолчи! — кричит мачеха. — А тебе не надо было жениться, — бросается она на отца, — сидел бы, обнимался с дочерью!

Как-то раз у нас были гости и пели песни. Отец мой был хорошим песенником, и, подвыпивши, он запел свою любимую песню. Тетка, его сестра, стала ему вторить. Складно у них выходило. Слов этой песни я не заучила, но смысл песни был таков: донской казак лишился своей любимой жены и детей...

Отец дошел до этого места, как-то оборвался, всхлипнул и горько заплакал. Сестра поняла слезы брата, обняла его, стала утешать, но и сама заплакала. Сидят, плачут и вспоминают мою мать.

Я стояла у дверей, и воспоминания о моей матери и неподдельное горе отца и тетки передались мне. Чувствую, как подкатился клубок к горлу, не проглотишь. Потом застлались глаза водянистым туманом.

Кто-то сильно толкнул меня в спину.

— Чего растянула нюни-то! Иди качай ребенка! — расслышала я шипенье мачехи.

Что было назавтра моему отцу от мачехи — не знаю, знаю только одно, что с этого времени я не слыхала больше от отца этой песни. Жена запретила ее петь.

Но я уклонилась от главного.

Урывками я научилась читать не по складам, а, как говорил отец, по верхам, т. е. правильно и скоро.

В то время дядя Егор жил у нас в доме. Работать он, как я уже говорила, не любил и потому занимался легким делом: собирал всякие отбросы и менял их на мелочный товар: нитки, иголки, медные и оловянные колечки и пр.

Основными его поставщиками были ребяташки. Зная, что родители не дают им денег на покупку книжек, а книжки

дети любят, дядя начал покупать двух-, трехкопеечные книжки, которыми и расплачивался с ребятами. А ребята потащили ему тряпки, железный лом. Потом по просьбе ребят дядя привозил карандаши, перья, ручки. Тут уж мне стало житье! Дядя меня никогда не обходил. Привезет книжки, отберет несколько штук и даст мне:

— Вот возьми почитай, славная книжечка «Гаук», а то вот почитай «Житие Марии Египетской», да шибко-то не мни, не марай. Прочтешь — продадим ее, а тебе другую дам. Да подалее прячь, чтобы мачеха не изорвала!..

Потом дядя стал возить гражданские азбуки. Сколько радости было у ребят, сколько споров и драк! Каждому неграмотному нужна была азбука. Выменяют ребята азбуку и тут же спрашивают:

— Дяденька, а это какая буква? А это какая?

И дядя Егор отвечал.

Иногда незаметно такие ответы затягивались на часы и переходили в настоящие занятия. Он объясняет, а ребята смотрят — каждый в свою азбуку.

— У меня тоже есть такая буква! Вот она...

А иной мальчик прибежит домой, еще двери не успеет отворить, а уже кричит:

— Мама, я азбуку выменял, дяденька нам буквы показывал! Вот это буква — «А», эта — «В»!

Такой порыв ребят грамоте многих родителей наталкивал на мысль: учить надо парня, но куда отдашь? В школу не принимают, говорят:

— И без ваших ребят школы переполнены! (Тогда на весь завод была одна школа, учились в ней только дети купцов и служащих.)

И как бы себе в успокоение родители говорили:

— Да и куда вам грамоту, в заводе и неграмотным робить можно!..

Мне шел одиннадцатый год. Весь день я сижу у колыбели и качаю ребенка. Покуда мачеха в избе, книжка где-нибудь

припрятана, но как только она выйдет, я скорее книжку в руки.

Бывало, придет мачеха, а я, увлекшись книжкой, качаю ребенка, который давно уже заснул.

— Вот навязалась на меня грамотейка! — закричит она. Вырвет у меня книжку, прибьет меня, а книжку куда-нибудь спрячет. Я плачу, но все же поглядываю — куда она ее прячет.

— Грамотейка! — не унимается мачеха. — Мы ведь не подьячие — за книжкой сидеть. Я вот и неграмотная, да не хуже людей. Выбью вот из головы эту грамоту, вперед не захочешь!..

После первого ребенка у мачехи родился второй, потом третий. Только один немного начнет отходить от рук, как появляется следующий, а то и два враз. И так не было мне отдыха от ребят до самого моего замужества.

СЕМИК

Семик — это седьмой четверг после пасхи. Праздником назвать нельзя, но и к будням этот день не подходит. В семик вечером обычно гуляла молодежь. Помню я один такой семик. Послали меня искать барана, который не вернулся вечером домой.

Иду я и вижу — полна улица народу. Подбежала ближе, смотрю, девушки с березкой идут. Березка украшена разноцветными лентами и цветами. Одна девушка в венке из живых цветов. Она пляшет, держа в руках березку. В пару с ней пляшет вторая. Вокруг них хороводом идут ряженные. Вот ворочает клювастой головой огромная птица. Топчется медведь с кольцом во рту, тут же пыхтит и играет толстым задом расфуфыренная барыня, к ней нахально пристаёт пьяница с бутылками. Все поют, пляшут. Я так загляделась на эти диковинки, что и не заметила, как с толпой прошла мимо дома.

Вот уже и заводская плотина.

Процессия поворачивает к господскому дому. С другой стороны селения вышла такая же толпа ряженой молодежи в сопровождении ребятишек. Остановились все посреди господского двора и ждут чего-то...

— Барин вышел, барин! — прокатился по толпе шепот...

Следом за барином из дома на балкон начали выходить другие господа: мужчины, женщины, молодежь... Полный балкон.

— Начинай! — крикнули с балкона.

Ряженные пошли хороводом, запели песню:

На горе лужок да зеленешенек...

— Веселую, — кричат господа, — веселую!

Молодежь встала в круг. На середину вышла девушка с березкой, потом вышла еще одна. Круг запел:

Во поле березонька стояла!

Девушки стали плясать, потом запели:

Ай, во лузях, во лузях...

Заиграла гармошка, вышел парень и стал плясать. Вихрем закружились все ряженные. Заплясали даже мальчишки по закругу.

На балконе хохочут. Вот встает важный барин, подходит к перилам и бросает что-то в круг пляшущих. Все ряженные кинулись на землю. Поднялся смех, все толкают друг друга, что-то хватают.

На балконе хохот. Оттуда в самую гущу молодежи бросают ящик, который падает кому-то на голову. Из ящика сыплются дешевые пряники. Тут уж все смешалось в одну кучу. Визг, крики:

— Ой, ногу!.. Ногу!..

На балконе усиливается хохот. Барин, еле удерживаясь на ногах, дает кому-то знак... Два господина в белых кителях выходят на балкон с ведрами. Вот качнулось у первого ведро, на ряженных хлынула вода, вслед за этим ведром опрокинулось второе, третье... В толпе никто не успел отскочить. Все вымокли, грязными клочьями повисли на девушках праздничные наряды, цветы... Молодежь стихла. А на балконе так и валятся от хохота. Барин уже не может смеяться, он только крикает и вздыхает: «Ох! Ох! Ох!» При этом он так держит свое брюхо, точно из него вываливаются все внутренности.

Мне стало страшно. Я вспомнила про барана и бросилась бежать домой. Бегу и думаю — что сказать, как же я без барана-то?! Вижу, у ворот стоит отец.

— Ты где была?

— Барана искала, кругом бежала, нигде нету! — солгала я.

Вижу, мачеха смотрит в окно. Мне почему-то стало стыдно перед отцом.

— Тятя, я с березкой ходила! — тихо сказала я.

— Ну, уж молчи, глупая, матери не говори, — так же тихо ответил он, — меня только напугала, я думал, ты в лесу заблудилась!..

Я — УЧИТЕЛЬНИЦА

Мне исполнилось двенадцать лет. Читала я уже бойко и внятно. У отца нужда, недостатки, семья множится, а горше нужды жена грызет: давай то, давай другое. И отец бьется день и ночь, хватается за все, что попадает под руку.

За стол садится много едоков, а работник в семье один. Вот и решил отец использовать мою грамоту. Нашел учеников и заставил меня с ними заниматься.

За столом пятеро ребят. Каждому из них надо показывать буквы и в то же время надо следить, чтобы не плакали и свои ребяташки.

Один раз мачехе что-то нужно было взять у родителей одной из моих учениц. Она послала меня с ученицей к ним в дом. Я взяла с собой саночки.

Вышли мы на пруд. Я, учительница, отдала веревку с санками ученице, а сама лезу в снег, где глубже, взвизгиваю, прыгаю, пою... Довольнехонька, что на воле. Дошли мы до них, а там начали меня угощать. А ученица моя возьми да и скажи, как я лазила по снегу и прыгала. Мне так стало стыдно, что просто провалиться бы на этом месте. Даже круги пошли перед глазами. Но родители моей ученицы на это посмотрели иначе:

— А что тут плохого? Вы, чай, ей надоедите за день: вас надо учить, да и своих ребят у них немало — и за всеми она одна. А сама еще молодехонька, поиграть хочется! Мачеха-то совсем барыней заделалась, свалила все на нее...

Я сижу и чувствую, что как будто от мороза отхожу...

Плату за учение отец назначил такую: за обучение азбуке — один рубль, за божественную книгу — тридцать копеек.

Но платы я сама не видела, весь заработок отдавала отцу. Я только мучилась, учила и водилась с ребятами.

Еще было заведено такое правило: как только приходит новый ученик, его мать мне — учительнице — несет большой сладкий пирог, но пирога я тоже никогда не видела. Все это мачеха делила между своими детьми.

ДВОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Воспитателями моими были трое: бабушка, отец и мачеха. Я часто бегала к бабушке, а иногда и ночевала у нее. Она

рассказывала мне сказки про царей, богачей и попов и так рассказывала, что я проникалась к этим людям глубокой ненавистью. Если кто обижал меня из сверстников-ребят, я кричала ему: «У, ты, подьячий!» или: «У, ты, богач-пузач!» К бедным бабушка воспитывала во мне жалость и любовь. Молиться не учила. Когда я начинала при ней молиться, она всячески отвлекала меня от этого.

Отец воспитывал меня, как он говорил, в страхе божием, в почитании богатых и сильных.

В бога я верила, хотя любви к нему не имела. Я только боялась его, как боялась когда-то Мартяжки. Вот, думала я, если я сделаю что-нибудь плохое, то меня бог за это накажет. Отец поддерживал во мне этот трях. Он говорил, что бог знает все, что мы делаем, и даже то, что мы думаем, потому что за нашими плечами стоят двое. За правым плечом — ангел. Он смотрит и подсчитывает добрые наши дела, а потом идет на небо и записывает там все это в живую книгу. За левым плечом стоит дьявол и записывает худые дела. Отец очень хотел, чтобы я стала монахиней, но я не любила монахинь.

Я стала задумываться.

«Как же это так, — думала я, — бабушка говорит одно, а отец другое?»

И чем больше подрастала, тем мучительнее становились такие вопросы.

Один раз я нашла у отца книжку «Потерянный и возвращенный рай». Читала ее крадучись, чтобы никто не видел. И вот дошла я до того места, где ангелы ведут войну на небе и одного ангела даже сбросили в ад.

«Зачем же ангелы дерутся? — думала я. — Ведь отец говорит — они милостивые, так почему же одного сбросили в ад? Значит, и на небе есть богатые и бедные?»

А вот Лазаря, бедного страдальца, богатый его брат не пустил на пир и бросил собакам... Зачем же это, раз он ему брат? А бедный ему все-таки отомстил, не дал ему пить, когда черти утащили богатого в ад. Молодец бедняк, так и надо!

Дядя привозил мне книжки разного содержания — тут были и жития святых и сказки. Я все читала и переживала за всех героев их горести и радости. Были книжки: «Бова-королевич», «Гаук», «Франциль». Последние две мне больше всего нравились, потому что мысли о царях и князьях в них были похожи на те, какие излагала мне бабушка. Прочитала я там, как принцесса Елизавета издевалась над своим пажом за то, что он не согласился на гнусное с ней дело. Как она его била! А жениха обманывала, выдавая себя за хорошую девушку. Вот они, цари-то, какие! А вот бог. Он богатых любит, сколько у него на небе царей и князей, и всяких нехороших женщин. И всех он прощает. Так постепенно во мне возрастала ненависть к богатым и попам, но отец говорил:

— Нельзя ругать попов, бог разгневается и тебя в рай не пустит, а в аду будешь в огне гореть!

Так я и росла в неразрешимых противоречиях: и бога боялась и богатых и попов не любила.

«Чистая» половина нашего дома состояла из «горницы». Там стояла кровать, всегда убранная и накрытая единственной простыней и одеялом, сшитым из ситцевых лоскутков. На кровати никто не спал. Мне спать было негде: на полу мешаю, на печи жарко, да и от мачехи хотелось куда-нибудь укрыться. Вот я и придумала спать под этой кроватью. Ната-скала туда разного тряпья и устроила себе спальню. Никто меня там не видит и не слышит. Да и заботиться обо мне было некому. Даже отец, и тот уже не замечал, что мне нигде нет места, как только под кроватью.

БОННА

Вечером все легли спать. Я слышу, как мачеха грызет отца. И хлеба идет много, и заработок мал, и стоит ли так носиться

и нянчиться с девчонкой. Надо отдать ее куда-нибудь — пусть потрет лямку в людях. Отец возражает:

— Кто ж с ребятишками будет? Или по-твоему родную отдать в люди, а себе взять чужую?

— И без нее обойдусь! — отвечала мачеха.

На чем они договорились — я не слышала. Заплакала я, да так в слезах и уснула. Сколько прошло дней после этого — не помню. Отец однажды приходит откуда-то и говорит мне:

— Завтра утром я сведу тебя к купчихе, будешь там играть с девочкой. Там тебе и платье дадут и ботинки!..

Я и согласна и нет. От мачехи бы рада куда убежать, но боюсь, что и купчиха будет бить.

Когда я пришла к купчихе, та играла с девочкой.

— Ну вот, ты просила девочку, — сказала она дочери, — вот тебе и девочка!..

Потом она повернулась ко мне, внимательно осмотрела и поморщилась.

— Сходи-ка сначала в баню, вымойся!..

Мне дали узелок с одеждой, и я пошла в баню. Вымылась, стала одеваться. Что ни примеряю — все не по росту: то мало, то велико; рубашку сразу разорвала — мала, юбка — длинная — ходить не дает, а в кофту можно с головой закутаться. Свое белье все завязала и положила в угол, под лавку. На случай убежать — чтобы знать, где взять.

Вернулась я в дом.

— Ты будешь со мной играть? — подскочила ко мне девочка.

— Мусинька, — говорит купчиха, — надо ее сначала покорить, она голодная! Позови горничную!..

И вот началась моя жизнь в людях. Девочка чуть не каждый день доводила меня до слез. В кого только она меня не превращала! То начнет кормить меня из своего рта жеваными пряниками, представляя, что я ее кукла. То примется бить меня, будто я непослушный ребенок, и заставляет меня насильно плакать, то наденет на шею шнурок, привяжет

к двери и заставляет лаять и кусаться, как только кто-нибудь входит в дом.

— Мамочка, посмотри, какая у меня собачка! — кричит она.

И когда мать подходит посмотреть, я опять должна лаять и кусаться. Иногда она сама превращалась в собаку, набрасывалась на меня и кусала до кровавых ссадин, до синяков. Превращала меня и в кошку — тогда я должна была лазить под столом и под диваном.

Вечером я должна была укладывать ее спать.

Купчиха учила меня петь колыбельные песни, а девочка, как только мать уйдет, шепчет мне:

— Маша, спой новую, свою... (Она почему-то с первого дня назвала меня Машей. Я так называлась до конца моей службы.)

— Мамочка услышит — ругать будет!

— А ты тихонько спой. Я слушать буду и скорее усну под твою песню, а старые мне надоели.

— Ну ладно, Мусинька, слушай:

Тппрушки, тппру-тппрушки,
Пекла баба витушки,
Пшеничны калачи
На опаре печены.
Бояре-то наехали,
Собак навезли.
Собаки одурели —
Попа укусили.
Поп с пестом,
Попадья с крестом
Стукнули в доску,
Поехали в Москву:
Мост мостить,
Поросят крестить!

— А почему, Маша, поросят крестить, а не ребят? — спрашивает девочка.

— Я не знаю, так в песне поется... Спи, мамочка идет!

Бывало, она долго капризничала, а когда заснет, я должна сидеть у ее кровати, и тогда уж мне нельзя ни спать, ни читать. Читать мне хозяйка вообще не разрешала.

— За книжкой ты просмотришь, Мусинька может упасть из кровати! — деланно-ласково говорила она.

Однажды я у них увидела вышитое полотенце. Мне понравился узор крестиком. Я нашла тряпочку, иголку, нитку, уложила девочку спать, а сама сижу, ковыряю. Ничего не выходит. Не знала я, что нужна канва. Приходит хозяйка, посмотрела и говорит:

— Да ведь не так шьют-то!

Принесла она мне ленту канвы шириной в вершок и немного красных ниток.

— Вот примечи канву и вышивай, а когда вышьешь, тогда эти нитки выдергай, только не прозевай девочку!

Она ушла, не показав мне, как ставить крестики. Но до этого я уж сама додумалась. Вышивание было теперь единственным моим развлечением.

Когда к хозяйке приходили семейные гости, их детей всегда оставляли в нашей комнате.

— Пусть они здесь поиграют, это наша бонна! — насмешливо говорит хозяйка, указывая на меня.

Я долго не знала, что значит «бонна». Я думала, что этой какой-то зверь, один из тех, которых изображала в играх Мусинька.

Что это было для меня за мученье — дети! С одной трудно, но когда их несколько, поднимается настоящий содом! Капризничают, ревут наперебой. Заставляют меня изображать собаку — привязывают к столу, заставляют лаять, дергают, бьют чем попало.

Сколько я там мучилась — не помню, но во всяком случае не менее года. Не знаю, что вышло дома, но однажды пришел отец и увел меня от купчихи. Дома я показала отцу свою работу.

— Смотри, тятя, я научилась вышивать!

Он похвалил меня и попросил вышить ему рубашку, чему я была очень рада. Но была еще большая радость, что я уже не «бонна».

НОВЫЙ ЦАРЬ*

Вечером сотские с бляхами бегут по улицам — только вихры развеваются — и усердно стучат палками по подоконникам каждого дома. Испуганные хозяева выглядывают из окон.

— Тише ты, стекла разобьешь!

— На работу завтра не выходи, на сходку!

Крикнет и бежит дальше.

Народ недоумевает — почему на работу не выходить? И так мало зарабатываем, а тут не выходи на работу!

Утром в шесть часов опять по поселку бежит сотский и опять гремит в окна:

— Эй, на сходку!

Наш дом стоял у реки, а на другом берегу волостное правление. Там собралась толпа мужиков. Я никогда столько народу не видела. Все кричат, а что кричат — понять невозможно. Крикнут все враз, потом как будто утихнут и опять кричат. В церкви идет такой трезвон, будто рады колокола разбить. Звонят на вынос икон. По улице бегут бабы.

— Что такое?

— На вынос звонят, девоньки!

Я бегу из огорода, кричу:

— Мамонька, с иконами вышли! На гору идут!

А у волости мужики кричат и шапки вверх бросают. Покричали еще немного и стали расходиться.

Бабы с улицы бросились по домам. Пришел отец. Мачеха его спрашивает:

* Александр III вступил на престол 2 марта 1881 г.

— Ну, чего вам сказали?

— Новый царь сегодня коронуется, — начинает отец с расстановкой. — Манифест вычитали. Как будто бы какое-то облегчение крестьянам будет!

Помолчал и добавил:

— Та же шуба, да навыворот. Вечером гуляние будет, лиминация!

И весь этот день много было разговора о новом царе. Одни говорили:

— Хрен редьки не слаще!

Другие только рукой махали:

— Чтобы там ни было, лишь бы выпить!

Вечером к мачехе пришел ее отец, бывший николаевский солдат.

Стали разговаривать по поводу коронования. Дед рассказывал, как он служил в солдатах и как ему фельдфебель ноздрю вырвал. О «зеленой улице» рассказывал и о том, как он прошел по ней, что называется, «сквозь строй». Чуть не умер. Много он рассказывал, и я все по-своему, по-детски, поняла. И думала: «За что же мы за царя богу молимся?»

Когда стемнело, мы с дедом пошли посмотреть на гулянье.

Электричества тогда не знали — за все отвечало сало. Заводская плотина была у нас обведена перилами. На этих перилах были поставлены плошки с салом, «мизюкалками». Над самой водой повешены бумажные фонари из цветной бумаги, в них горели сальные свечки. Огни были редкие — слабый и грустный свет их падал на воду. По воде бестолково двигались лодки с такими же тусклыми бумажными фонариками.

Остановятся и опять поплывут. Было тихо. Народ стоял и непонимающе смотрел на огни. Вдруг кто-то отчаянно закричал:

— Тишка утонул! Тишка утонул!

— От чего утонул?

— Налакался пес и полез купаться!

— Обрадовался даровому-то вину! Ребятишки остались!

Мне стало страшно. Посмотрела, а деда около меня нет. Я бросилась его искать. Бегу по темным улицам к рынку. На рынке по церковной ограде тоже расставлены плошки и развешаны бумажные фонарики.

В купеческих домах светло, там шло торжество. У одного из купеческих домов шум. Толпа что-то требовала, а ей, по-видимому, не давали.

— Давай сюда Григория Николаича! Григорий Николаич, выходи!

— Все равно вытащим!

Я остановилась. Вижу — вышел толстый купец. Толпа его подхватила: мечут, качают. Он, высоко взлетая над толпой, кричит:

— Ой, уроните! Ой, не уроните!

Несколько раз он взлетал вверх, потом вдруг толпа расступилась, купец рухнул на землю. Затем все притихли, и мужики стали потихоньку убегать. Купца унесли в дом на руках. После этого он несколько дней проболел и умер.

Купеческие похороны были богаче, чем коронование нового царя.

КОМУ ЛЕГЧЕ ОТ МАНИФЕСТА?

Коронование, как водится, сопровождалось манифестом. Но какое и кому облегчение принес этот манифест?

Порядок выкупа дров и леса остался прежний, прибавилось только больше хлопот: если надо дров или лесу — иди в волостное правление, проси, заверяй, да дадут ли еще?

Не улучшилось и дело с землей. У кого были болотистые клочки покосы, — корова ляжет, а хвоста протянуть некуда, — так с этим и остался. Зато у купцов, у служащих и богатых

мужиков земли стало еще больше. У них пашни с избами, да и покосы — самые большие и лучшие.

А наши покосы! Скосим траву и посмотрим — где солнышко выглядывает из-за леса, туда и таскаем траву на себе: кто вилами, кто граблями, кто просто охапками. Все вымокнем от травы, а как солнце уходит за лес, опять перетаскиваем траву на другое место. Так мы сушили сено. На некоторых таких покосах вырастут кудрявые листочки вершка два высотой; смотреть покос — еланушка, а скосишь — трава высохнет, свернется и в грабли не попадает, сквозь зубья протаскивается, хоть метелкой ее заметай.

У богатых мужиков стога рядами громоздятся, а у нас — копна, самое большое — три. А о хлебе и говорить нечего — сеять его негде.

Подати, как были, так и остались. Один раз отец носил сдавать в волость подати, а книжку свою забыл. Записали на клочке бумажки, а в книге у себя не отметили.

И вот как-то днем приходят трое из волости. У нас сидели соседки с ребятами. С работы посидеть пришли. Кто вяжет чулки, варежки, кто прядет. Нам, ребятам, поставили большое лукошко репы, моркови, брюквы. Мы режем и едим. Кругом нас кожа, обрезки овощей. Осмотрели волостные, один и говорит:

— Эх, живут-то как! Грязь, вонь...

А другой, как видно, поумнее да попроще:

— Видишь, сколько ребят-то и все в одной избе, это уж, батенька, всегда так: где ребята, там и вонь... Не знаю, чего у них и описывать!

— Коровенку! — предлагает первый.

— Нет, лишку, пожалуй, будет, ведь у них и недоимки-то всего два рубля с полтиной!

— Ну, самоваришко опишем! — не унимается первый.

— А по-моему ему только сказать, чтобы уплатил, — он и уплатит, мужик послушный!

Но первый настоял на своем, и самовар описали.

Отец пришел с работы — дома горе. Ведь всего-то и богатства в доме, что самовар. На утро отец не вышел на работу, пришлось искать денег, нашел и понес.

— У меня ведь было уплачено! — нерешительно сказал он.

— Давай книжку!

В книжке записей нет. Пришлось отцу платить второй раз.

Зимой дни короткие, ночи длинные. Днем мало что сделаешь. Вечером посидели бы, да огня нет, керосину купить не на что. Керосин десять копеек фунт, а где их взять — десять копеек, когда кругом в долгах?! Многие сидели с лучиной. У нас лучину не жгли. Отец сам штукатурил и белил избу. Если сидеть с лучиной, пришлось бы избу белить чуть ли не каждый день. В лунные ночи собирались у кого-нибудь в избе, бабы сядут поближе к окнам — кто вяжет, кто прядет... Вместе-то и без огня весело.

Были сальные свечи, но они водились в редком доме, и зажигали их только на особенный случай: когда придут гости или если нужно выйти с огнем по хозяйству. Эти свечи были невыгодны: они не столько горели, сколько таяли. Три часа погорит — и нет свечи.

Стеариновые свечи появились уже на моей памяти. В богатых домах, может быть, и раньше они были, но беднота их еще не знала. Потом они постепенно стали вытеснять сальные — по цене-то стеариновые свечи были дороже, но экономнее, не так быстро сгорали. Керосин вытеснил свечи только в девяностых годах, да и тогда лампа считалась еще большой роскошью.

— Они богатые — лампу жгут! — говорили с завистью бедняки.

Появились лампы разного калибра: семи- и десятилинейные, с зеркалами, висячие и стенные, но у бедноты таких ламп не было. Освещались жестяными коптилками.

Носили мы больше самотканку, ситцевое только в праздники, и то не все. Лен у нас никто не сеял. Покупали лен и куделю, пряли и ткали сами.

Сошьют девочке платьишко из самотканки или выбойки, она и бегаёт в нём, пока с плеч не свалится. Мальчишке тоже сошьют длинную до пят рубашку — ни мальчишка, ни девчонка, да так до шести и семи лет. Штанов мальчишкам не полагалось.

Обуви мы, ребята, не знали, нам доставались какие-нибудь опорки, обноски от матери или отца.

В школу и при новом царе попрежнему нас не допускали. Рабочий, мол, и без грамоты проживет!..

ГВОЗДАРКА

Обычно кузницы-гвоздарки располагались где-нибудь на окраине селения и были сложены из неотесанного дикого камня. Посредине кузницы возвышался горн. Тут же находились и гвоздарные станки, по два станка на один горн; если четыре станка — значит, два горна. Формой своей станки похожи были на ткацкий домашний станок: из восьми толстых брусьев, только они были грубее и больше.

В середине станка укреплялся центральный брус, на одном его конце — большой чугунный молот, а на другом — толстая железная лапа, охватывающая брус с четырех сторон. Молот приводился в движение посредством махового колеса, которое вращали женщины вручную. Под молот вкапывался толстый обрубок дерева, в него вбивали большую железную наковальню. Одна половина наковальни гладкая — это дляковки гвоздя, другая со сквозной дырочкой — для заклепки шляпки.

Сначала в раскаленные угли горна заправлялся конец железного прута толщиной в полтора-два сантиметра. Затем, когда конец прута нагревался докрасна, мастер клещами вы-

таскивал заготовку и клал ее под молот. Женщины начинали вращать маховое колесо. Молот, поднимаемый шестерней до определенной высоты, падал вниз и плющил железо, которое принимало сперва плоскую, а затем квадратную форму. При этом мастер должен был все время очень быстро поворачивать заготовку. От этого грани ее становились гладкими, а конец заострялся и вытягивался. Когда заготовка охлаждалась и темнела, мастер останавливал молот, отрубал зубилом граненый конец прута, вкладывал его острием вниз в дырочку наковальни и ручным молотком плющил высунувшийся кусок, делая из него шляпку.

Все это он проделывал с поразительной быстротой и ловкостью. Требовалась большая опытность, чтобы успевать вовремя подставлять под молот то одну, то другую грань заготовки, не ошибиться и вытянуть острие нужной длины.

Работа в гвоздарке продолжалась с четырех часов утра до семи часов вечера. Особенно трудно приходилось женщинам: чтобы изготовить один гвоздь, им нужно было наклоняться, вращая колеса, по крайней мере раз сорок, а в течение дня — много тысяч раз. Плата же за работу — двадцать пять копеек в день. Дневная производительность станка достигала двух тысяч гвоздей. Работа на таком станке очень опасна: если у мастера чуть дрогнет под молотом рука, значит, руки как не бывало — расплющит. А скольких женщин, особенно зимой, выносили из гвоздарки полумертвыми от угара! Отдыхать не полагалось. Единственным отдыхом кроме обеденного перерыва были те короткие промежутки, когда мастер обдeldывал ручную головку гвоздя. Вертельщицы в это время пели частушки.

Длинную песню спеть некогда, а частушки как раз для этого годятся. Мне думается, что вообще рождение частушки связано с такого рода работами. Вот частушки, которые распевались в наших гвоздарках:

Милый мастером работает,
Я вертельщица его.
Только в том моя забота —
Штраф наложен на него.
Я в гвоздарочку иду.
Иду, не запинаясь.
Я мастера люблю,
Люблю, не отпираюсь.
Меня дома-то ругают,
Что верчу я колесо,
Скоро время подоспеет,
Буду с милым под венцом.
Колесо, ты, колесо,
Вертишься крутенько,
Я верчу тебя весь день,
А я молоденька.

Вертельщицы и «поддувало-мальчик» зависели от мастера: если у него много работы, значит, и они заработают. Мастер зависел от хозяина. Чем-нибудь не угодил мастер хозяину — просрочил срок заказа, дал много, по мнению хозяина, браку — немедленно штраф.

Когда хозяин получал спешный заказ, тогда работали, не переставая, круглые сутки, и, конечно, на такой работе надрывались и мастер и особенно вертельщицы.

Расчет был еженедельный. Большинство хозяев держало для своих рабочих съестные припасы и разные товары, и рабочим приходилось покупать их у хозяина, хотя бы рабочий этого и не хотел. Таким образом весь заработок оставался у хозяина, да еще и не хватало, брали вперед. Так и не выходили из долгов.

Если мастер переходил к другому хозяину, то и задолженность шла за ним к новому хозяину. Если мастер попросит денег, хозяин спрашивает:

— На что тебе деньги? У меня все есть, бери!

Попробуй, не возьми товар у хозяина! Он замучит тебя на мелком сорте гвоздей, на котором очень мало заработаешь, тем более на сапожном гвозде.

Мастера любили гвозди крупных сортов, а хозяин — наоборот. Для крупного сорта и железо требовалось доброкачественное, и выработка тщательная, и оплата за работу высокая — одним словом, хозяин находил, что от этого сорта ему мало оставалось барыша. На мелкий сорт железо шло из отбросов всякого качества, и хозяева на нем наживались.

Поступление к новому хозяину сопровождалось обманыванием, т. е. вновь поступивший должен был угощать вином всю кузницу, без этого ему на новом месте не жить.

ЗАРАБОТОК ОКОЛО ПОКОЙНИКОВ

На смену ручному способуковки гвоздей пришел фабричный, машинный способ.

У отца работы совсем не стало. Все гвоздарки остались без заказов. Малосемейные ушли в город, а мой отец многосемейный, — куда уйдешь от семьи. День бьется он по всяким мелким работам, а приходит ночь, идет читать по покойникам. Но это не всегда бывает — в месяц раз-два, не больше. «Зачитает» рубль, ну и то хорошо. Потом отец стал меня с собой брать на эти заработки. Ночь он стоит, читает, а я где-нибудь около него сплю. Утром он будит меня:

— Ну, вставай, читай, а я пойду работать!

Мне вставать неохота, времени всего часа четыре — не больше. Да и боюсь я оставаться одна. Хорошо еще, если хозяева спят в этой избе, но у некоторых есть отдельные комнаты — уйдут туда и спят. И стою я около покойника ни жива, ни мертва. Вот, кажется, махнет покойник рукой и сцапает меня... Когда я за книгой, — головы и рук покойника не видно, виден только живот. Мне уже мерещится, что живот вздымается, как будто он дышит... Я чувствую, как тело у меня покрывается холодным потом.

Но вот, наконец, зашевелиятся хозяева — я радешенька. Знаю, что отдохнуть будет уж нельзя, заругают, а ноги ноют, язык заплетается, слова идут шиворот-навыворот; подойдет «аллилуия», а у меня выходит «ай-люль».

— Ты чего-то, девка, неладно читаешь, — замечают хозяева. — «Ой-лю-ли» уже заговорила, так-то ты скоро и песни запоешь...

— Отдохнуть бы немного, попить бы...

— Попить — попей, а отдыхать нельзя — говорят мне, — душа покойника по словам идет, а как только остановишься читать, она, душа-то, в воздухе и повиснет...

Однажды, когда мы шли к покойнику, отец сказал мне, что сегодня будет лунное затмение. Ночью я про это вспомнила, и, чтобы отвлечь свое внимание от покойника, я старалась смотреть на луну, как ее затягивало тенью. Луна почернела, и мне стало страшно: около меня лежит мертвец, а в глаза мне глядит черная луна. На меня нашел такой ужас, что я потеряла сознание. Когда опаматовалась, луна уже низко спустилась, но была такая же чистая, даже как будто еще красивее обыкновенного. В это время кто-то вышел из дома с ведром, во дворе заходил сторож. Какая была радость, что я слышу живого человека. Начало светать.

Мне дали тогда три рубля и салфетку, которая лежала под книгой. На деньги купили мы хлеба, чаю, сахару.

ТРЯПИЧНИК

Отец брал всякую временную работу, но ее становилось все меньше и меньше. В завод его не принимали, так как он не знал никакой другой работы, кроме как в гвоздарке. Дядя Егор предложил отцу заняться вместе с ним сбором и обменом старья. Как ни отнекивался отец — не нравилось ему это занятие, — но все же пришлось согласиться.

Купил отец маленький сундучок, набрал товара: нитки, иголки, кольца оловянные и медные, запонки в пять и десять копеек, и поехал в деревню менять их на старье: тряпки, старое железо, чугуны.

Во второй раз отец взял и меня с собой. Я поехала очень охотно. Около покойников не буду стоять, и с ребенком не возиться, да и от мачехи избавлюсь.

И еще радость — мы поехали на лошади! Я очень любила лошадей. У нас была своя кобылка, смиренная, но со странно-стями: куда бы на ней ни ехать, она обязательно к каждому дому подворотит и остановится. Пошевели вожжой — она от дома отойдет и заворотит к следующему. Отцу приходилось везти ее на поводу, пока не выезжали за селения, тогда он садился в телегу, вожжи в руки:

— Ну, кобылушка! Ну, богова! Ну-ну...

И кобылка мчалась во всю прыть, но как только подъезжали к какой-нибудь деревне, отцу опять приходилось итти рядом с кобылкой и везти ее за повод.

Приедем в деревню, ребяташки увидят нас и кричат:

— Тряпичник приехал! Тряпичник!

Заедем мы на квартиру, и к нам тащат, кто что может: тряпье, пустые банки и железный лом. На моей обязанности лежало смотреть, как бы чего не стащили, и забирать принесенное. Отец принимал утиль и выдавал взамен товар. Так мы ездили года полтора. Мне это очень нравилось, но отец всячески искал другую работу. Надо было только видеть его радость, когда принесут к нему на дом раму починить или новую сделать, стекла вставить...

Мне дома хуже. Я надоедаю отцу:

— Скоро ли опять в деревню поедем?

ГЛУХОТА

Как-то, вижу, собирается отец ехать.

— Тятя, ты в деревню?

— Нет! — отрывисто, и не глядя на меня, отвечает отец.

Смотрю — и мачеха собирается.

— Ну, а ты здесь домовничай, да смотри, только хорошенько! — наказывает мне мачеха.

И с этих пор ездить по деревням стали отец с мачехой, а я сидела дома с ребятами.

Мало того, мачеха придумала совсем освободиться от ребят, и раз ночью, слышу, говорит она отцу:

— Замучили меня ребята. Я и так за день устану, а тут еще ночью смотреть! Довольно с меня, будет и того, что я с тобой езжу.

И вот однажды вечером откуда-то приносит мачеха большую кошму и говорит мне:

— Вот тебе кошма, спи с ребятами!

И отвела мне хотя и темный, но довольно теплый угол.

Там мы спали все вповалку; ночью с обеих сторон ребята меня вымочат, опачкают, но ничего не поделаешь! Грудному надо к матери — плачет. Я его в колыбель положу и качаю.

Отец и мать спят, а я качаю, мучаюсь с ребятами. Спать хочу, а ребенок, как только я перестану качать, опять плачет. Я лягу под колыбель, положу что-нибудь себе под голову, ляжку возьму в руку. Лежу и качаю. Чуть задремлю, ребенок зашевелится над головой у меня, я услышу и опять качаю. Несколько раз в ночь кормлю его молоком или кашкой. Тем временем другие начнут плакать, и их тоже надо успокоить. Так вот целую ночь и маюсь с ребятами.

Утром просыпаются отец с мачехой.

«Ну, теперь засну... засну...», — думаю я и мигом куда-то проваливаюсь.

Но сон мой минутный... Слышу, уже будят:

— Вставай!.. Довольно лодырничать!.. Мы ушли!

И опять я одна.

Один раз, помню, прорвало меня, и я при отце заплакала.

— Ты чего ревешь?..

— Не могу я одна... Хотя убейте, а больше одна не останусь.

Если я с ребятами занимаюсь — дело стоит, уйти от ребят — тоже нельзя... Не буду я больше!..

О том, чтобы ночью спать, даже и не заикаюсь, знаю, что не только заругают, но и прибьют.

Слезы мои на этот раз подействовали: мне на помощь была приглашена тетка Марина Петровна, жена Егора.

— Ну вот тебе тетка! — обратился ко мне отец. — Она будет за всем смотреть, а ты оставайся с ребятами.

С теткой стало мне еще хуже: работать ей не хочется, да и водиться с ребятами тоже. Дергает она меня то туда, то сюда. Целый день я в полном ее распоряжении. А когда придут отец с мачехой, тетка обязательно чего-нибудь на меня наплетет, а мне — неприятности.

Ночь настанет, тетка забьется на печь и спит, а я всю ночь опять одна с ребятами маюсь.

От такой жизни я заболела: по телу у меня пошли нарывы. Я совсем оглохла. Меня спрашивают одно, я отвечаю совсем другое. Ночью ребята кричат, надрываются, а я не слышу — сплю. Тогда передали их на попечение тетки.

Она ночь или две провозилась с ними и сказалась больной: кому охота ночей не спать!

Пришлось мачехе самой с грудным ребенком возиться, а прочие остались вовсе без надзора. Я же снова забилась под свою кровать. Утром мачеха придет, пнет меня ногой, со сна я испугаюсь, но как другой пинок даст — вскакиваю, понимаю, что надо вставать.

Глухота моя продолжалась около шести месяцев. Однажды мы пришли все в баню: мачеха, тетка, ребята и я. Мачеха моет ребят, я помогаю, а тетка их уносит. Потом мы остались мыться вдвоем с мачехой. Я намылила себе голову, мыло попало мне в глаза, я ничего не вижу, чувствую только, как на моей

голове заходили руки мачехи, трет она мне волосы, темя царапает. Мне больно, но терплю. Потом засунула она пальцы мне в уши и так ковырнула, что в ушах у меня раздался выстрел. Я вскрикнула, как только могла. Мачеха схватила ковш и облила мне голову водой, и вдруг я услышала, как льется вода. От радости я опять закричала:

— Я слышу!.. Слышу, слышу!..

И с тех пор глухоту мою как рукой сняло.

Пришли мы из бани домой, мачеха рассказала отцу, как вылечила меня от глухоты. Отец долго удивлялся.

МОЯ ЛЮБОВЬ

Отец, как начал тряпичничать, наряду с мелким товаром, так же как и дядя, привозил и дешевые книжки. Ребята охотно их покупали. Особенно часто ходил к нам Вася.

— Ты, Груша, выбери мне что-нибудь поинтереснее! — просил он меня.

— А ты сам выбирай.

— Да я неграмотный.

— А если ты неграмотный, для чего тебе книжки?

— Я дам брату, он почитает, а я послушаю!

Отца у Васи не было, мать работала по людям, брат был женатый и жил отдельно. Вася жил с матерью; избушка у них маленькая, полуразвалившаяся, перебивались они кое-как, жили впроголодь, и, несмотря на все это, Вася всегда был веселым и жизнерадостным.

Он мне очень понравился, несмотря на то, что лицо его было изъедено оспой. Его серые веселые глаза заставляли меня улыбаться, хотя и сквозь слезы. Он был гармонист и плясун. Работал у сапожника, но одевался бедно.

Мой отец, покуда мы были подростками, любил Васю за его нрав и развитость и много ему помогал. Были даже и такие разговоры, хотя и в шутливых тонах:

— Ну что ж — бедный, да честный! Были бы здоровы, а живут, что нужно. С таким парнем не пропадешь... И мне от него была бы помощь...

Бывало, чуть какая появилась у отца работа, кого просить? Надо Василька позвать. И Василек бежит опрометью.

— Чего, Федорыч, надо сделать?

Часто ездили они с отцом на фабрику сдавать собранное старье: чугун, железо. И там Вася не давал отцу таскать на весы тяжести — все сам стаскает.

Одним словом, был Вася почти за сына — будущего зятя. Мы с Васей это понимали и потому не особенно скрывали свои чувства.

Мачеха тоже была по-своему довольна, хотя она иначе смотрела на это дело:

— За этого отдашь девку — значит, никакого приданого ей припасать не надо: что есть, с тем и пойдет!

Так все как будто клонилось в нашу сторону.

И вдруг нагрянула беда.

Тетка Марина, которую взяли мне в помощь возиться с ребятами, со злости насплетничала мачехе про мои отношения с Васей. Нам запретили встречаться, а к этому времени у нас с Васей установилась уже крепкая дружба, которая с годами вылилась в мою первую любовь.

Мы начали встречаться тайно. Я обычно выйду в свой огород, а он уже ожидает на горе под часовенкой. Увидит и махнет мне платочком, тогда я беру ведра и иду за водой. Огород наш выходил на берег реки, и там мы встречались. Долго стоять и говорить нельзя — того и гляди, нагрянет тетка. Я унесу воду, потом иду во второй и третий раз, а Вася меня дожидается. Урывками обо всем поговорим: я ему жалуюсь на свою жизнь, а он утешает меня:

— Потерпи еще с год, я буду больше зарабатывать, тогда мы обвенчаемся!..

Тетка как-то все-таки пронюхала про наши встречи и донесла мачехе. Тут пуще прежнего набросилась на меня мачеха:

— Ишь ты, с кем слюбилась! Нищий, оборванец, бесштанник! Не думаешь ли, что я стану родниться с такой голытьбой! Я-те вышибу из головы эту любовь!

Но свидания наши с Васей все-таки продолжались, только уж не на открытом берегу, а около школы, которая стояла у речки. Мы сидели на крыльце и разговаривали.

— Нигде здесь не могу найти работы, — говорит Вася. — Хочу в город к дяде. Если там устроюсь — приеду назад и увезу тебя с собой!

Я говорю:

— Ты проездишь долго, а меня здесь без тебя замуж отдадут. И так уж лезут женихи. Тетка наголосила везде, что у меня много всякого приданого, а у меня, Вася, ничего нет!

— Ну так вот что, — говорит Вася, — я завтра пойду здесь к одному хозяину. Если он меня примет на работу, я никуда не поеду. Ты приготовь, что надо, к венцу, я завтра же возьму у хозяина денег на венчанье!..

Не успел он это договорить, как из-за угла — тетка.

Я соскочила, хотела бежать, а Вася схватил меня за руку. Тетка набросилась на него:

— Ах ты, оборванец, жулик, бесштанник! Оговорил девку! Губа-то не дура у тебя, но только тебе ее не видать!.. Она тебе не пара! Это запомни!

Вася рассердился, кинулся к тетке и отпустил мою руку. Я убежала домой, села в кухне, жду, как истукан, что будет.

Пришла тетка, начала меня стыдить, пугать:

— Вот погоди, придет мать, я все ей расскажу!

У меня от обиды и злобы кровь бросилась в лицо.

— Шпионка! Докуда ты будешь шпионить за мной? Я, кажется, уже не маленькая, какое тебе дело до меня? Пошла к чорту!

Тетка была ошеломлена. Я всегда была такая тихая, безответная, и вдруг такой отпор...

— Ну, погоди только, вот отец, мать придут... Они тебе покажут чорта!.. Погоди!..

Я в это время хотела пол подмести, но от обиды не взвидела свету, бросила веник на пол:

— Ну, сплетничай, как придут, но бить уж будет некого!

Себя не помня, я схватила с пола веревку, вбежала в сарай, перебросила веревку через перекладину и спешу сделать петлю...

Тетка поняла, в чем дело, выскочила за мной, рвет у меня веревку, а я не даю, накидываю себе на голову. Она что есть силы вырывает ее и страшает меня богом.

А я вне себя кричу:

— Уходи от меня, змея ты!..

Двери сарая были открыты, и мой взгляд упал на кладбище. Я вспомнила мать, ослабела, опустилась на землю и горько заплакала. Тетка тем временем сняла веревку и начала меня уговаривать:

— Ну, прости меня Христа ради! Я больше не буду, пойдем в избу, ребята там одни, и мать скоро придет!

— Иди! Я не пойду живая в избу!

Она испугалась не на шутку, долго меня умоляла, потом взяла за руку и повела, я только плакала.

Не знаю уж, что она наговорила родителям, в каком свете представила мою встречу с Васей, но только били меня в этот раз так, как никогда. Отец таскал меня за волосы, пинал сапогами. Мачеха бегала за ним и кричала:

— Так ее, шлюху! Так ее, суку!.. Не бегай!..

Ни слезы, ни мольбы мои не действовали на отца. Он избил меня до того, что я не могла уже кричать, мне казалось, что я умираю...

Кое-как я забила под кровать и там без движения пролежала всю ночь и весь следующий день.

Подошел праздник троица. Все на улице: мужчины, женщины и молодежь, а я в избе с ребятами вожусь. И страсть как мне охота посмотреть и повеселиться. Наконец, я решилась, попросила у мачехи позволения сходить на улицу. Она помолчала, а потом бросила:

— Ну что ж, возьми ребенка и ступай!

Я не посмела попросить отпустить меня одну, только подумала: «Все смеются, что я с ребенком. Все подруги без ребят, а я одна такая!»

Делать нечего, взяла ребенка на руки, иду. Слышу веселый крик и смех молодежи, а у меня на сердце точно камень лежит.

Подхожу ближе, меня увидели.

— Эй, ребята, Груша идет, вот сейчас играть будем! — весело кричат мне.

А другие насмешливо отвечают:

— Да куда ее, видите, у нее ребенок, она с ним никогда не расстанется!

— А знаете, ребята, она и замуж пойдет, а ребенка ей в приданое отдадут!

Я слышу эти насмешки, и больно мне и обидно.

Соседки, видя все это, пожалели меня, одна и говорит:

— Давай сюда Ваську, иди, поиграй!

Я с радостью передала соседке ребенка и вихрем пустилась в середину молодежи.

Не прошло и часу, как, слышу, ребята мне издали кричат:

— Эй, Груша, смотри, твой сторож идет! Бери скорее ребенка, а то мачеха тебя заперет!

А я стою, как ошпаренная — не знаю, что и делать: то ли хватать ребенка и удирать, то ли махнуть на все рукой...

Соседка, которая с ребенком была, посмотрела на меня, покачала головой и вздохнула:

— Да ничего, играй! Чай, я думаю, не зверь же она...

Вот подходит тетка к соседке, а я вижу не хочу показать, что боюсь ее, а у самой руки, ноги трясутся...

— Ты чего мимо подаешь мячик? Подавай прямей! — кричат мне, а я и не слышу.

— Вы что же держите Васютку на руках? Подайте ей, он вам оттянет руки, карапуз такой!.. Охота вам возиться с ним! — с притворной ласковостью говорит тетка, а сама все искоса за мной поглядывает.

— Ничего, он мне не мешает, да и девка немного повеселится, а то вы с мачехой совсем затюкали ее!

— А тебе, Петровна, как не стыдно ходить за ней шпионом да сплетничать! — отозвалась другая соседка. — Ну что она худого сделает, когда поиграет с подругами? Была и ты молодой, и тебе тоже была охота повеселиться, как же ты не сочувствуешь сироте?

— Если ты чего наговоришь на девку да мы узнаем, то — вот тебе бог — своим судом с тобой расправимся!.. — вступилась третья. — А еще богомольная!

При этом все засмеялись.

Я слышу все это и думаю: «Как же я теперь домой приду?»

— Люди добрые, да что вы на меня напустились? — оправдывается тетка. — Я что? Я ничего, только посмотреть пришла.

— Вот то-то, что посмотреть пришла. Вот об этом и говорим! Придешь домой и начнешь сплетничать. Знаем мы тебя!

От этих разговоров тетка даже в лице переменялась, подозвала меня и говорит:

— Идем домой, мать зовет!

Я взяла ребенка, поблагодарила соседку и пошла. Иду и думаю: «Хотя бы Вася скорее решил с женитьбой! Говорит, куплю пиджак и сапоги, уйдем в церковь и обвенчаемся. А как я это сделаю?» С этой думой дошла до дому. Мачеха посмотрела на меня как-то подозрительно, с улыбкой и говорит:

— Иди наверх и сиди там!

Это меня удивило, когда же так было раньше? Я поднялась наверх, взяла книгу и читаю. Слышу, у верхнего крыльца замок щелкнул. Я не придавала этому никакого значения,

углубилась в книгу и читала, пока совсем не стемнело, а потом незаметно задремала...

Вот скрипнула дверь, входит ко мне в горницу Вася, усмехнулся и, ничего не говоря, взял за руку и потихоньку вывел из горницы, и пошли мы в церковь. Стали мы под венец... Я под венцом с Васей. О, боже, какое это счастье!..

Вышли мы из церкви и вошли в какой-то сад. Я помню, как положила свою голову на васино плечо.

И вдруг слышу голос мачехи:

— Вставай!

«Нет, не пойду я к ней, — соображаю я сквозь сон, — надоела она мне!»

— Вставай, тебе говорят!

«Вот привязалась, какое ей теперь дело до меня, буду ли я спать или вставать?! Ведь я теперь замужем, сама себе хозяйка».

Потом сознание прояснилось, и я поняла, что это все был только сон!

Мачеха говорит мне ласково:

— Груша, покачай ребенка, а я уйду!

— Мамонька, мне надо воду носить!

— Ладно, сиди, без тебя все сделают!.. Я сейчас приду, и будем чай пить!

Я взяла ребенка и думаю: «Что все это значит?! Работать не дают и обращаются со мной ласково?»

А тут еще тетка снизу кричит мне:

— Ты, Грушенька, не ходи вниз, я самовар принесу вверх... А что принести к чаю: сливок или топленого молока? Варенье есть, если надо — принесу!

— Да что вы, тетенька! Я сама схожу!

— Нет-нет, я принесу, не ходи!

— Ну ладно, несите! — разрешила я, а сама ничего не понимаю.

Подала самовар, к чаю все приготовила, точно гостье или барыне. Я села к столу, варенье отодвинула подальше и говорю:

— Варенья мне не надо, бедные с вареньем не пьют!

А тетка мне в ответ:

— А разве ты бедная?

Мне эти слова показались странными:

— Чего вы опять со мной затеваете, что вам от меня надо?

— Дурочка, да ничего не затеваем, пей, ешь и больше ничего!

Поговорила еще немного, повертела хвостом и ушла. Я осталась одна, стала шить и вдруг слышу, как мачеха с теткой тихо о чем-то разговаривают. Я прислушалась.

— Где она? — спрашивает мачеха.

— Чай пьет! — отвечает тетка.

— А никто не был у нас без меня?

— Нет, а что? Разве он близко?

— Близко!

— Ты его видала?

— Видала, он мимо огорода прошел.

А дальше стали говорить шопотом — мне не слышно.

«Кого они боятся? Кто придет, зачем? — думала я, а сама вся трясусь от волнения. — Уж не Вася ли меня ищет?»

Попештались они и разошлись. Слышно было, как щелкнул замок. Поились у меня слезы, потом я спохватилась: да что мне плакать, не впервые терпеть!

Бросила шитье, встала к окну, напеваю и притоптываю.

«Эх, — думаю, — пускай запирают, по крайней мере отдохну немного без работы. Надоест им меня держать, выпустят когда-нибудь...» Пою:

Неужели в самом деле против нас зеленый сад?

Неужели в самом деле меня миленький бросат?

Неужели в самом деле будет мне изменушка,

Неужели в самом деле я останусь в девушках?

А тетка стоит на лестнице и говорит:

— Что это ты такая веселая: поешь и пляшешь!

— А чего мне, тетка, не плясать? Я еще молодая!

— Ты бы, глупая, богу молилась, чтобы бог послал хорошую судьбу.

А на меня нашло какое-то веселье, и со смехом ей отвечаю:

— Ты — богомольная, то-то тебе бог-то и дал судьбу хорошую!

Она поморщилась. А я совсем осмелела:

— Тетка, — говорю, — самовар у тебя простыл? Я чаю хочу!

— Нет, горячий, я сейчас принесу! — и принесла мне чай.

Смотрю я на нее и внутренне смеюсь: «Вот какая мне пришла честь, ни с чего и в барыни попала!» Смех вырвался наружу.

— Ты чего смеешься?

— Да так, на меня сегодня нашло веселье!.. Тетка, а почему вы меня не выпускаете никуда?

— А тебе что? Сиди, знай, пей и ешь! — сказала она и поспешно ушла.

Сиюю я одна, а в голове разные картины из прочитанных книг. С кем только я ни сравнивала мою жизнь! Очень ярко представилась мне жизнь боярских дочерей. Ведь и они сидели взаперти, только была маленькая разница: они спали на кровати, а я под кроватью.

Вдруг, слышу, гармонь за окном заиграла. Прислушалась. Да это же Вася играет!.. Значит, не уехал он — здесь! Кинулась к окну, а он поравнялся с окном и запел частушку:

Уж ты, милая моя,
Выгляни в окошко.
Если любишь ты меня —
Посмотри немножко!

Потом бросил мне в окно комок бумаги и спросил:

— Ну, как живешь?

Мне хочется многое сказать ему:

— Тише, Васька! Меня никуда не выпускают... А ты разве не уехал?

— Да нет! Работу искал. Там в бумажке все узнаешь. Слушай, ты приходи... Мне надо поговорить с тобой!

— Нет, не жди меня, я ведь кругом на замках, заперта!

В это время тетка увидела его под окном и заругалась:

— Пошел, пошел от окна-то, чего пристал, бесштанник!

Он смотрит на меня и улыбается.

— Тебе говорят — уходи, а то вот метлой провожу! Прохвост!

Пошел Вася и запел:

Уж ты, милая моя,
Молись богу за меня.
Как работушку достану —
Возьму замуж за себя!

Осмотрелась я кругом и развернула комок. Вот что он мне писал:

«Завтра я уеду искать работы, найду — я тебе скажу, а ты здесь приготовься, я приеду, ты убежишь ко мне, и уедем отсюда.

Вася».

Легко сказать «убежишь», а как я убегу, если сижу под замками.

Идут дни. Меня уже утром не будят, и я сплю долго. Работать не дают и обходятся ласково. Сперва мне это нравилось, но скоро надоело. А главное, я вижу, что все это поддельное. А в чем дело, понять не могу.

Однажды утром я встала, оделась и хочу пойти.

— Ты куда? — испугалась мачеха. — Сейчас чай пить будем. Вымети в комнате!

Я взяла веник и мету. Мачеха спрашивает:

— Ты знаешь Яшку Червякова?

— Знаю. А что?

— А он тебе глянется?

«Какой глупый вопрос! — думаю. — Хотя бы и глянулся, разве бы я вам так и сказала!» и отвечаю:

— Нет, он мне не глянется! А зачем спрашиваете?

— А если бы он на случай посватал тебя, ты пойдешь за него?

— Нет! — отвечаю я. — Боюсь его!

Мачеха с теткой весело переглянулись. И тут, наконец, мачеха мне рассказала всю историю, связанную с моим домашним арестом. Оказывается, Яков Червяков давно уже меня сватал, но мачеха была против этого брака. Яков был хороший работник и один сын у отца, и жили они хорошо. Если бы я вышла за него, мне было бы лучше, чем у мачехи, а этого ей не хотелось. Как же так: падчерица, а лучше ее живет.

В тот вечер, когда я уходила играть в мяч, Яков опять приходил к нам в дом и опять требовал, чтоб меня за него выдали замуж. Получивши снова отказ, он стал грозить, что поймает меня и силой к себе уведет. Вытащил бумажник и давай устилать трехрублевками дорогу около нашего дома.

— Вот, — говорит, — сколько у меня денег! Я вас всех продам и выкуплю, а Груша будет моей!

— Ждали его, — говорит мачеха, — что вот-вот явится и утащит тебя! Не ходи за него, он нехороший, бить тебя будет. Он уж сколько раз сидел в каталажке и в тюрьме сидел. Он вор, и эти деньги не его, он их где-нибудь украл. Не ходи за него и отца не срами.

— Нет, не пойду, я его боюсь! — ответила я, хотя и знала, что мачеха говорит неправду.

Но у меня другое было на уме — я ждала Васю и хотела отделаться от неожиданного жениха. Мачеха успокоилась, напоила меня чаем, и с этого дня меня уже больше не запирали.

ЕЩЕ НЕМНОГО ОБ ЯКОВЕ

1886 год был для меня переломным годом, да и не только для меня одной. На нашей улице жило девять девушек, и всех девять в этом году выдали замуж.

Тогда было у нас так заведено: как только девушку просватывают, то приглашают ее подруг гостить к невесте — шить ей приданое. Днем шьют, а вечером, если жених придет, играют, пляшут.

Одна из моих просватанных подруг послала просить меня к себе. Меня никуда не отпускали, нигде ни на одном вечере я не бывала, но тут мачехе пришлось меня отпустить, ведь я сама ходила в невестах, и мачеха мечтала поскорее вытолкнуть меня из дому. Если меня не отпустить, то и к нам потом никто не отпустит других девушек.

Днем мы шили, а вечером пришел жених, пошли игры, пляски. Перед концом вечера слышу, подружки зашептали:

— Яшка Червяков пришел!

— Зачем, ведь здесь не ихний край, наверное, драться пришел?!

А я думаю: «Нет, это он за мной пришел!» Боюсь, но деваться некуда. Насторожилась я, сижу, жду, что будет. Он вошел трезвый, со всеми поздоровался, сел неподалеку от меня, а потом тихонько ко мне подвигается.

Вижу, что уж близко, — я перешла на другое место. Он ко мне, я от него, ближе к печке, потому что за печкой был ход вниз, так как дом двухэтажный. Я решила этим ходом воспользоваться, а он этого хода не знал. Двигаясь тихонько, он прижал меня таким порядком к самой печке, надеясь тут меня схватить. Я вскочила и за печку, он за мной. Я — вниз по лестнице, он бросился было тоже за мной по лестнице, но, к счастью, внизу не было огня. Я спряталась в угол, а сама вся дрожу от испуга. Долго я так стояла, пока не спустилась ко мне невеста, увидела меня и говорит:

— Чего ты тут стоишь в потемках, пойдем кверху!

— А Яшка ушел?

— Ушел! А чего ты Яшки боишься?

Я рассказала, как он похвалился украсть меня, вот я и убежала вниз. Мы поднялись в горницу.

Невеста сказала:

— Вот что, ребята, разойдитесь по домам, мы спать ляжем, я боюсь, как бы Яшка не вернулся с товарищами, еще, чего доброго, драку учинит и Грушу утащит, а отец ее будет с нас требовать!

Все согласились, жених оделся, и все девушки пошли провожать жениха, а меня отправили опять в нижнюю горницу.

— Посиди, Грушенька, внизу, кто его знает, может, он спрятался где-нибудь и караулит тебя. Он знает, что мы жениха пойдем провожать!

Они скоро вернулись и в страхе передают мне:

— Грушенька, верно!.. Он караулил тебя!..

— Выскочил и всех нас осмотрел!..

— Ох, и напугались мы!..

— Давайте гасить огонь! Без огня ляжем!

Утром я ушла домой и больше у невесты не появлялась. Только в день свадьбы проводила ее в церковь.

КАК Я ТОНУЛА

В январе у нас была большая стирка белья. У тетки, как всегда в таких случаях, «заболела головushка и рученьки заглохло». Я одна все белье выстирала, наложила две корзины и пошла на реку полоскать. Было морозно, но под нашим берегом середина реки никогда не застывала, потому что из завода вода шла теплая, только немного дальше от нас у берегов был лед, а в нем проруби.

Я уже одну корзину выполоסקала, когда пришла на реку моя подруга тоже с бельем. Полощем и разговариваем. Я невзначай попятилась и провалилась в воду. Оказалось, это была старая прорубь, ее затянуло тонким льдом и снегом закрыло, так что и не видно ее было.

Я барахталась в воде, дна достать не могу и ухватиться мне не за что, руки скользят по льду.

Подруга испугалась и не знает, что делать. Бегает около меня и только кричит:

— Ой, утонет! Ой, батюшки!

— Саша, прощай!.. Меня тянет под лед!

Она заревела. Я уж не помню, что было дальше. Опамятовалась я только в избе у подруги: она тут же на берегу жила. Когда я начала тонуть, подруга, наконец, догадалась, схватила меня за воротник и закричала. На ее крик выскочили люди из соседних домов и вытащили меня из проруби.

Подруги сидят и плачут, что я чуть не утонула.

А я говорю им:

— Оно и лучше было бы, чем жить такой проклятой жизнью. Вот и теперь не знаю, как домой приду!

Дома на меня закричали:

— Где тебя черти носят?! А это что на тебе надето?

— Я чуть не утонула! Мою одежду сняли и сушат, а я чужое надела!

— За каким тебя чортом туда понесло?! Шататься тебе надо, нет тебе места у своего берега?!

И опять я кругом оказалась виновата.

Постоянная ругань мачехи, а потом пособницы ее — тетки — довели меня до того, что я перестала понимать, правильно я рассуждаю или нет. Сами же они говорили, что расту я дурой. А главное, они восстановили против меня отца и разлучили меня с бабушкой, загородили мне дорогу к ней. И оказалась я в родном доме чужой, одинокой.

ПРОСВАТАНЬЕ

Мне уж семнадцать лет. Полезли женихи, от одного отобьюсь — другой лезет.

В половине сентября я чистила и подметала двор. Приходят мужчина с женщиной. Они внимательно осмотрели, как я работаю, и спросили, дома ли отец. Я ответила, что не пришел еще.

— Ну ладно, мы еще придем, проведем тебя!

Я подумала: «Чего меня проводывать, я не хвораю, да и что им за дело до меня?!»

Пришел отец, я сказала ему о их посещении.

— А-а-а, сваты, наверное! — сказал он. — Придут, никуда не денутся!

Не успели мы сесть за стол, как входят эти двое. Я перепугалась, ушла наверх, взяла шитье и шью. Через несколько минут, смотрю, тетка несет наверх горячий самовар и говорит мне:

— Помоги накрыть на стол, гости здесь будут чай пить!

Когда все было готово, я взяла шитье и ушла в другую комнату.

Гости и отец поднялись наверх. Мужчина идет прямо ко мне:

— Ты что ушла, пойдем с нами, посидим, поговорим!

— Мне некогда, работа спешная! — уклончиво отвечаю я. — Идите, я приду!

А на уме: «Вот привязался». Через несколько минут вошла мачеха.

— Ты почему не идешь? Чего упрямишься? Тебя сватают, а ты сидишь тут!

Я рассердилась:

— Что вы привязались ко мне? Все равно я замуж не пойду!

— А ты знаешь ихнего сына?

— Знаю. Я не люблю его. Ненавижу!

— Вот еще что! Она не любит! Выйдешь замуж — полюбишь!

К чаю меня все-таки вызвали. Я перед этим была в бане, и на голове у меня был платок под горло подвязан. Гость просит:

— Ну-ка, сними платочек-то, мы на тебя посмотрим!

Я злобно сбросила платок, гость так и впился в меня глазами...

Отец с мачехой пошли провожать гостей. Я прибрала на столе и ушла в свою спальню, т. е. под кровать.

Лежу и размышляю: «Вася пять рублей уже заработал, еще заработает десять рублей, вот тогда и уйду к нему, и мы повенчаемся. Если мачеха ничего не даст — и не нужно, я дождусь праздника, надену хорошее платье и пойду в церковь молиться. Вася придет, и нас обвенчают...»

Так, мечтая, я заснула. Утром, как всегда, взялась за работу, вечером пришел отец.

— Ты знаешь сына Ефима Кореванова — Аркашку? — спросил он о вчерашних гостях.

— Знаю!

— Так вот, — с расстановкой сказал отец, — я тебя просватал!

Я в это время поправляла в печке дрова. У меня выпала из рук кочерга, а за ней вылетела из печки головня. Я схватила головню голыми руками и бросила в печку. Все это сделала машинально, со страха.

Потом выбежала во двор, постояла в огороде, вошла в баню, села на лавку. Мысли перепутались, слез нет. Села к окну, подперла голову рукой и сижу. Сколько так просидела — не знаю. Пришла тетка, взяла меня за плечо. Я вздрогнула. Потом посмотрела на нее и заплакала. Тетка, не сказав ни слова, вышла. Наплакалась, вышла из бани посмотреть на гору — не увижу ли Васю.

Нет, никого не видно!

Вернувшись домой, вошла в кухню, отец был там.

— Тятя, не отдавай меня за этого... Мне он не глянется, — взмолилась я.

— Почему он тебе не нравится? Красивый парень и мастерок, одноподшвенные женские башмаки шьет, пятнадцать копеек за пару ему платят. Да и родные у него денежные!

— Мне не нужно их денег, тятя, сына ихнего не люблю!

— Ишь ты, она еще какую-то любовь знает?! Выйдешь — и будешь любить. И нужды не увидишь, они живут хорошо. Муж откроет свою мастерскую, ты будешь хозяйка, а не стряпка какая-нибудь. А то выйдешь за бедного, и работай сама.

— Я лучше работать буду, но за этого не пойду!

— Ну, довольно, — сказал отец, — ты еще глупа. Дело решенное!

— Тятя, не отдавай меня! — со слезами бросаюсь я к нему в ноги.

— Замолчи! Сказано, что решено! А не пойдешь — выгоню из дому и ничего не дам, без паспорта пушу!

Так пришла ко мне новая и большая печаль. Что теперь делать? Уйти? Да куда же я уйду?! Бабушка стара стала. Ушла бы в город, но паспорта отец ни за что не даст. Чего мне ждать? Не с кем даже поговорить, погоревать!

Вышла в огород и смотрю на речку.

Васю бы увидеть, где-то он сейчас? На реке я встретила его товарища.

— А где Вася?

— Он уехал с хозяином на ярмарку, скоро они назад приедут. Он хотел там работы поискать. Здесь ему невозможно работать. С четырех утра до двенадцати ночи за двадцать копеек чертоломить приходится.

— Неужели он долго не приедет? — испугалась я. — Меня просватали!

— Просватали? И ты идешь?

— Силой отдают...

— Силой? Ну, ты не горюй, Васютка приедет, мы приедем за тобой, ты убежишь от отца... Это устроим!..

Так шли дни за днями. Уже к свадьбе приготовления идут, а я все жду, верю. Лишь бы Вася успел приехать... Не пойду, пусть меня отец прогонит! В крайнем случае попу скажу, что силой отдают. Поп венчать не будет. А время идет, жених ходит ко мне чуть не каждый день.

Не глядела бы я на него, до того он мне противен.

А Васи нет и нет. И я решила убежать, куда глаза глядят. Завязала в узелок самое необходимое и вышла в огород.

Увидела церковь, всплеснула руками:

— Матушка-богородица, оборони ты меня, научи, как мне быть?

Потом мой взгляд остановился на кладбище, где похоронена моя мать. Еще пуще залилась слезами, пала на землю, причитаю:

— Мамонька ты моя! Родимая ты моя... была бы ты жива, не отдали бы меня! Родная ты моя!

В доме услышали мои вопли. Подошла тетка. Однако и ее черствое сердце не выдержало моих слез, села она подле меня на бревно и заплакала. Взяла меня под руку, подняла и начала уговаривать:

— Да будет тебе, Грушенька, плакать, будет, еще захворает, чего доброго!

— Лучше бы захворать да умереть! — сказала я сквозь слезы.

— Ну да что поделаешь, такая наша женская доля горемычная, — и повела меня домой.

Я все время думала убежать, а мой любимый как сквозь землю провалился. За мной следили. Думала попу сказать, что меня силой отдадут, но там все было так обработано, что поп и не спросил меня о моем согласии.

Прощай, моя незавидная девичья жизнь!..

ЗАМУЖЕСТВО

Отгуляли свадьбу. Неделью спустя, утром, свекор заявляет мужу:

— Ну-с, заботься о заработке; ты теперь с женой, я уже старик — вас кормить-то!

Говорит, а сам на образа крестится, кланяется. Вышел из-за стола.

«Это вместо молитвы отказ детям от хлеба! — подумала я. — Как же после этого садиться за стол, как браться за кусок хлеба?»

Свекор понял, что поспешил с таким разговором, повернулся ко мне и говорит:

— Ты чего голову повесила? Я ведь не тебе говорю, мужу твоему. Садись и ешь!

Муж работает. Неделя пройдет — приносит свой заработок, отдает отцу, и мы остаемся без копейки. Уйдем мы с мужем в свою комнату и сидим. Света у нас нет, почитала бы, да темно, говорить нам не о чем.

Свекровь встает часа в четыре утра, готовит завтрак, потом будит нас. Садимся за стол. Все едят, только ложки свистят, а я сижу, и кусок в горло нейдет.

Утром я привыкла пить чай, а у них этого не заведено. Чай у них пили только в праздники, после обедни. Я начала худеть. Соседки стали свекру говорить:

— Что это у вас молодая похудела?

Как-то утром муж, уходя на работу, говорит мне:

— Ты приходи сегодня, мастер хочет тебя видеть!

Я сказала об этом свекрови.

— Если мастер Егор Иванович хочет, надо сходить — ему перечить нельзя. Сходи и подарок снеси, он лучше будет работу давать!

«Что же это такое, — думаю я, — тому нельзя перечить, другому, третьему. Всех уважай, всех бойся!»

Выбрала я лучший платок на подарок и пошла.

Прихожу. В мастерской только трое: мастер, мальчик-ученик и муж. Я поздоровалась, поднесла мастеру подарок, извинилась, что ничего лучше не изготовила. Мастер обошелся со мной очень вежливо.

— Спасибо, спасибо, дорогая, садись, посиди с нами, побалагурим! — он даже смахнул пыль с лавки.

Мы о чем-то долго говорили, потом, как бы между прочим, мастер спросил:

— Ты, кажется, грамотная?

— Немножко!

— Вот у меня боли в боку, сильно меня беспокоят, не можешь ли ты объяснить, какое лечение требуется? — и он рассказал про свою болезнь.

Я выслушала и сказала:

— Так я вам сказать не могу; был бы лечебник, я бы сказала.

Мастер задумался, а муж говорит:

— У тетки лечебник есть, надо попросить!

Мастер оживился:

— Иди-ка, Колька, сбегай, скажи, что молодая здесь, она даст!

Мальчик скоро вернулся с лечебником.

Перелистала я книгу и говорю:

— Вам нужно сделать так-то и так-то. Ваша болезнь не страшная. У вас легкая простуда. Если примете нужные меры — послезавтра будете здоровы!

— Послезавтра ты приходи обязательно! — сказал мне мастер. — Интересно, какой будет результат! — потом задумался и говорит: — Вот она, грамота-то, посмотрела в книжку и все видит, а я вот, как ее ни верти, все равно ничего не увижу!

На третий день вхожу в мастерскую. Мастер вскочил, приготовил мне место около себя.

— Садись! Вот, ребята, она всех нас за пояс заткнет, вот сколько здесь нас есть — она всех дороже! Болезнь-то мою как

рукой сняло! Мы с вами все болваны перед ней. Она между нами одна, как светильник.

Мой муж сидит и тает от удовольствия.

— А вот еще чего, молодка, не скажешь ли мне, — продолжает мастер, — я видел сон, очень он меня беспокоит.

И рассказал свой сон.

— Да у меня и сонника нет, а так я вам сказать не могу!

Сию и думаю, как бы мне от него отвязаться. А муж мой, сдуру, возьми да и бухни одному из товарищей:

— Егорша, у тебя ведь есть сонник?!

— Есть!

— Ты дай нам его на минутку! — попросил мастер.

Принесли сонник. Все сидят, затаили дыхание.

Я смотрю в сонник, и в глазах рябит: да что же я говорить им буду, зачем врать? Но набралась духу, открыла наугад страницу и читаю:

— Вы должны получить деньги, откуда и не ожидаете, и скоро, через два дня, не больше!

Тут все вдруг обрадовались, захлопали в ладоши.

Через два дня мастер опять прислал за мной и говорит:

— Ты знаешь, что своей грамотой сделала во мне большой перелом?! Ты меня озадачила грамотой, доказала, что грамота — это ценность! Два раза я тебя просил ответить, чего я не знаю, и оба раза получилось так, как ты сказала. Последний раз ты сказала: «Получишь деньги оттуда, откуда не ожидаешь!» Эти два дня я все думал: откуда же это может быть? Бабе своей сказал, она еще заворчала на меня: «Нечего вам там делать, так и выдумываете!» А вчера вдруг приходит человек и приносит мне долг, которого я уже не ожидал, уже крест поставил на нем... Теперь я переменяю свое мнение насчет грамоты, буду учить своих ребятишек, отдам их в школу, а до этого у меня и в голове не было их учить. Я и сам бы не прочь хоть немного поучиться, да голова, наверное, уж не сможет! — и обращаясь к моему мужу: — Где ты выкопал

такую бабу — это не баба, а клад. Надо ее беречь, она много даст тебе пользы. Ценить надо!

С этого времени я не рада стала своей грамотности. Чуть что — сейчас посылают за мной. Это им скажи, другое объясни, а я сама ничего не понимала. Я отделялась выдержками, что сохранила моя память из прочитанных книг.

Свекор держал свою семью в ежовых рукавицах. Сварливый и деспотичный был старик. Мужа моего тоже насильно заставили жениться. Муж как-то сам рассказал мне:

— Отец велел, чтобы женился. А я не хотел. Сначала он меня уговаривал, а потом стал стращать, что выгонит из дому. Даже бил меня.

Муж со своей судьбой скоро примирился; со мной был мягок и ласков, как будто женился действительно по любви. Я же чувствовала себя очень плохо. Жизнь нудная, скучная. Мне очень хотелось читать, но книг в доме не было. Мне захотелось втянуть в чтение других. Но как это сделать? Я пошла на хитрость...

В праздник встану и жду, когда свекор будет молиться. Начнет, а я подхожу с псалтырем и начинаю читать вслух, читаю и молюсь вместе с ним. Свекру это очень понравилось. Потом я как-то, возвращаясь из церкви, зашла к дяде и взяла книжонку. После чая предложила почитать дома. Опять им понравилось...

Вечером зажигаем огонь, если свекор никуда не уехал, садимся вокруг стола с какой-нибудь книгой, я читаю, а все слушают. Старуха стала ворчать, что керосина много идет. Старик сердито отвечает ей:

— Не ты зарабатываешь, ну и молчи, сгорит — опять купим, а если ты ничего не понимаешь, убирайся на печь и дрыхни.

Однако книги оказали мало влияния на наш быт. Старик по-прежнему крепко держался за установленный в доме обычай.

На рождестве мы были в гостях у моего отца. Когда возвращались домой, муж был немного навеселе. Пришли домой,

пошли наверх и увидели свекра спящим на полу у нас в комнате. Раньше он никогда не спал у нас. Муж притворился пьяным и повалился на кровать.

Я, ничего не подозревая, начала раздеваться. Вдруг свекор схватил меня за рубашку. Я вырвалась, он вскочил, начал меня ловить. Мы бегали по комнате, он за мной — я от него. Мне некуда было деваться. Я убежала за стол, потом бросилась на кровать, залезла под одеяло и дрожу.

Вижу, что муж наблюдает за отцом, но молчит. Старик думал, что сын пьян, и стал стаскивать меня с кровати. Тут муж не выдержал:

— Ты что делаешь, отец?

Старик, злой от неудачи, побежал вниз, поднял всех на ноги. Ругается что есть духу, все мои вещи выбрасывает во двор и в исступлении кричит:

— Вон! Вон ее! К чорту! Сволочь! Она за бороду меня оттащила!..

Дочь его, сестра мужа, прибежала к нам и кричит мне:

— Ты чего сделала? Иди, проси прощенья у свекра, а то плохо тебе будет!

Муж молчит, а я лежу и дрожу. Она схватила меня за руку, стащила с кровати. Я оделась и пошла за ней вниз.

Свекор сидит на своей постели и зло ухмыляется в бороду.

— Проси прощенья! — кричит сестра мужа и пребольно толкает меня в спину.

Я пала к ногам старика на колени.

— Прости, прости ее! — она обеими руками склонила мою голову и сама поклонилась старику. — Прости ее!

Я потеряла способность чувствовать. Ни слез, ни слов, ни мысли. Стою на коленях и ничего не понимаю. Наконец, я тихо поднялась и ушла к себе в комнату. Там я заплакала, разделась и легла в постель. Слышал ли муж, как я плакала? Думаю, что слышал, но промолчал. Может быть, потому, что я поступила неправильно, не подчинившись свекру. Я уснула с твердым решением утопиться.

С этого времени жизнь моя стала ужасной. Меня били чуть не ежедневно и ставили при этом мне в пример старшую сноху. После мне соседи сказали: что она «уважала» свекра, чем и заслужила его милость.

Жили мы бедно. Люди говорили, что у нас хлеба полные лари, но я его не видала. Правда, свекру в поездку каждый раз готовили сухари из белой муки, но нам они никогда не доставались.

Неделями приходилось голодать. В воскресенье муж принесет заработок, купим муки полпуда, чаю, сахару. Но этого было мало. Я стала брать вышивку, вязать кружева. Все это оплачивалось грошами. Весной ходила копать огороды и получала за это пятнадцать копеек в день. Весной дни длинные. Приду домой, на руках пузыри мозолей, а отдохнуть некогда — надо шить.

Летом мы со старухой пойдем в лес, насобираем грибов, ягод, продадим их, купим себе хлеба и только тут поедим досыта.

РОДИТЕЛИ МУЖА

Моя свекровь Лукерья Денисовна была дочерью управителя завода. Отец ее был крепостной, но каким-то чудом выбился в люди. Когда-то она была красивая, белая, румяная женщина, как говорится, кровь с молоком, но я ее помню уже совершенно забитой и загнанной старухой.

Свекор — Ефим Ларионович — сын служащего в заводской конторе. Он был мастером — литейщиком чугунных изделий. Грамоты не знал, но был развитой по тому времени, большой забияка и затейщик, в молодости много пил и бурно гулял. Тесть пытался то увещаниями, то хорошим обращением, а то даже материальной поддержкой направить его на путь истинный, когда же убедился, что все эти меры

на зятя не действуют, пустился на последнюю хитрость. Однажды ночью схватили Ефима, заковали в кандалы для отправки в солдаты и посадили в специально отведенный для этого дом.

И вот рано утром в день отправки Ефима одели в казенную одежду и поставили вместе с другими рекрутами на площади около завода. Каждый стоял со своим походным мешком. Приехали подводы. У кого из рекрутов была своя, тот сел на свою, у кого нет, — на казенную.

Стоит наш рекрут, ждет: вот и его сейчас вызовут и отправят. Однако всех отправляют, а его нет. Полчаса стоит, час стоит, его все не вызывают. Вот уж и последние подводы уехали, и распорядитель ушел, а он все еще стоит. Холодно. Стынет кровь от кандалов, коченеют руки и ноги.

Жена его перестала плакать и тоже смотрит с недоумением: как же так?.. Почему же не отправили?..

Он посылает ее в волость узнать, в чем дело.

— У нас нет на него указания... Идите к управителю, что он скажет?

Идут к управителю. От него поступает строгий приказ:

— Привести рекрута ко мне!

Не хочется Ефиму к тестю итти, но делать нечего. Хоть он и тесть, но лицо высокое.

— Ну что, будешь пить? — спрашивает управитель.

— Нет!

— Побожись!

— Вот икона, вот крест, вот моя голова!.. Век не буду!

— Ну ладно! — говорит управитель и вызывает стражу. — Большая радость у нас сегодня!.. Угостить надо рекрута... Дайте ему пятьдесят блинов, да горяченьких!

И всыпали Ефиму на конюшне «горяченьких».

С этих пор Ефим действительно бросил пить, но страшно озлобился и злобу свою стал вымещать на жене — дочери управителя.

После выхода на свободу он занялся вольной работой.

Железных дорог тогда не было, и выработанное на заводе железо возили обозами или водой на барках. Барки строились на берегу всю зиму с таким расчетом, чтобы к апрелю нужное количество их было обязательно готово. В феврале начинали вывозить продукцию — железо различных сортов — на берег для погрузки барок. Оберегать это железо становились сторожа. Свекор, пока был на берегу, исполнял должность сторожа, а потом плыл с баркой в качестве рабочего на водоотливе. В плавании был восемнадцать раз. При мне плавал только два раза — стар стал.

КАРАВАН

Караван барок плыл по Чусовой, по Каме на Волгу до Нижнего, поспевая к Макарьевской ярмарке. На этой ярмарке сбывался и товар и барки. Чусовая — река маловодная, летом барка по ней не пройдет, а потому караваны отправляли в половодье, весной, да и то при помощи дополнительной водной базы; такой базой был ревдинский пруд. Когда Ревда пускала воду, тогда только мог двинуться караван.

Опоздавшие заводы просили Ревду пустить воду, и Ревда соглашалась только в том случае, когда ей платили за каждый вершок спущенной из пруда воды.

Отбытие каравана из Ревды было приурочено к 23 апреля.

Барки строили заранее, еще с зимы. Строили они на берегу реки.

За неделю до отправки готовые барки спускали на воду. К этому времени в Ревду собиралось огромное количество народу, заранее законтрактованного из Вятской и Костромской губерний. Для нас это был как бы праздник, все население завода сбегалось смотреть, как будут спускать на воду барки.

На площади между барок снуют мужики, кричат, советуют. Вот сплавщик вскарабкался на барку, а мужики, заложив шесты под борт ее, терпеливо ждут. Сплавщик стаскивает с головы шапку, набожно крестится и запекает, размахивая в такт песне шапкой, пристукивая ногами:

Как у нашего Макара
Борода в пиво макала.
Грянем все вдруг —
Да ух!

Мужики хором подхватывают:

— У-у-у-х! — и шестами толкают барку.

«Слеги» — бревна, на которых лежит барка, — поливают водой, чтобы не загорелись от трения днищем барки.

Когда барка за один толчок не доходит до воды, мужики снова подкладывают шесты и ждут песни:

Сплавщик запекает:

Как у дяди Сереброва
Есть хозяйка черноброва.
Грянем все вдруг —
Да ух!

Рабочие все в голос:

— У-у-х!

— Идет, идет!..

Глазеющая на берегу публика крякала, помогала восклицаниями и неистово махала руками. Все опасались за сплавщика. Барка накренится и вот-вот перевернется набок. Но вот барка выправляется и благополучно входит в воду.

Тогда сплавщик сбрасывает конец каната на берег, рабочие подхватывают его и тянут лямками барку по течению к месту погрузки, а сплавщик соскакивает и идет к следующей барке. Рабочие поднимают свои шесты вверх и, как солдаты с ружьями, идут за ним.

23 апреля — день не престольный и даже не праздничный, но для населения он был желанным, долгожданным днем. Вставали в этот день рано, и каждый был занят по своему делу, каждый спешил. Одни бежали с котомкой на барку, с которой им нужно было плыть, другие шли только поглядеть или провожать уезжавших.

Все ждали, как пройдет первая барка через перемычку. Была такая примета: если первая барка пройдет благополучно, то и весь караван пройдет хорошо.

Перемычкой называлось узкое горло реки и сейчас же за ним изгиб. В перемычке с незапамятных времен для чего-то настлан был пол. Пол этот очень хорошо сохранился, к нему прикрепляли мостик для пешеходов, но во время отправки каравана мостик убирали.

К моменту отправки каравана спускали воду из пруда. На перемычке получался водопад. Падая с дощатой настилки, вода ударялась в дно реки и волной подымалась вверх, образуя водовороты. Затем стремительно неслась далее, к правому берегу, вместе с поднятыми со дна глиной и песком, которые, оседая, образовывали широкую отмель; здесь река широко заливала берег, и эта отмель в полую воду не была видна.

Первые барки прошли через перемычку благополучно. На четвертой сплавщик оробел, не управил как следует барку. Ее бросило к левому берегу — он был высокий. Барка веслами воткнулась в берег. Весла вышибло из гнезд, барку повернуло задом наперед и понесло дальше. Кое-как рабочим удалось прибить барку к берегу и выправить весла. На следующей барке такая же история: сплавщик не сумел вовремя сманеврировать, барку тащит боком и садит на мель. Тут рабочим еще хуже, надо выгружать железо на берег, отвести барку на более глубокое место и снова ее нагрузить. Бывали случаи, когда барки в этом месте разбивались, а люди тонули. На этот случай около правого берега все время дежурила лодка

со спасательными принадлежностями. За проходкой барок через перемычку следил специальной курьер на лошади. В случае аварии он вызывал желающих из зрителей помочь барке, сделать перегрузку, а сам мчался к караванному.

Берега у перемычки усеяны народом. Толпа следит за каждым проходящим судном и волнуется не меньше, чем сами сплавщики на барках.

— Ой, пропала барка!..

— На берег тащит! Поворачивает!

— Ого-го-го-го!

— Давай, давай!..

— Бери правым веслом, правым, сукин сын!..

От волнения зрители бегают по берегу, кричат, толкают друг друга, машут руками и не успокаиваются, пока барка не минует опасное место.

Но самым важным моментом для зрителей был тот, когда проходила «казенка», которая плыла всегда последней, в хвосте каравана. Оборудование «казенки» такое же, как и на прочих барках, но на палубе у нее выстроены две каюты, и кроме того носовая часть судна выкрашена для каждого завода в особую краску. Так, Ревдинский завод красил баржу в черный цвет, поэтому ревдинцы назывались «черноносыми»; Шайтанский завод — в желтый и т. д. Одна каюта предназначалась для хозяина и управителя, а другая — для их дам. Кроме того были устроены две каюты и внутри барки: одна для сплавщиков, другая для прислуги. На крыше верхней каюты красовался заводский герб, а на носу баржи — трехцветный флаг. На «казенке» обыкновенно находилось управление караваном и кроме того наиболее ценный груз и продовольствие для всего каравана. Завидев еще издали «казенку», публика приходила в волнение. Сначала как предвестница величия появлялась большая лодка, так называемая «косная». В ней сидели двенадцать гребцов и рулевой. Все гребцы в ярко-красных кашемировых рубашках, черных из плиса шаро-

варах, фуражки матросские с длинными красными лентами. На рулевом — рубашка малинового цвета, тоже кашемировая, шаровары тоже плисовые, а лента на фуражке голубая. На носу лодки белый флажок.

При известии, что идет «казенка», «спасатель» выплывал на своей лодке на середину реки. На солнце он блестит жуком, одежда на нем черная, из хорошего сукна. На шее у него висит спасательный круг, а в лодке лежат веревки, багры и пр. На носу лодки также белый флажок.

Вот косная лодка подъезжает к перемычке. Все гребцы, как по команде, враз поднимают весла вверх. В таком положении лодка ныряет в водопад, в эту бушующую бездну, и скрывается от глаз зрителей.

Зрители ахают и замирают от страха. Тысячи глаз устремлены на то место, где вода закрыла собой смельчаков. Наступает тишина. В этой тишине как-то особенно зловеще гудит и клокочет река. И вдруг лодка выныривает там, где публика совершенно ее не ожидает. Гребцы усердно работают веслами и сидят так же рядышком и чинно, как ни в чем не бывало.

Толпа на берегу радостно орет:

— Ура-а!..

Рулевой лихо сдергивает с головы матроску и весело машет ею публике. Ну вот из-за поворота показывается и сама «казенка». На ней едет «сам», хозяин. Публика бросается ближе к берегу. Каждый протискивается к реке, каждый лезет вперед, цепляясь за прибрежные камни. Многие спускаются к самой воде, их обдают холодные брызги сверху, а к ногам подкатываются волны. Подплывая к перемычке, все, находящиеся на «казенке», снимают шапки и крестятся. С берега видно, как поп, простоволосый, бегаёт по борту барки с крестом в руках и крестит воду.

Публика на берегу снова затихает. «Казенка» скрывается в волне, но ненадолго, через секунду она выплывает цела и невредима. В это время хозяин дает сигнал, и пушечный

салют потрясает берега. Это «казенка» прощается с публикой... С «казенки» машут шапками и платочками. Завершает караван черный «спасатель». Он, как собака за хозяином, спешит за «казенкой» и вместе с ней скрывается за поворотом реки, где их ждет очередная опасность — камень «Ерш».

У этого камня часто разбивались барки. Всего по Чусовой восемнадцать опасных камней, так называемых «бойцов»: Ерш, Черный, Богатый, Слизкий, Ермак, Старуха и другие. Последний, самый опаснейший, назывался «Разбойник». Кроме камней на реке много отмелей, и всюду рабочих ждали опасность и жаркая работа.

Проводив «казенку», толпа ручьями растекается по близлежащим улицам и переулкам. Идут «в гости». И там начинается пьянство. У кого нет ни родных, ни знакомых в этом краю, те устраиваются тут же, на берегу, и угощаются.

Провожать караван выходили все, в домах оставались только больные да калеки. Все заводские цехи, кроме доменного, в этот день останавливались. До поздней ночи на берегу и в окрестных домах шла попойка, слышались песни, крики, под звуки гармоник затевались драки.

За время сплава много было жертв. У каждого «камня» если не в этот год, то в следующий были жертвы. Осиротевшие семьи приходили на берег, чтобы вспомнить своего кормильца, погибшего на караване, а потом отправлялись нищенствовать.

А хозяйский капитал рос и умножался. Он ничего не видел и не хотел видеть. Какое ему было дело до жертв и сирот?!

ПРИЕЗД СВЕКРА

Свекор возвращался из Нижнего всегда в одно и то же время — к покрову. За неделю до его приезда в доме начиналась генеральная уборка. Чистили не только в доме, но и в ко-

нюшне. В амбаре каждую вещь обтирали от пыли и вешали или укладывали на свое место. Не оставался без внимания даже огород.

Баню топили три дня, и мне было поручено следить за ней, чтобы было чисто, не угарно и тепло и принадлежность банная была бы на лицо и на своем месте.

Старуха гладила чистое белье, и лежало оно наготове. По несколько раз в день она всюду осматривала, все ли в порядке, не забыто ли чего. Самовар три дня не сходил со стола. Поочередно мы с ней дежурили у ворот, точно для встречи высокого гостя. К чаю у нас приготовлен был сдобный хлеб из белой муки, пирог с мясом да пирог с рыбой. Все это подогревалось в печке.

Наконец явился и долгожданный гость. Я широко распахнула перед ним ворота, сын взял багаж, старуха открыла дверь дома. Началась церемония здравовья. Затем происходила дележка подарков. Свекор, не спеша, развязал узел, достал какую-то траву коричневого цвета и подал старухе:

— Это тебе трава, крововик... Из самого Нижнего!

Старуха взяла подарок, бережно завернула в бумажку и положила осторожно в сундук.

Мы все стояли в ожидании своей очереди. Я была убеждена, что старик вернулся из страны, где растут разные фрукты, и ждала: вот сейчас он вынет и узел с фруктами. Больше всего я ждала яблок. Но старик достал сверток мануфактуры и подал мне с важным видом:

— А вот тебе на платье! Прямо с фабрики!

Мне уж было наказано, как принимать от него подарки. Я взяла сверток и бух в ноги старику:

— Спасибо, тятенька, ведь шутка ли, прямо с фабрики!..

Потом он достал еще что-то маленькое, завернутое в бумажку, развернул и говорит:

— А это вам всем!

Старуха взглянула в бумажку и спрашивает:

— А это что же такое?

Старик с гордостью сказал ей:

— Да где тебе знать, вот она, — показал головой на меня, — знает!

И подал всем по штучке.

Я смотрю и не верю своим глазам: да ведь это просто вяленая репа!

Весть о подарках, как молния, облетела соседей. Пошли пересуды о том, что старик привез очень много подарков, снохе на платье привез, купил материю прямо с фабрики. Ведь вот какая сумма истрачена!

После я узнала, что ситец стоит по шесть копеек аршин — двенадцать аршин на семьдесят две копейки.

Соседки у меня спрашивают:

— Много старик привез подарков? Старухе, наверное, на сарафан привез?!

А я не знаю, что ей ответить: правду сказать совестно, а врать не хочу.

После всех этих церемоний жизнь пошла по-старому. Старухе нет-нет, да и влетит зубатычина, хотя зубов у ней уже не было: последние два зуба были вышиблены в прошлом году за плохие пироги. На меня старик покрикивает, но еще не бьет. Зато сыну проходу не дает, что ни день, то у них ссора. Не нравится старику, что муж мой мало зарабатывает и в мастерстве не продвигается — все еще сидит за башмаками, а ни сапог, ни ботинок шить не научился. До того у них дошло, что под конец выгнал свекор мужа из дому.

— Не хочу, — говорит, — кормить дармоеда! Срам только от тебя принимаю! Все соседи смеются! Поди к лешему со своей работой!

Забрались мы с мужем в свою комнату, сидим, думаем, что дальше делать.

— Пойду в город, — говорит муж, — может, там найду работу, а ты поживи дома.

— А что я есть буду? Старик кормить меня не станет!

— Ну, как-нибудь пробьешься!

На другой день муж, не говоря родным ни слова, ушел в Екатеринбург.

Подошел вечер, свекор меня спрашивает:

— А где твой муженек?

— Не знаю.

Вот и ночь прошла, а мужа нет.

— Да где же он?

— Он про город что-то говорил. Не туда ли ушел? — объясняю я.

— Так... сам ушел, а тебя нам оставил. А кто тебя кормить будет?

— Пойду у тяти хлеба попрошу.

— Да ведь мачеха тебе не даст, скажет: муж есть, пусть он и кормит! Да и на меня славу положишь, что тебя не кормим.

— Ну, я пойду в кирпичный работать, работают же там бабы.

— Ну, уж этого я и вовсе тебе не позволю! Чтобы из моего дома пошли бабы работать! Ты об этом и думать забудь!

— Да где же тогда я возьму себе хлеба?

— Бери на дом работу шить, вязать, вот и заработаешь, а через недельку к муженьку сходишь, пускай раскошелится!

Я ничего более не стала возражать, все равно бесполезно.

Сходила я к крестной, она дала мне десять фунтов хлеба взаймы.

В ГОРОДЕ

Прошла неделя, как ушел муж из дому. Голод не тетка, хлеба нет, заработать негде. Вот и решила я пойти в город мужа искать.

Вышла из дому утром и до вечера прошла сорок пять верст. Зажгли огни, а я уже в городе.

Но где же искать мужа?.. И решила я зайти к золовке — сестре мужа. Думаю: «Если он не у нее живет, то все равно она знает, где его искать».

Встретила она меня неласково:

— Вот она, полюбуйтесь!.. Явилась!.. Одного кормлю, а тут на тебе и другого нахлебника!..

Я, как вошла, так и села на какой-то сломанный ящик, села и слова не могу выговорить — так озадачила меня золовка.

А она продолжает шипеть:

— Чего сидишь? Раздевайся, коли уж пришла! Я знаю, ты пришла узнать, сколько заработал муженек? Я тебе скажу: двадцать копеек заработал, вот сколько!

Она посмотрела на других женщин, тут живущих, и захотала. Все подхватили ее смех.

Я уже не сию, а вроде куда-то проваливаюсь, мне и стыдно и обидно. Чем же я виновата, что муж ничего не заработал?!

Одна все же нашлась порассудительнее и говорит золовке:

— Чего ты зря напустилась на женщину! Пришла баба с дороги усталая, голодная, а ты сразу на нее бросаешься!

Золовка злобно вспыхнула:

— А тебе какое дело? Тоже нашлась умница!

И началась между ними перебранка. Я не знаю, куда и деваться. Встала кое-как на ноги, направилась к двери уходить, а ноги, как чугунные.

Та же женщина и говорит:

— Не ходи, напейся чаю, у меня самовар горячий стоит. Иди, садись!

Золовке стало совестно:

— Чего твой самовар, сейчас свой поставим!

Я, однако, иду во двор. Золовка выскочила за мной, взяла меня за рукав и привела обратно в кухню.

— Давай раздевайся, я сейчас самовар поставлю, между тем муж твой, может, придет! — сказала она уже мягче.

Скоро самовар поспел. Подали свежий хлеб. Посадили меня к столу. После всего, что было, как мне взяться за хлеб? А аппетит разыгрался! Выпила я чашку чаю, хлеба не беру.

— Что ничего не ешь?

— Не хочу.

— Как так не хочу, ведь ты с дороги! Какая ты обидчивая! Ешь! — золовка положила кусок хлеба и придвинула ко мне.

Поздно вечером явился муж. Увидел меня и остановился у двери.

— Ты зачем пришла?!

Сестра напустилась на него, как бы в защиту меня:

— Как зачем?.. К мужу! А муженек и дом ни с чем оставил и здесь ничего не заработал, на чужой шее сидит!

И много наговорила ему колкостей.

Муж сел, повесив голову, и ни слова не сказал ей.

К ночи все жильцы пришли с работы, все они были рабочие. Настроение сразу поднялось, пошли шутки, рассказы, кто как провел день.

На ночь нам отвели место за печкой, так как больше некуда было нас положить: в одной комнате и кухне жили, кроме нас, пять семей с детьми.

Утром сестра мужа говорит мне:

— Пойдем со мной работать, нам хватит на неделю полы мыть да белье стирать. Неделю сыта будешь и на хлеб заработаешь.

А дело было перед рождеством. Во всех домах шла уборка. Работницы были нарасхват. И вот мы уйдем из дому в шесть часов утра, а придем на квартиру в девять вечера. Таким путем заработала я мужу и себе на хлеб.

— Ну, теперь ты богата, хватит хлеба до масленицы! — говорит золовка. — А к масленице придешь, и опять работа будет!

И отправили они меня одну домой: никто из них не подумал, как я пойду в такой мороз! Ведь шагать нужно чуть ли не пятьдесят верст, а одета я плохо. Только шаль меня кое-как

и согревала. И тут, как на грех, поднялась метель. Иду я и чувствую, что замерзаю. Ноги точно чужие. И так хочется отдохнуть, так хочется прилечь и согреться в снегу. Но смутно соображаю:

— Нет, нет... Не сдамся!..

Прошла половину дороги. Никого не встречаю и никто меня не нагоняет. Иду и дремлю. Не могу отогнать сна.

Вдруг слышу сзади себя как бы хруст и сопенье... Но головы не могу поворотить. Кричат:

— Тетка, берегись!

Я их не вижу, иду, пошатываюсь из стороны в сторону, как пьяная. Они остановились, кричат мне:

— Лезь, тетка, в короб, подвезем тебя!

— Не залезть мне в короб!

Двое соскочили, посадили меня и поехали быстро. Ветер дует со всех сторон, а в коробу ничего нет. Легла я на дно, меня кидает то на один бок, то на другой. Потом трясти начало. Зуб на зуб не попадает, лицо я уткнула в рукава, и оно оттаяло, и руки грею дыханием, но сама никак не могу согреться. А дорога длинная-длинная.

Наконец доехали до Решот, остановились. Один из путников подошел ко мне:

— Что, тетка, замерзла? Давай вылезай, погрейся! — и помог мне вылезти.

Я посмотрела, где они остановились, — оказалось, у кабака. Страх меня взял, но раздумывать нечего, кое-как зашла и я в кабак. В нем тепло. Мужики ухаживают за мной.

— Давай грейся, еще семь верст ехать!

Целовальнику рассказывают, как подобрали меня на дороге:

— Видим, она уже замерзает, посадили в короб и боимся, как она у нас замерзнет в коробу!..

Целовальник ахает и только головой качает:

— Ну и ну-у! Ну и ну-у!..

Выпили они по стаканчику, посидели и еще выпили. Мне предложили, но я отказалась. Когда мужики согрелись, мы поехали дальше. Я опять в коробу, хотя и холодно, но теперь я уже сидела, и мы скоро доехали до других Решот.

— Тетка, дальше пойдешь или ночуешь здесь?

— Нет, здесь ночевать буду, в ночь согреюсь, а утром уйду.

— Я тебя к себе завезу, за чаем согреешься.

Ночевала, за чай заплатила, а за то, что подвез, мужик ничего не взял.

Домой принесла три рубля. Купили хлеба. А через неделю меня опять посылают к мужу за деньгами, я не иду, говорю:

— Саша мне сказала, чтобы до масленицы не ходить!

А мне:

— Плевать, что она говорит, а раз хлеба нет, надо итти!

От денег я припрятала на всякий случай двадцать копеек. Собралась, пошла опять. Вышла за селенье, по пути мне едут мужики с возами, я попросилась довезти меня до города. Мужики отбрыкиваются:

— У нас воза, куда мы тебя посадим?!

— Я пойду, где разве только под горку — присяду!

Согласились, поехали.

Ночь. Я сижу на возу, а мысли плывут и плывут, сменяются перед глазами картины, одна безрадостнее другой... И вдруг небо впереди осветилось, точно завеса какая раскрылась.

— Господи, прости меня, грешную! — подумала я и закрыла ладонями глаза.

Еще в детстве отец говорил мне:

— Бывают ночи, и открываются небеса. Смотреть нам, грешным, в то время нельзя, грех. Господь творил чудеса, которых мы недостойны видеть. В это время надо у бога просить прощения... Сколько бы ни было у нас грехов, бог все прощает: он открывает райские двери, и наша молитва летит прямо к нему.

Я долго сидела с закрытым лицом, боясь нарушить божие изволение. Так-то вот темнота моя, что темнее ночи, лишила меня возможности увидеть северное сияние! Теперь бы я не закрыла лица!

Доехали до города, я отдала мужикам последние двадцать копеек. Пришла к золовке, та удивилась:

— Почему рано пришла?

— Посылают! — только и могла я сказать в оправдание.

— Мужик твой поступил на работу, но не знаю, долго ли он там удержится. Он ведь ничего не умеет кроме выворотных башмаков.

Меня радует, что, наконец, муж на работе, и печалит, что это не надолго. Я спросила адрес мужа и пошла туда.

МАСТЕРСКАЯ

Муж работал в сапожной мастерской Ширяева, по Тихвинской улице.

Первое, что меня поразило в мастерской, — это ужасная вонь гниющего клея и кислой кожи. В мастерской и днем были сумерки; маленькие и низкие окна вровень с землей заплыли толстым льдом, к тому же было так накурено, что табачный дым плавал, как облако, и разъедал глаза.

Кругом непролазная грязь. Люди сидели вплотную друг к другу, грязные, рваные, хмурые. Волосы нечесаны, вздыблены.

Тут размахивает в обе стороны руками, там, склоня голову к плечу, сосредоточенно стучат молотком по каблуку. В дальнем углу спорят, густо сдабривая слова отборнейшим матом. Некоторые рабочие напевают что-то себе под нос одни мотивы без слов, и порой кажется, что они не поют, а тихо плачут.

В мастерской большая русская печь, когда-то здесь была пекарня или крендельная. На печи спит рабочий. Около

печки на полу остроглазый с рваной ноздрей парень занят какой-то странной работой: он привязал к концу тонкой веревки черную бутылку, продел веревку другим концом в блок у потолка, протянул веревку к печке и привязал ее к штанам человека, что спал на печи.

Потом рабочие начали поочередно дергать веревку. Бутылка качалась под самым носом спящего, и одновременно у него начали сползать штаны. Дернули за веревку несколько раз, и штаны совершенно съехали.

Все еще с закрытыми глазами спящий поднял голову, и бутылка ударила его по лбу. Голова откатнулась назад. Рабочие увидели это и чуть не все подскочили к печке. Поднялся хохот и вычурная матерщина.

— Что?.. Узнаешь бутылку? — кричали они.

— Керосину захотел. Ишь ты, ворюга!

— Сволочь! Напился!..

Я стою на пороге и ничего не понимаю.

— Что, тетка, обомлела? — заметил меня один из рабочих.

— Не твой ли муженек случайно?.. Вот смотри, как мы воров угощаем!..

В это время откуда-то вывернулся мой муж. Я увидела его и уж сказать не могу, как обрадовалась. Он взял меня за руку и вывел в сени.

— Ты давно тут стоишь?

— Давно!..

— Пойдем, нечего тебе здесь смотреть, это у нас чуть ли не каждый день бывает, все воруют друг у друга; кто ворует, тот остается в стороне, а другие, кто помирнее, — попадают. Вот и этот сейчас уличен, будто бутылку керосину уворовал и пропил. А я думаю — враки. На что парню керосин? Он одинокий, квартиры у него нет, спит, где придется. Настоящие-то вору не попадутся — они опытные жулики!

Мы перешли на семейные разговоры.

— Ты сегодня ночуй у Саши, а завтра иди сюда. Сегодня суббота, торопимся работу кончить, заработок получить,

а завтра многие не придут, ты у меня здесь и побудешь. А теперь иди, вот тебе двадцать копеек на хлеб!

Утром я снова пришла в мастерскую.

Рабочих действительно было очень мало. Муж повел меня по мастерской.

— Это наша общая мастерская, — рассказывает он мне. — А вот в этой комнате работают варшавские ботинки. А вот здесь закройная. Закройщики кроят из кожи заготовки и выдают отдельно каждому мастеру...

— Где же ты спишь, неужели в этой грязи? — прервала я его.

— Ничего не поделаешь, зиму перебыюсь, а летом куда-нибудь перейду на другую работу.

Я ночевала в мастерской, а утром ушла с тяжелыми мыслями. Да как же это валяться в такой грязи? Чувствую, что я не должна мужа одного здесь бросить: он мужчина, все время занят работой и не сможет держать себя чисто, обовшшавее да еще и захворает. А там, глядишь, сделается таким же, как и все эти люди, придавленные нищетой, и превратится в вора, в пьяницу.

Пришла к золовке и передала, как умела, о том ужасе, какой мне представился. Даже заплакала.

Саша, слушая мои доводы, задумалась:

— Вот придет Сергей (это ее муж), и мы поговорим, не сможет ли он куда толкнуть его на другую работу! Хотя бы с собой в ломовики!

Утром к нам приходит женщина: ей нужно двух работниц дня на три. Золовка пошла и меня взяла с собой полы мыть и белье стирать. Мы с ней проработали около недели, если не больше, и я с этим заработком вернулась домой.

ПОБОИ

В середине великого поста меня старики опять посылают к мужу за деньгами.

Навязала я узелок белья и ушла в город. Остановилась у золовки. Попили мы с ней чаю, она и говорит:

— Будет тебе дорогу мерить, живи-ка у мужа. У меня своего дела много, да еще ему выстирать надо, починить и хлеб испечь. Он теперь ломовиком работает. Ну, покуда что поживите у нас!

Как я была рада, что муж ушел из той грязной дыры и я теперь буду с ним и без стариков — очень они мне надоели!

Вскоре после этого муж перешел на фабрику Ошуркова в фосфорный цех. Я поступила в прачечную. Зарабатывала по тридцать копеек в день.

К моему великому удивлению я стала замечать, что Саша стала не такой, какой была раньше, что ей хочется посорить меня с мужем.

Однажды я попросила ее сварить нам к вечеру кашу. Вечером муж вернулся с работы раньше меня и съел всю кашу. Я пришла голодная, посмотрела — горшок пустой. Я спросила у золовки:

— Где каша?

— Где же может быть? Муж съел!

Я не сдержалась и сказала:

— Вот какой, мне не оставил!

Я взяла кусок хлеба, налила в чашку кипяченой воды и села есть. Покуда я ела и горшок мыла, золовка ушла спать в амбар. Муж мой был там. Вероятно, она там ему на меня наговорила. Пришла я спать, муж долго молчал, а когда все заснули, сказал мне шопотом:

— Завтра не ходи на работу, а ищи квартиру. Если отсюда не уйдем — всегда этак будет. Да и мне ходить на работу далеко... Сашка учит меня, чтобы тебя бить, говорит мне, что

ты приходишь с работы после меня, что ты в это время бь-
ваешь где-то...

Я заплакала.

— Да чудной ты человек, пойдем когда-нибудь со мной,
и посмотришь, сколько у меня работы. Завтра, если я не вый-
ду на работу, мне откажут!

— Ну и чорт с ней, с этой работой, где-нибудь найдешь
ближе, а завтра ищи квартиру!

С этим мы и уснули. Утром я пошла искать квартиру. На-
шла скоро, наняла лошадь, приехала за своим имуществом.
А имущества — две табуретки, ящик вместо стола, три доски
вместо кровати и посуда на двоих, вот и все. Складываю это
на телегу, золовка увидела:

— Куда это ты направляешься?

— На квартиру!

— А если я не отпущу вас?

— Зачем тебе нас задерживать? — отвечаю я ласково. —
Теперь лето, ну, значит, в амбаре спим, а зима придет — все
равно надо будет уезжать. Сама знаешь, что тесно, а сейчас
попалась квартира подходящая, да и мужу ходить на работу
далеко! — говорю, а сама спешу все сложить. Когда села в те-
легу, внутренне торжествуя, крикнула:

— До свидания, голубушка!

На работе мне отказали. Я занялась стиркой белья. С зо-
ловкой не видалась, но муж к ней иногда захаживал и всякий
раз приходил от нее сумрачный и со мной не разговаривал.

Однажды вернулся он после ночной смены, часов так
в шесть утра. Дома я была одна. Он посмотрел — никого
нет, сходил во двор, закрыл сени, а потом и кухонную дверь
на крюк. Я сидела за столом и мыла посуду. Смотрю на него
и думаю: «Для чего это он закрыл дверь на крюк?» А он,
не спеша, молча подошел к столу, протянул руку через стол
и так же молча с усмешкой схватил меня за волосы и пота-
щил. Я руками ухватилась за стол. Стол опрокинулся. Посуда

скатилась и разбилась вдребезги. Он вытащил меня на середину комнаты и стал бить кулаками, а потом головой об пол. Изранил меня о посудные черепки, а от кулаков из носа и изо рта у меня хлынула кровь. Все на мне изорвал. Наконец устал, бросил меня на полу, задохся. Мне бы только вскочить да убежать, но я не могу пошевелиться. Он отдохнул и снова принялся бить. На мой крик под окна прибежали люди, а попасть к нам не могут — кругом закрыто, даже ворота задвинуты на запор. Тут я потеряла сознание.

И потом, за все время моей жизни, муж не обмолвился ни словом, за что бил. Я и посейчас не знаю, но думаю, что тут не обошлось без подстрекательства золовки. Она ревновала меня к своему мужу, а я этого и не знала.

ФОСФОРНЫЙ ЦЕХ

В фосфорном цехе варили фосфор для спичек. Этот товар шел на спичечную фабрику Логинова и в другие города, где были спичечные фабрики. Цех этот был сложен из дикого камня и стоял далеко от других цехов, позади фабрики. Внутри цеха ничего не было, только стояла большая печь, в которой варился фосфор. Печь была из особого кирпича, а в стенках ее вмазаны немного наклонно глиняные толстые сосуды в виде бутылки: дном в печь, горлом наружу. В эти бутылки закладывали материал, а потом разжигали печь. Когда фосфор кипит, бурлит и варится, из горла бутылей пышет пламя и одновременно выходит вонючий газ.

Летом двери цеха всегда раскрыты, и газ уходит наружу. Какого было работать там, можно себе представить по тому, что к этому цеху никак нельзя было подойти: так разило оттуда вонью!

Спецодеждой были только один запон да еще рукавицы кожаные. Не только около рабочего, но даже около костюма его, где он висит, нельзя было пройти, а ночью костюм огнем светит. Если кто не знает, может подумать, что горит платье.

Производство, конечно, очень вредное: попадет фосфор на тело, так и знай — будет язва. От газа у рабочих дрябли кости, носы проваливались, зубы крошились.

Но кто заболел — уходи, другие найдутся: голодных много.

ГОЛОДНЫЙ ГОД

Наступил голодный 1891 год. Муж все еще работал на фабрике Ошуркова. Летом нас заставили резать торф на задах фабрики. Муж резал, а я носила торф и раскладывала в кучки.

Когда из деревни наехали голодные крестьяне, резку торфа отдали им, а рабочих вернули на фабрику. Я же осталась на торфе.

Хлеб подорожал. Хотя мы оба работали, но нам не хватало даже на пропитание. Приходилось голодать. Начали продавать свои пожитки.

Заработок мужа был пятнадцать рублей в месяц. Я зарабатывала на торфе сначала тридцать копеек в день, потом двадцать пять. Наконец работа прекратилась совсем. Женщины шли работать бесплатно, только бы их кормили.

В городе начался тиф. На многих домах появились страшные надписи: «Тиф — вход воспрещается».

Крестьяне двигались из города в город в надежде найти работу. Но многие фабрики и заводы под разными предлогами прекратили работы. Перед рождеством и Ошурков закрыл свою фабрику «на ремонт».

Муж оказался без работы.

Хозяйка квартиры, где мы жили, принесла мне работу — вязать чулки. Я вязала неделю и получила двадцать пять копеек.

Мы с мужем тянулись кое-как: что было бы с нами дальше, неизвестно, но вот прибегает к нам золовка со слезами на глазах.

— Собирайтесь домой, — говорит она, — сегодня же в ночь поедем. Мама умерла, отец велел вам приезжать, один он остался.

Сборы были недолгие. Собрать было нечего, все продано.

Приехали, похоронили мать, надо браться за работу, а работы нет.

Свекор ругается:

— Где мне вас одному прокормить?.. Слезайте с моей шеи!..

Мужу надоело слушать ежедневные укоры и попреки от отца.

— Пойду искать работы! — заявил он мне.

Утром пошел и не вернулся.

Я тоже собралась уйти из дома, но свекор не отпускает: кто будет хозяйство вести?

Так и жила в слезах, в страхе и впроголодь.

Недалеко от нас жила женщина; зная мое положение, она предложила пойти к попу в прислуги. Я согласилась. Поп был вдовый, но еще не старый. Хозяйство его вела мать-старуха, крепкая и юркая.

Всю пасху поп ездил с иконами. После пасхи почти все время сидел дома. Как-то раз старуха принесла мясо и заказала мне приготовить пельмени. Я радуюсь: вот когда наемся досыта. Начала варить пельмени. Как только пельмени сварятся, старуха забирает их и уносит наверх, к попу. Дом был двухэтажный. Так все пельмени она туда и стаскала. С последней тарелкой посылает меня:

— Иди к отцу, там и поешь!..

— Зачем я туда пойду? Я здесь поем!

Мужчин я вообще боялась, а тем более попа! Я почитала его, как же я буду за одним столом с попом есть? А сама чуть не плачу, так пельменей хочется.

Управившись с работой, стою у печки, мою посуду, старуха куда-то ушла. Вдруг неслышно в кухне появляется поп. Подходит ко мне и хватается за грудь.

Я от него убежала, а он за мной по кухне, толстый, неповоротливый. Сколько раз я увертывалась от него. Однако вижу — дело плохо, поймают он меня. А старуха как в воду канула. Подле печи была кладовка, в которой я спала, я юркнула в нее и закрыла дверь на задвижку.

— Я ничего тебе не сделаю, выйди! — уговаривает за дверью поп.

Я сижу, молчу и трясусь, как в лихорадке. Слышу — ушел.

Вечером старуха мне говорит:

— Ты иди кверху, там лучше, и поп боится один спать.

— Мне и здесь хорошо!

Залезла я в свою конурку и легла на кровать, предварительно закрыв плотно двери.

Утром, когда старуха мне принесла на кухню сухую краюху хлеба, я окончательно вскипела. Схватила краюшку и бросила в старуху.

— На, сама жри, а я не собака! — взяла свой узелок и хлопнула дверью.

Так зародилось во мне неверие в церковь. От попа ушла к отцу. Та женщина, которая меня послала к попу, узнала, что я сбежала с работы, и пришла к нам.

— Что, не понравилось у попа? — спросила она.

— Нет, не понравилось!

— Поезжай в город к Грудиным, им надо кухарку.

— Как же я поеду в город, Маремьяна Даниловна, у меня нет паспорта?!

— И не нужно. Я напишу им записку, они знают, что я пошла им надежную прислугу.

Я согласилась и уехала в Екатеринбург.

Грудины жили в Верхисетском заводе.

Прослужила я у них три месяца. Как жила и работала — об этом стоит ли рассказывать! Жила, как живут все прислуги. Но даже и эта жизнь у Грудиных показалась мне раем в сравнении с тем, что я перенесла у попа и свекра.

ОПЯТЬ ДОМА

Муж вернулся домой и потребовал, чтобы я ехала к нему. Если же я послушаюсь его приказа, то он обещал доставить меня по этапу, как беглую. Знал он, что я живу у Грудиных без паспорта.

Явилась домой со страхом — что-то будет? Однако все сошло благополучно. Оба они были рады моему приезду, но только не подавали вида.

Сделали ревизию, что я заработала. А я принесла три плаття, большой головной платок, на ногах у меня были новые ботинки, а в узелке — два рубля денег.

Деньги у меня немедленно отняли.

Дома я застала беспорядки. Всюду запущено, грязь. На старике и на муже рубашки грязные, рваные. Есть нечего.

Пришлось мне браться за дело с первой же минуты. Побежала к соседке, выпросила вилок капусты, старик сходил и купил четверть фунта масла, муж где-то занял муки.

Когда сели за стол, старик чуть не заплакал от радости — давно он не ел горячей пищи.

На другой день я затопила баню, выстирала им по паре белья, вымыла в избе. Напекла лепешек, на стол постлала чистую скатерть, чайную посуду перемыла с солью: на ней было столько грязи, что едва отмыла. Собрала на стол.

Старик открыл дверь в избу, стал у порога, изумился. Видит — все чисто, боится даже встать ногой на пол, чтобы

не запачкать, снял у порога сапоги. Я знаю, что он в бане прогрелся, живо достала с печи его пимы, выколотила из них пыль и подала старику.

— Надень пимы, а то ноги простынут после бани, — и подала чистое полотенце.

Он подошел к столу, увидел чайник на самоваре и спросил:

— А чего заварила?

— Чай! — говорю ему и усмехаюсь, а сахар я умышленно не поставила.

— А где взяла чай?

— Садитесь и пейте, где бы я его ни взяла.

Они сели. Я налила им по стакану.

— Вот только сахарку-то нет, — рассуждает старик.

Я принесла сахар, поставила на стол:

— Пейте на здоровье, только не деритесь.

Старик обомлел:

— Да где ты все это взяла?

— Из города принесла.

Старик опять чуть не заплакал.

Но все эти довольства и радости продолжались недолго, скоро стали они забываться, и жизнь понемногу входила в свою старую, наезженную колею. Муж опять принялся за починку обуви, а для свекра это позор, не пускает он сына в избу.

С таким-то срамом да в избу? Ну тебя к чорту и с твоей работой!

Как тут быть? Пришлось мужу устраиваться во дворе. Сделал он себе столик, кадушку обтянул облезлой овчиной — вышла седулька, колодок выпросил у тетки и начал сапожничать.

Двор у нас был крытый наглухо, только для лета было оставлено окно. К зиме и оно закрывалось, и во дворе было темно — снег в него не попадал. Пол был настлан деревянный, гладкий. Скота у нас не было, так что во дворе я пол мыла. Работать там можно было даже и в ненастье.

В октябре стало холодно мужу работать во дворе, а в избу старик никак не пускает.

Муж решил прорезать в амбаре окно и сложить маленький очаг. Нашел плотника и принялся за работу. Отец увидел, поднял скандал, гонит плотника, а муж не пускает. Долго они цапались. Наконец старик со зла вбежал в избу и накинулся на меня:

— Вы что делаете с моим домом?

Я тихо ответила:

— Тятенька, ничего я не знаю.

— Ты все ничего не знаешь! А, небось, твоя это выдумка! Шибко умна стала!

Схватил он шабалу и ударил меня. Я выскочила во двор, он за мной, я на улицу и не знаю, куда бежать. К мужу? От него защита плохая. Стою среди улицы. Плотник увидел, что отец выскочил за мной, и передал об этом мужу. Тот кричит мне:

— Иди сюда, здесь он не посмеет!

Я пришла в амбар, села и плачу.

— Не ходи в избу, — уговаривает меня муж. — Пусть он там сидит один. Здесь ночуем, здесь и жить будем! Он забыл, как жил один, вот мы ему и напомним!

Так неожиданно для себя приобрели мы свой угол. Старик ходит злой, не знает, чем нам напакостить. Придет к сыну в амбар и ворчит на него. Муж мне жалуется:

— Загрыз меня совсем!

Один раз я вышла на крыльцо, слышу, в амбаре шум. Муж кричит:

— Здесь не твое дело распоряжаться, иди в свою избу и там распоряжайся!

И с этими словами открыл дверь и вытолкнул старика во двор. Тот вылетел — руки в сторону, долетел таким христосиком до крыльца, ухватился за перила и очумело посмотрел на дверь, откуда вылетел. Потом повернул ко мне голову и потряс бородашкой:

— Вот как твой муженек со мной расправился!

Мне было смешно глядеть, как он летел и как посмотрел на дверь. Я закусила губу, чтобы не засмеяться, и ушла в избу. После этого случая старик долго к нам в амбар не заглядывал, но злобу на меня затаил большую.

Как у нас появилась лошадь — не помню. Кажется, ее купил муж.

Однажды, закончив работу в людях, — я в ту пору ходила по домам стирать белье, — я пришла домой, открыла ворота — вижу: по двору мрачно ходит старик. Увидев меня, он с укоришной сказал:

— Вот смотри, лошадушка кожей вас подарила, отработал муженек на лошадушке-то!

Смотрю, висит на заборе свежая кожа, но при чем тут я — не понимаю.

— Ноженьку лошадь сломала... — продолжал старик. — У хорошего хозяина всегда так делается!

Я вошла в избу. Муж сидит, починая валенки. Я села около него на лавку.

— Как у тебя лошадь ногу сломала?

Вместо ответа муж бросил в меня брусок. Брусок попал мне в колено.

— Что ты делаешь? Больно!

Он вскочил со скамьи, схватил меня за волосы. Бил долго, злобно. Когда устал, бросил. Я села на пол, плачу. Это еще больше его взбесило. Он начал бить меня головой об пол.

Таскал меня, пока все на мне не изорвал; осталась я в одной рубашке, да и та разорвана от подола до ворота... Долго я лежала так.

Наконец сознание вернулось ко мне. Я тихонько на коленках доползла до двери, вышла во двор, тихо открыла ворота и пустилась по улице босая, в разорванной рубашке.

Ночь. Мороз. Ветер. Сколько было времени — не знаю. Огней уже нигде не было. В голове мелькнула мысль — бежать к старшине. Прибежала. У них не видно в доме огня. Если стучать, выскочат собаки, разорвут!

Куда деваться? Ночь. К отцу далеко. А ветер так и завывает. Кое-как дошла до соседки, постучала. Она глянула в окно, но узнать меня не может:

— Да кто ты?

— Я, Афанасьевна, пусти, замерзаю!

Она засветила огонь:

— Батюшки! Что это с тобой?!

Вошла я в избу. Вижу — окна не закрыты. Муж может меня увидеть. И залезла я под лавку. Рубашка растаяла, стала мокрой.

Соседка сделала постель на полу, одела меня, я согрелась и уснула.

Утром я ушла к отцу. Он потащил меня к доктору. А доктора тогда на синяки и ссадины не обращали никакого внимания, это считалось обычным делом. Доктор написал мне какой-то рецепт, и все.

Я прожила у отца две недели. Наконец отец повел меня в волость. Вызвали мужа. Пришел и старик. В волости спросили моего отца, в чем дело.

— Я и сам хорошенько не знаю, — ответил отец. — Кормлю ее уже две недели.

Спросили меня, почему я ушла от мужа. Я рассказала все, что было.

— Тебе-то как не стыдно, старик?! — начал говорить один из выборных. — Что у тебя в доме непорядок, нам давно уже известно. В твоём доме всегда скандалы. А если бы он убил ее? Ответ с тебя бы спросили.

Муж сидит, пыхтит. Я плачу.

Старик вышел на середину и говорит притворно своему сыну:

— Сейчас ее возьми домой, а если ты еще пошевелишь ее хоть пальцем, я сам тебя приведу сюда. Докуда ты будешь срамить мою голову?

— Смотри, с тебя спросим! — пригрозили еще раз выборные старику.

Мы ушли домой.

С этих пор больших побоев от мужа я не видела, но точил он меня, как червь, ежеминутно. Старик же как-то наскочил на меня во дворе, ударил доской и отшиб мне руку.

КОРОНОВАНИЕ НИКОЛАЯ

В то дикое время, живя на заводе, мы не знали, что существуют на свете газеты. Не знали мы и того, что где делается.

Вечером, не помню какого месяца и дня, пришел наш старик домой и говорит:

— Чего-то опять бегают «Студено варезка» — прозвище сотского, — размахивает руками, наряжает мужиков на сходку. Строго, чтобы все мужики явились, кто не явится — штраф!

Утром рано в окно раздался стук:

— На сходку!

К восьми часам вся заводская площадь была заполнена мужиками. Шум, галдеж. Вышло начальство. Сотский командовал: «Шапки долой». И стали читать манифест о коронации Николая II.*

Мужики долго галдели по поводу этого коронавания. Чего-то требовали. Какими-то своими же мужиками были недовольны, называли их подтоварщиками. Но как ни галдели, а присягу приняли, а после присяги стали еще злее.

На середине пруда был выведен полубарак, на котором устроено огненное крутящееся колесо. Из колеса сыпались во все стороны искры, вылетали разноцветные огни. На берегу за огородами были поставлены пушки. У пушек стояли сотские и не пускали на берег ни конных, ни пеших.

Фейерверк был всем в диковину.

* 14 мая 1896 г.

— Ай-ай, смотрите-ка, шарик полетел на огненной веревке. Ух, как высоко!

— Смотрите-ка, сколько из него посыпалось пузырьков-то!

— Чё же это, батюшки! Какая премудрость!

Когда стреляли из пушек, многие женщины кричали, затыкали пальцами уши, некоторые даже падали на землю.

Празднество кончилось рано. Ни пения, ни криков «ура», ничего не было. Только купцы да богатенькие мужички встречали нового царя радостно.

Когда мы пришли с гулянья домой, старик сказал:

— Ну и от этого царя будет мало толку. Это будет горе-Николай! Похуже Николая первого!

Я спросила:

— Почему, тятенька?

— А вот поживете — увидите. Когда придется вам от него плакать, вспомните меня!

Слова эти мне врезались в память, хотя я тогда ни в чем еще не разбиралась толком.

СОВЕСТЬ

Я все думала, да что же это такое? Почему мы грыземся, как звери? Как это сделать так, чтобы всем пожить в покое? Вот взять хотя бы старика. Разве ему хорошо? Разве я не вижу, как он вздыхает, чего-то ему не хватает, что-то с ним неладно. Ну как заговорить об этом? А муж? Разве он спокоен, доволен жизнью? Нет, не спокоен, оттого и лезет на меня с кулаками! А про себя уж и говорить нечего! Думала я, думала и решила сделать пробу: поговорить с моими мужиками по душам. Выбрала я для этого какой-то большой праздник.

Испекла три пирога с грибами и ягодами. Старик был у обедни. До его прихода я собрала стол, оделась в чистое, что

у меня нашлось, мужа тоже одела в чистое, сидим, ждем старика. Пришел старик, удивился:

— Чего это ты так расщедрилась?

— Ну как же иначе, сегодня ведь праздник. Вот ждала тебя из церкви, чтобы праздник встретить, как у людей.

Старик только вздохнул и стал молиться на икону.

Сели за стол. Чинно, тихо. Принесла я пирог, щи. А пирог удался на славу — пальчики оближешь. Плотно закусили, потом принялись за чай.

— Вот всегда бы так!.. — сказал старик, окончив еду.

— Вот что, — ответила я, набравшись смелости. — Хочу я просить вас... давайте поговорим по-хорошему, по душам! Не век же нам ссориться...

Наступило молчание. Старик опустил голову.

— Ах ты, господи, — начал он, — да разве я против? Ты думаешь, мне легко? Один я, как барсук в норе, вы от меня прячетесь. Люди меня избегают. Ну и, понятно, взбешусь иной раз, сердце-то ведь не каменное... А вы не покидайте меня одного-то... Уж немного мне осталось пожить... — старик отвернулся к окну, чтобы скрыть слезы.

— Ну, а ты как? — обратилась я к мужу.

— Да что и говорить. От такой жизни я дураком делаюсь.

— Эх-х, вы-ы! — не вытерпела я. — А мне-то как больно за вас!.. День и ночь только и думаю, как бы исправить нашу жизнь. А не выходит. Все вам неладно... Сердце у меня ржавеет! Слова доброго от вас не слыхала, а ведь я молодая, сердце ждет хорошего слова! Вся моя награда в этом... А вы держите меня в страхе да в побоях...

— Слушай... Не надо... — прервал меня старик. — И так душа наболела... Довольно тешить людей... Бросим все и поживем, как люди!

Он встал. Схватил в кулак бороду, а рука, вижу, вздрагивает.

Я тут совсем разжалобилась, повалилась старику в ноги и заплакала:

— Тятенька, не измени в своем слове!..

Он развел руками, подымает меня. Слышу, дрожит его голос.

— Ну-ну, не плачь!.. Не плачь!.. — проговорил он и быстро вышел из избы.

— Ну и хитрая же ты, — сказал мне муж, — захотела добить нас до слез и добила!

Я смолчала, а про себя подумала: «Я хитра, а ты дурак!»

С этого памятного дня старик во мне души не чаял, а сына почему-то еще больше не взлюбил.

Однажды старик позвал меня и говорит:

— Муженек-то твой просит духовную на дом, а я ему не дам. Я тебе дам!

Что мне было делать? Жизнь научила, что делать, — научила хитрости. Я опять бух ему в ноги:

— Спасибо, тятенька, на добром слове!

Через неделю пришел писарь писать духовную, спросил:

— На кого писать?

Старик подумал и говорит:

— На нее писать!..

Пришли соседи, свидетели. Приступили к составлению завещания.

— Ну, на кого же писать?

Старик стоит на своем:

— Ей даю духовную, она заслужила. Сыну не дам!

Соседи стали упрашивать:

— Да ведь они же вместе живут!.. Ну хотя бы имя-то поставь в духовной мужское.

— Ну ладно, но только помните, свидетели, не забывайте, что все отдаю ей, хотя духовная и написана на его имя.

ЖИВОТНЫЕ

Жили мы, как бобыли, ничего у нас не было — ни коровенки, ни лошаденки. Вот мы и решили купить корову. Начали копить деньги. Много прошло голодных месяцев, покуда накопили мы двадцать рублей.

Свекор и муж собрались в город за коровой. Я жду их и волнуясь.

Вечером привели краснопеструю корову ростом с телку.

— Сколько же она молока дает? — посмеивались, глядя на нашу покупку, соседи.

— За раз полкринки! — сказал кто-то, и все засмеялись.

Весной корова принесла нам телочку — с варешку. Но я и этому обрадовалась:

— Я ее кормить буду!

— Да куда же ее, такую?! Больно уж мала да неказиста!

— Нет уж, что ни говорите, а я сама кормить буду! — затвердила я.

Отняла телку от матери и начала кормить. Растет моя телка в неделю по вершку. Прошло шесть недель, и у телки появились вши. Надо их вывести, а как?

Кто-то научил мужа намазать телку лекарством.

— Да какое лекарство-то? — спрашиваю я.

— Советовали, — говорит муж, — взять керосин, деготь и нюхательный табак, смешать все это и вымазать... Как рукой снимет!

— Вот хорошо, что нашлись добрые люди, посоветовали!..

— Только мужик говорил, — предупреждает муж, — голой рукой не мазать, — руку сожгешь!

— А ты кисточку из мочала сделай!

Притащили телку в предбанник и давай мазать. Она у нас бьется, а мы держим и мажем. Потом пустили ее в огород, а огород был еще не вскопан. Телка вырвалась от нас, хвост кверху и пустилась бежать. Ох, и бегают, ох, и бегают она по огороду что есть силы. Добежит до конца, заворотится

и опять скачет... А мы стоим, два умника, у бани, руками хлопаем, хохочем. Вот, думаем, телка разыгралась!

Соседки стоят в сторонке и тоже смеются:

— Ха-ха-ха! Го-го-го!

А мы и не знаем, что они над нами смеются.

Через два дня после этого не только вши у телки пропали, но и ни волоска не осталось на ней, одна только кожа! Телку пришлось приколоть.

Этот урок дал мне очень много. С тех пор я стала внимательно и бережно относиться к животным.

У нас не было лошади, купить взрослую нам было не под силу, купили мы жеребеночка. Стала я его кормить и назвала Афонькой. Выйду, бывало, во двор, вижу, он ходит, точно ищет что-то. Я спрашиваю:

— Что, Афонька, есть хочешь или пить?

Он поворачивается ко мне и отвечает тихонько так:

— Хо-хо-хо!

И подходит к яслям или к колоде, тем самым показывая мне, чего он хочет.

Если он захочет полакомиться хлебом, подходит ко мне.

— Что, Афонька, хлеба надо?

Он зажмурится, а ресницы были длинные-длинные, и опять тихонько ржет:

— Хо-хо-хо!

— Ах, ты, дурачок! — смеюсь я над ним.

Вынесу ему кусок хлеба. Он возьмет его губами и головой мотнет, как бы благодарит меня, а мордой трется о мое плечо. Потом, не торопясь, начинает жевать, а сам все время кланяется.

Вывормила его я сильным, красивым, но с норовом. Не слушался он никого кроме меня; кто ни подойдет к нему — всех кусает. Мужу это не понравилось, продал он Афоньку, а потом каялся. Как-то увидел он: идет Афонька с возом свободно, точно налегке, голову вверх поднял.

Муж спросил:

— Сколько на него наложено?

— Пятьдесят пудов! — был ответ, и хозяин добавил: — Это у нас лошадь ценная, сильная.

После Афоньки купил муж вороного жеребенка и сказал:

— Ну, теперь я кормить буду!

Стал он его кормить овсом, и вырос жеребенок дикарь-дикарем. Летом отдали его в табун, и с овса жеребенок перешел на одну траву. И схватила его от этого болезнь — молосник. К страде пригнали табун с поля. Я ищу по табуну своего дикаря, думаю: «Наверное, он теперь уже большой». И вдруг вижу: стоит он, как был маленький, так и остался, и притом чуть жив. Привела я его домой, очистила ему морду, покормила.

Какой-то дурачок научил мужа лечить жеребенка дымом. Муж ничего мне не сказал, зажег лапоть и запер жеребенка в конюшню. Вечером я спрашиваю:

— Где жеребенок?

— В конюшне!

Открыла я конюшню и ужаснулась: конюшня полна дыма, даже жеребенка не видно. Вывела я его скорее на двор, кричу мужу:

— Что ты наделал, ты же ведь уморил жеребенка!

И только я успела это сказать, как жеребенок упал и больше уже не встал. Вскоре он издох.

Рос у меня баран и больше всего был около рук, дома. К мужу раз пришел сосед. Стоят они, разговаривают в воротах. Муж прислонился к верее, а сосед стоит в самых воротах, загородил выход. Смотрю я, баран вышел на середину двора, головой трясет, то назад пятится, то пойдет вперед и остановится.

Я догадалась, в чем дело, но молчу, — на этого соседа я была сердита, думаю: «Пусть баран его утешит!»

Надоело барану ждать, разбежался он да с разбегу как даст головой мужику в живот! Брякнулся мужик на спину, а баран через него — и был таков, убежал!

Мужик, кряхтя, встал и не знает, кто его сшиб, спрашивает мужа:

— Кто это меня сшиб?

Муж слова выговорить не может, хохочет. А я отвечаю:

— Это баран тебя сшиб! Чтобы дорогу не застил!

Мужик ругается:

— Чорт вас знает, все у вас какое-то особенное! Лошади по-людски разговаривают, а бараны на людей бросаются!

Долго мы смеялись потом над тем, как мужик полетел от барана.

КАК Я НАЧАЛА ПИСАТЬ

Теперь и вспомнить трудно, с какого года я начала писать, — кажется, вскоре после смерти старика-свекра.

Писала я, правда, и раньше, но относилась к своей работе невнимательно: напишу на бумажке, прочитаю, да и потеряю. А потом я приобрела тетрадь. Заполню ее и покупаю новую.

Что же заставило меня писать? Я думаю, две причины.

Первая причина — моя неудачная жизнь толкала меня на самоубийство. И вот я решила записать все мои мученья, чтобы нашли люди после моей смерти мои тетради и узнали причину, заставившую меня покончить с собой.

Вторая причина — это злоба и ужас перед несправедливостью жизни, гнев за угнетение женщины из-за ее бесправия, жалость к бедным и ненависть к тугому кошельку. Обо всем этом я писала, хотя и неумело, плохими литературными словами, но с жаром и горечью. Злобно высмеивала я своих врагов и обличала несправедливость. Толку, конечно, от этого писания было мало, но меня это как бы утешало. О том, чтобы печатать, я и не думала. Напишу о ком-нибудь и прочитаю

мужу. Посмеемся оба, на том дело и кончается. Муж знал про мои тетради, но притеснений мне за это не было ни от мужа, ни от старика: они даже гордились, что я у них такая грамотная.

И, в-третьих, — но это уже не причина, — посмотрела я однажды на свои тетради, сложила их вместе и мне понравилось, что они похожи на книжку. И тогда впервые появилась приятная и до сладости страшная мысль: «А что, если все это напечатать в всамделишной книжке... и чтобы люди ее прочитали?!» От этой мысли у меня голова даже закружилась, и я еще с большим рвением принялась за свои писания. Написала я также стихи про случившийся у нас в господском доме пожар во время спектакля.

Боже мой, до чего они были корявые, эти стихи, нескладные, но для меня они были дороже всего на свете!

Сегодня он роль отца играет,
Его папой называют...
Вдруг шум такой поднялся,
Хоть святых вон выноси...
Старшина наш испугался,
Во все комнаты кидался,
Второпях кричит: «Воды!
Ах, наделал я беды!..»
Забыл снять маску и парик,
На всех парусах летит...
До кокушихиной лавки
Бежит он без оглядки...
Холщовые портянки развились,
По дороге змейкой вились
За ногами старшины,
Что в лаптях украшены.

Кроме стихов я написала на церковно-славянском языке пьесу из старообрядческой жизни, где, как уж могла, я старалась показать судьбу девушки, которую хотят насильно выдать замуж за родного брата.

Когда я писала, были такие минуты, что от слез я не видела пера, не видела, что пишу. Я читала много старообрядческих стихов и поэтому написала свою пьесу стилем, усвоенным мною с детства, да притом мне показалось, что пьеса обязательно должна писаться славянским языком, а не просто разговорным, который, по моему мнению, не годился для такой серьезной темы. После этой пьесы я начала систематически заносить в тетрадку все интересные случаи жизни.

И только с 1902 по 1916 год я ничего не писала. Далее я расскажу, почему это так случилось.

А теперь вернусь к своей жизни.

ПОСЛЕ СМЕРТИ СВЕКРА

После смерти старика год мы с мужем жили хорошо, хотя денег у нас не было. Про старика говорили, что у него много было денег. Когда он умер, мы вскрыли его сундучок и нашли на дне сундучка двадцать четыре рубля, приготовленных на похороны.

Муж познакомился с мелкими кожевниками и стал брать у них кожу в кредит. Изработает кожу, рассчитается с долгами и снова берет в кредит, так что без долгу за восемь лет после старика дня не бывало, но все-таки мы купили корову, жеребеночка и трех овец. Но чем более поправлялись наши дела, тем хуже становилась моя жизнь. Я занималась всем, что только попадет под руку: ходила в люди, дома шила платья, одежду, помогала мужу да еще домом правила. Заработок мой весь уходил на еду. Муж стал до смешного скупым: ни чаю, ни сахару, ни дрожжей никогда не покупал. Попрошу у него две копейки на дрожжи — ни за что не даст: где хочешь дрожжи бери, а хлеб изготвь. Опять стал он меня бить.

К каждому слову придирался! И сколько было у него инструментов, все на мне перепробовал: что у него в руках, то в меня и летит. Я пряталась от него в конюшню. Как-то раз трое суток прожила у овец. День прячусь в сене, а на ночь разгребу у овец подстилку, лягу, а овцы подле меня ложатся и греют меня. Напоследок дошло до того, что свежий хлеб запирали от меня на замок, а мне давали только черствый.

Меня могут спросить: за что же он все-таки так притеснял тебя?

На этот вопрос я не знаю, что ответить. Я ему несколько раз говорила:

— Давай добром разойдемся! Я согласна вину на себя принять. Тебе дадут разводную, и ты будешь свободен, а мне уж как придется, так и буду жить!

Но он ни за что не соглашался:

— Если бы я тебя не любил, давно бы выгнал!

— Да помилуй, какая же это любовь?

Теперь-то я понимаю, что это была не любовь, а простой расчет: если бы он взял чужого человека, его нельзя было бы так эксплуатировать, как он эксплуатировал меня, да и издеваться бы он над собой не позволил. А я все терпела и работала, как лошадь.

ПЕРЕПИСКА

Как я уже говорила, за чтение и письмо притеснений мне ни от мужа, ни от свекра не было, и я хваталась за всякую письменную работу, чтобы этим поправить свои дела.

В то тяжелое бесправное время женщина готова была идти к самому чорту в лапы, лишь бы смягчить свое положение, лишь бы утихомирить буйного мужа, лишь бы он прекратил истязания. Женщины молились богу, ждали от него

помощи, а если бог не помогал, то шли к ворожеям, к колдуньям, которые пользовались их невежеством, рвали с них, сколько хотели, продавая за высокую цену разные наговоры, привороты, молитвы...

Покупали они эти безграмотные бумажки и никак не могли разобрать, что там написано. И вот как-то они узнали, что почерк мой легко читать и что я дешево переписываю. И пошли ко мне несчастные со своими наговорами. А ведь я и сама недалеко ушла от них, я и сама в ту пору верила в эту чертовщину.

За переписку я брала 10–15 копеек. Наговоры и привороты бывали разные: маленькие — в одну страницу писчего листа и побольше — в два листа, а бывали даже в четыре листа.

Вот один из них — любопытный:

Стану я, раба божия (имя), не благословясь, не перекрестясь, пойду из двери в двери, из ворот в ворота в чистое поле, широкое раздолье, на киян-море. На кияне-море есть остров, на острове стоит престол, сидит мать пресвятая богородица; она правит четырьмя девицами, четырьмя зверицами: восточной, западной, южной, и северной. В руках у них каленые стрелы, они стреляют и мечут в дубья зеленые, в ракитовы кусты. Я, раба божия (имя), подойду поближе, поклонюсь пониже: «Матушка пресвятая богородица, скажи своим девицам, своим зверицам, не стреляли бы они в дубья зеленые, в ракитовы кусты, а стреляли бы в раба божия (имя), в его ретивое сердце, в белое тело, в горячую кровь, в печень, в легкие, в семьдесят семь жил, семьдесят семь суставов, где вы его найдете — спящего или неспящего, ходящего или сидящего, с добрыми людьми прохлаждающегося — вложите ему в сердце тоску и кручину обо мне, рабе божией (имя). Ел бы он — не заедал, пил — не запивал, гулял — не загуливал, все бы меня, рабу божью, на уме на разуме держал. Запру свои слова на двенадцать замков, на двенадцать ключей. Будьте, мои слова, крепки и лепки: крепче камня, крепче булата. Губы мои — замок, язык — ключ. Губы замком запру, ключ в воду брошу. Аминь!»

Этот наговор пускался по ветру на улице или в трубу. Бывали наговоры и на пищу, которой кормили того, на кого хотели наговорить. А вот лечебный наговор от «дурного глаза».

Больного вели в баню, парили вениками и приговаривали:

Пар на пар! Тело бумажно у раба божия (имя, кого парят). Не я тебя парю, не я тебя правлю — парит-правит бабушка Соломонида своими белыми руками; отпахивает, отмахивает худобу-худобушу от писку, от виску, от всех уроков-переполюхов, от девки-пустоволоски, от бабы-самокрутки, от беззубова-троезубова, от встречного-поперечного. Шла бабушка Соломонида из заморья, несла кузов здоровья, так бы у раба божия (имя) тело бело не болело, никакие уроки и призоры не прилипали. Бабушка Соломонида шла на киян-море, унесла все уроки и призоры. На кияне-море лежит камень Алатырь, под этим камнем лежит белая рыба-щука, поедят, пожирят желты пески, белы камни, так бы поела, пожрала все уроки, все призоры у раба божия (имя). Аминь!

СОБАКА

Управляющий заводом В. С. Новиков умер от разрыва сердца. Среди заводских рабочих о Новикове ходили разные слухи, но все, однако, признавали, что Новиков несколько улучшил положение рабочих. До него рабочие никогда не видели денег. Вместо денег выпущены были какие-то боны. Эти боны имели ценность только в пределах завода, за заводскими же воротами это были никчемные, никому не нужные бумажки, даже заводские лавки их не принимали.

Но даже и эти боны рабочие получали не полностью; каждому из них контора была должна за три-четыре месяца.

Такие порядки вызывали недовольство, и если бы дальше так протянулось, бунт был бы неизбежен. Как раз в это время

на заводе появился Новиков, и первым его делом было уничтожение бон. Рабочие стали получать заработок наличными деньгами.

Женщины не помнили себя от радости, бежали на рынок и передавали одна другой:

— Ой, девонька, сегодня деньгами рассчитали!.. Теперь можно и в город съездить за покупками!

В 1897 году в праздник благовещения в городском доме поставили спектакль.

В самый разгар спектакля вспыхнул пожар, и сгорела большая часть главного фасада.

Большинство рабочих на заводе были старообрядцы. После пожара они злорадствовали:

— А-а-а! Это бог наказал!.. Шутка ли, в такой великий праздник бесовские игры выдумали! В этот день птица гнезда не вьет, красна девица косы не плетет!..

На Новикова пожар так сильно подействовал, что он умер.

Вскоре приехал новый управляющий. Он сразу же не понравился рабочим: очень уж свирепого вида был человек. Никто никогда не слышал от него ласкового слова. Даже с мастером цеха он говорил через плечо. Любил он только свою собаку, и всегда его можно было видеть только с ней.

Управляющий ходит, осматривает цехи, а собака бежит за ним и высматривает, что бы такое натворить, кому бы сделать пакость. Больше всего доставалось от нее рабочим воздухоудного цеха: то хлеб у кого-нибудь из них утащит, то в цехе нагадит. Где бы она ни бегала, а гадить почему-то приходила именно в эти места. Управляющий, как только увидит, что собака опорожняется, постоит, обождет, потом подзывает мастера и, стоя к нему боком, через плечо призывает:

— Пошли мальчишку убраться, да пусть поглубже зароет!

В воздухоудном цехе работал подросток Федька Шевелев, на его долю всегда выпадала обязанность убирать за собакой.

Рабочие скрежетали зубами от злобы на собаку, но расправиться с ней — выгнать или избить ее — боялись! Особенно же зол был на нее Федька, он только и думал о том, как бы отвадить собаку от цеха. Думал-думал и придумал!

Однажды, как и всегда, собака явилась в цех со своим хозяином и принялась за свои пакости: стащила хлеб и нагадила. Федьке, как всегда, пришлось после нее убирать. Улучив момент, когда управляющий куда-то отвернулся, Федька быстро обмакнул мазилку в кислоту и ткнул собаке под хвост. Собака взвизгнула, села на зад и в таком виде поехала к выходной будке. А по дороге всюду валялся мусор: железные опилки, шлак и сор от чугуна. Все это было острое, режущее, и собака искромсала себе весь зад. Потом ее долго лечили. Искали виновника, допрашивали, но разве найдешь среди рабочих виновника? Многие из рабочих видели федькину проделку, но никто его не выдал. Если бы выдали, то Федьке была бы тюрьма. После этого случая, как только управляющий подходил к воздухоудвному цеху, собака во всю мочь бежала домой.

часть вторая

ПЕРЕМЕНА ЖИЗНИ

СМЕРТЬ МУЖА

В 1902 году на нашем заводе свирепствовала эпидемия тифа. Смерть косила всех без разбора. В середине июня муж заболел тифом и умер.

После мужа я тоже заболела тифом. Лежала в постели совершенно одна. Приходили ко мне только должники мужа, чтобы утащить что-нибудь из дома.

Когда я встала с постели, посмотрела вокруг — в избе было пусто. Все растащено. Даже лошадь кто-то увел со двора.

И осталась мне в наследство одна корова, да и та хромая. Остались еще овцы, но их пришлось вскоре продать.

Пока я болела, отец мой под предлогом, что я должна скоро умереть, добивался в волости, чтобы объявили его опекуном всего моего имущества.

Когда я немного оправилась, ко мне зашел староста:

— У тебя, Гавриловна, есть долгу сто рублей. Ты уплати! Слышишь?

— Ладно!

Я еще что-то продала и деньги передала старосте. Вот я и осталась ни с чем. В доме я жила до осени, а потом и дом отобрали за долги. Не буду всего описывать, не хочется даже и вспоминать, как принялись люди рвать мое имущество со всех сторон. В конце концов я махнула на все рукой и, захватив с собой хромую корову, уехала в город. Что осталось у меня из имущества непроданным, отец все до мелочи забрал к себе. Мачеха в свою очередь вытаскала все, что получила, из моего сундука и в том числе мою рукопись. Когда я спросила у мачехи:

— А где моя писанная тетрадь?

Она злорадно ответила:

— В печке сожгла.

Я чуть не заплакала.

Уже будучи в городе, я как-то встретила случайно отца на рынке. Он обрадовался, а потом заплакал, схватил меня за руку.

— Грушенька, да ты ли это?.. Я уж молился по тебе за упокой!..

— У меня нет отца! — ответила я и вырвала руку.

— Как же нет, Грушенька, ведь я тебе отец!

— Почему же ты со мной так поступил, если я тебе дочь?!

— Враг попутал...

Но отца я все-таки любила и вскоре с ним помирилась.

НА ФАБРИКЕ

В Екатеринбурге я поступила на спичечную фабрику Логинова. Меня привели в бандерольный цех и посадили за длинный стол, заполненный спичечными коробками. Я сижу и не знаю, что делать. Подходит ко мне работница и спрашивает:

— Вы, наверное, новенькая, никогда здесь не работали?

— Да, — отвечаю я, — не знаю ничего, что мне делать.

Она принесла мне несколько коробок, бумажные розовые ленточки — бандероли — и показала, как надо наклеивать бандероль на коробку. У нее это выходило ловко, быстро, а у меня то коробка выпадет из руки, то ленточки запутаются.

— Ну ничего, научишься, — успокаивает меня работница, — денька два помаешься и будешь работать не хуже других!

Вижу я — у работницы, что рядом со мной, пять коробок сработано, а у меня за это время одна. Соседка мне говорит:

— Если не умеешь работать, не надо было сюда ходить, а пришла, так шевели руками!

— Я и так стараюсь, да не выходит по-твоему, может, я еще научусь!

— Незачем было ходить сюда, если не умеешь!

Та работница, что первая разговаривала со мной, подошла к нам и говорит моей соседке:

— Что ты на нее набросилась? Видишь, человеку это внове. Надо ей помочь, а не ругать!

— Да они, вот такие новенькие, только и приходят, чтобы цену сшибать!

— Ну, нашу-то цену некуда уже сшибать, и так она зазорная! А ты как попала к нам в цех? — обратилась она ко мне. — Сюда ведь принимают только умеющих?

— Не знаю. Я стояла в очереди у фабрики, как дошла очередь до меня, сказали: «Эту надо послать в бандерольную». Потом повели меня в какой-то комитет, там записали, отругали, не знаю, за что, а потом сюда привели.

Обе женщины засмеялись. Моя соседка и говорит:

— Ну, к ругани у нас надо привыкать. Все ругаются. Вот научишься сама материться, тогда будет легче.

Опять смеются.

Просидела я в цехе с шести утра до шести вечера. Сработала четыре ящика коробок. Цена за ящик — четыре копейки, значит, заработала шестнадцать копеек. Ну и заработок!

На следующее утро пришла в шесть часов. Вижу, все уже сидят, работают, и много коробок уже под бандеролью.

— Вы что же, всю ночь работали? — спрашиваю соседку.

— Нет! Мы, матушка, с трех часов утра здесь работаем, а ты, гляди-ка, в шесть выкатила, как барыня! Так ничего не заработаешь.

Мне выдали бандеролей на пять ящиков. Сажу, работаю. Вдруг слышу, между женщинами началась ругань, драка. Коробки со столов полетели на пол. Я испугалась, руки, ноги затряслись, не могу работать и не знаю, что мне делать.

Моя учительница, прибежала ко мне, успокаивает:

— Ты сиди, работай, тебя не заденут, только не вмешивайся! — сказала и убежала на свое место. Работаю, а руки трясутся. Работницы озверели, схватили друг друга за волосы, кричат, ругаются, но никто не разнимает.

Кто-то крикнул:

— Идут!

Женщины мигом сели на свои места, но оправить себя как следует не успели.

Вошли полицейский и мастер, а с ними еще какой-то человек. Полицейский крикнул:

— Кто здесь скандалил?

Растрепанный вид дравшихся и красные возбужденные лица выдали их.

— А-а, голубушки, пожалуйста сюда!

Их увели.

— Оштрафуют их, а может быть, и выгонят с фабрики! — объяснила мне соседка. — Если тебя спросят, из-за чего скандал, говори: «Ничего, мол, не знаю».

Предупреждение было излишним, я и в самом деле не знала, из-за чего была драка.

В цехе тихо, только коробки чикают, падая на стол.

В это время из приемника посыпались коробки.

Все работницы набежали с решетками.

Я набрала для себя решетку и запасла еще две: одну — на стол, другую — под стол.

Пришли драчуни — обе красные, заплаканные. Одной из них, что сидела поближе, я сунула запасную решетку коробок. Она мне улыбнулась и села работать. Стало снова тихо.

К шести часам все кроме меня закончили работу, у меня еще оставалось порядочно коробок. Моя новая знакомая — Лукерья, — которой я запасла решетку, подошла ко мне и быстро их забандеролила. В проходной будке при обыске у одной из работниц нашли под юбкой спички. Коробки посыпались на пол, их отобрали, а женщину куда-то увели. Домой я шла вместе с Лукерьей.

— Тюрьма теперь ей!.. — сказала она о той женщине, у которой нашли спрятанные спички.

— Ну, а вы из-за чего рассорились?

— Мастер дал мне больше бандеролей, ну, она и начала меня ругать, а я не спустила, вот и разодрались. Теперь обоим высыпали по два рубля штрафа. Это у нас часто бывает. Завтра суббота — получка. Я два рубля недополучу. Это еще ничего, только бы не выгнали с фабрики!..

На завтра с трех часов начали выдавать заработок.

Я вместе с другими встала в очередь. Меня толкнули вперед, я пошла по узкой лестнице наверх и попала в просторную комнату. Рабочие двигаются гуськом мимо стола, а вместе с ними по рукам администрации плывут их расчетные книжки от управляющего к бухгалтеру, от бухгалтера к счетоводам и, наконец, к кассиру. Около кассира — полицейский.

— Дай сюда книжку! — сказал мне управляющий.

Я отдала. Он посмотрел ее и передал бухгалтеру:

— Пятьдесят копеек!

Я хотела сказать, что это мало, я заработала больше, но напиравшие позади рабочие толкнули меня вперед, и я ничего сказать не успела.

Книжка пошла по рукам, и каждый, к кому она попадала, не спрашивал ни фамилию, ни где я работаю, а только повторял сумму заработка.

— Пятьдесят копеек!

— Пятьдесят копеек!

Таким образом добрались и до кассира.

— Пятьдесят копеек!

Он подал деньги и последний раз подтвердил:

— Пятьдесят копеек!

— Не задерживайте! Вниз! — скомандовал полицейский.

И я очутилась на улице.

Через неделю я уже стала вырабатывать по 10 ящиков. Работа не тяжелая, но утомительная. Квартира моя была далеко, вставать надо было, чтобы не опоздать на работу, в два часа ночи. С непривычки это очень тяжело.

В воскресенье мне встретилась работница с фабрики Макаровых. Я рассказала ей про свои мытарства.

— Иди к нам, у нас лучше! Поработаешь немного, а потом я перетащу тебя к себе в ткацкую!

ФАБРИКА МАКАРОВЫХ

В понедельник в шесть часов утра я была уже на фабрике Макаровых. Вновь пришедших на работу разбивали по цехам. Я попала в сортировочный. Сначала мы сортировали куделю. В помещении было пыльно, но мне нравилась эта работа. Я скоро усвоила способ сортировки кудели и была довольна своей новой специальностью. Рядом с сортировочным помещалось чесальное отделение. Я присматривалась, как чешут лен, чтобы потом попроситься в тот цех, но вскоре нас перевели работать на склады, в длинные полутемные сараи. Зимой в них было холоднее, чем на улице. Заставили

нас складывать в кучи тюки кудели. Здесь было несравненно хуже, чем в сортировочном. В сарае все время густым облаком стояла едкая пыль, от которой пересыхало в горле и все время хотелось пить, а воды не было даже горло прополоскать. Вечером я возвращалась домой охрипшей и могла говорить только шопотом.

Я мирилась с этой каторжной работой только потому, что надеялась когда-нибудь перейти в ткацкий цех и стать настоящей квалифицированной работницей. Но, к сожалению, мои надежды не оправдались.

А хуже всего было то, что к нам в склады приходили возчики и приставали к женщинам. Из-за этого происходили частые скандалы. Однажды возчики ввалились к нам целой ватагой и принялись мять работниц. Поднялся крик, визг, смех, ругань. Кладовщик услышал и прибежал.

— Это что такое?! Разве так работают?! А вы зачем здесь? — набросился он на возчиков. Увидев кладовщика, возчики разбежались.

— Мы здесь не будем больше работать.

— Спасения нет от мужиков!.. — заговорили некоторые из работниц.

— Вы бы так давно и сказали. Вот я им всыплю за это! Да и вас, голубушки, не помилую... которые тут визжали! Работайте! — крикнул он и ушел.

Часть работниц, что помоложе, напустилась на нас, зачем мы жаловались кладовщику на мужчин. Поднялась ругань, чуть не драка. В это время одна из работниц успела сбежать к кладовщику и донесла на тех, кто визжал и смеялся. Кладовщик вернулся и увел четырех женщин. Куда он их увел — не знаю, но оставшиеся заговорили:

— Теперь они нас будут караулить. Надо быть осторожнее, по одной не уходить, а с народом!

Так мы и ходили всю зиму. Потом нас перевели в свечное отделение, где вырабатывались стеариновые свечи. Я и до сих

пор не понимаю, почему фабрика была Макаровых, а свечи выходили под фирмой братьев Крестовниковых. Мастером тут была женщина, полная, белая и очень строгая. Звали ее Матреной Федоровной. Тут мы проработали зиму и весну.

В мае нашу Матрену Федоровну перевели на торфяник, который был позади фабрики. Она и нас забрала с собой. Мы там кто кучи переворачивал, кто решетками сухой торф носил к таборам, кто табора клал. Я переворачивала кучи и носила торф.

Утром приходим на работу и ждем мастера. К восьми часам она выходит. Мы встаем в затылок, она кричит:

— Первыми идут старые работницы!

Мы идем мимо нее, а она считает. Если ей хватает старых, тогда новые остаются, а если старых мало — берет из новеньких. Перед окончанием работы она отмечает фамилии и тут же замечает той, которая плохо работала:

— Ленилась работать! В субботу приходи за расчетом!

Мы ее боялись. Как будто ее и не видно, но она всех видит и знает, кто как работает. Пока я работала на торфе, тем временем моя знакомая, которая хотела меня устроить в ткацкое отделение, заболела и умерла. Так я и не попала в ткачихи!

НА ПОСТРОЙКЕ

В Екатеринбурге около Каменного моста по Покровскому проспекту, там, где теперь стоит каменный дом, в прежнее время было болото, а в этом болоте стоял деревянный покосившийся домишко с дырами в стенах, замазанными рыжей побелкой. Печально он смотрел на улицу двумя покосившимися маленькими окнами. Для чего на таком болоте был поставлен дом и кто его ставил — неизвестно. От двери к дороге были брошены переходы из двух неотесанных жердей.

В этом доме был кабак. Когда из него выходили пьяные, они скользили по мокрым жердям, матерно ругались и неизменно купались в болоте, с трудом вытаскивая друг друга на дорогу. Дорога тогда была высоко вымощена.

Потом этот дом был сломан, а место огорожено забором. Чем-то понравилось это место купцу Мередину из Невьянска, старообрядцу, и задумал он тут поставить каменный дом.

Началась постройка. Под фундамент выкопали канавы, которые сейчас же стали наполняться водой. Воду откачивали днем и ночью в реку. На дно канавы клали бут и заливали цементом.

В 1904 году я работала на этой постройке — таскала вдвоем с работницей на носилках камни. Работа тяжелая. Иной раз столько нагрузят камней, что носилки пополам переломятся, а руки должны были все это терпеть. Вначале казалось, что из них все жилы вылезут, а потом — ничего — обтерпелись, затвердели, покрылись мозолями, только стали плохо разгибаться, точно я всю жизнь с носилками ходила. Когда начали класть стены, нас, женщин, заставили носить известку и песок, каждая пара каменщиков взяла по две носильщицы. Мужчины носили кирпич козами* на плечах, а мы — на носилках.

Начинали работу с четырех часов утра. В восемь часов завтрак на полчаса, в одиннадцать часов обед — давали два часа на обед, в четыре часа — полчаса на ужин, и кончали работу в восемь часов вечера. Обедать ходили в обжорный ряд.

Мы, женщины, целый день ходили по лесам с носилками, а каменщики на нас покрикивали:

— Похаживай, бабы, похаживай!

И мы «похаживали» чуть не бегом, а на носилках извести или песку наложено столько, что не разогнешься. Бегаем, как угорелые, по лесам и видим — нет нам отдыха!

* Коза — длинная доска с полочкой внизу ее и с „ручками“ на верхнем конце. Кирпичи укладывались на полку „ручки“ лежали на плечах носильщика. Можно было нести 20–25 кирпичей.

— Давайте, бабы, натаскаем извести и песку в запас и отдохнем немного, — предложил кто-то из нас.

Мы удваиваем скорость и, обеспечив каменщиков на полчаса материалами, садимся на песок — отдыхать. Лучше всего отдыхать за песней. На постройке нас, женщин, было около тридцати, спелись мы хорошо, песни пели хорошие, так что народ на улице останавливался и слушал нас с удовольствием. Пели, пока с лесов не закричат:

— Эй, бабы, песку, известки!

Тогда мы бросались к носилкам, и опять начиналась бешеная гонка по жидким мосткам. Так проводили время до обеда. После обеда уже не до пеня. Трудная работа давала себя знать, поясница не разгибалась, ноги, как чугуны, а к вечеру — уже еле ходишь, идешь по лесам, а тебя поматывает, того гляди, упадешь и разобьешься.

И как только пробьет шабаш, все — кто где был — бросали работу и расходились по домам. Я жила в Верхисетском заводе, а это верст пять от постройки. Приду на квартиру — надо бы поужинать, а я на ногах не стою, как рухну на постель, так и сплю до утра не раздевшись. Проснусь от голода, думаю, надо бы поесть, посмотрю на часы — ночь уже прошла.

— Ой, бежать надо на работу... Ведь ходу-то целый час!

Захвачу с собой хлеба и по дороге закусываю.

Шла я однажды таким образом по бульвару, что соединяет город с заводом, и вижу: подле скамейки лежит кулек.

Думаю: «Наверное, кто-нибудь сидел вечером на скамейке и обронил конфеты или пряники». Взяла кулек, посмотрела, а в нем тоненькая книжка в розовой обложке. Посмотрела на заглавие, ничего не поняла, да и времени нет — могу опоздать.

Прибежала на постройку, положила книжку в узелок и начала работать. А книжка покоя мне не дает.

В обед нашла уединенное место, села в уголок, принялась за чтение. В книжке рассказывалось о царях и министрах,

кто они такие на самом деле. Смело было написано в книжке. С первой же страницы у меня даже сердце замерло, и я не заметила, как ко мне подошел один из каменщиков.

— Ты чего тут одна делаешь? Никак — читаешь? — удивился он, садясь со мною рядом. Взял он у меня книжку, бегло просмотрел ее и тихо спрашивает:

— Ты где ее взяла?

— На бульваре нашла!

— Гм! А ты знаешь, какая это книжка?.. Ты убери ее подалее, чтобы кто не увидел, а то тебе плохо будет. Дома прочитай. А теперь пока что убери!..

— Да ведь она печатная?!

— Хотя и печатная, а ты ее убери, я тебе по-дружески говорю. Мы с тобой когда-нибудь о ней поговорим. Ложись, вон идет десятник!

Каменщик повернулся на бок и притворился спящим. Я тоже легла лицом в угол, будто сплю. Слышу голос десятника:

— Вишь, куда с бабой забрался! Поди, уследи за ними.

— А ты приказ от полиции читал? Значит, должен исполнять! — сказал другой, незнакомый мне голос. Поговорили еще немного и ушли.

— Какого чорта им надо? Чего они шпионят? — спрашиваю я каменщика.

— По городу прокламации разбросаны, вот они и смотрят: не читает ли кто? А ты свою убери, найдет полиция, в тюрьму попадешь, — ответил мне шопотом каменщик и опять притворился спящим.

Я украдкой встала и спрятала книжку в грудку кирпичей. Вечером я унесла ее домой, положила под белье на дно сундука, чтобы прочитать на досуге, да так и не успела. А потом и вовсе о ней забыла.

С месяц я тут поработала, а потом кто-то нам сказал, что в городе начали строить больницу и что рабочий день там

короче, а цена не хуже той, которую здесь получали. Я задумала перейти туда. Но там мне сразу не понравилось: даже присесть не давали, целый день нас заставляли таскать кирпичи. К тому же настала осень, пошел мелкий дождь, и сделалось холодно, а укрыться от дождя негде, да и спрятаться не дают. Десятник — зверь, ходит по пятам и матюкается. Кто-то догадался разложить костер. Мужчины бросились к огню.

Я тоже подошла и протянула через их головы руки к огню.

— А ты куда лезешь? — вскричал один из мужиков и ударил меня кулаком с такой силы, что я упала и заплакала. Другие заступились за меня:

— Чего ты дерешься? Дурак! Мы вот в одежде и то замерзли, а бабы раздетые! Понимать надо!

Подошел десятник:

— Гоните баб к такой-то матери! Пускай другим способом греются, они знают — как...

Мужики засмеялись.

В субботу пошли мы за расчетом. Первыми рассчитали каменщиков, а когда дошла очередь до нас, кассир захлопнул окошко:

— Больше денег нет, приходите в следующую субботу!

Все заволновались, закричали:

— У нас хлеба нет!

— Есть нечего!

— Давай деньги, а не то разгромим твою конторку.

Поднялся шум, крик.

Откуда-то появился мужчинка в пиджаке, видимо, какой-то служащий, вошел в конторку и, слышно, спрашивает:

— Почему народ не рассчитываете?

— Если их рассчитать, с понедельника не придут!

— Этим ты их не удержишь, а хуже сделаешь: они и сами не придут и других не пустят. Ты знаешь, какое теперь время, забастуют и конец. А мы и так с постройкой запоздали!

Окошко открылось, и начали снова выдавать деньги. Человек в пиджаке вышел к нам и начал упрашивать, чтобы мы вышли на работу. Женщины загалдели:

— Чтоб мы работали у этой собаки? Да ни за что!

Тогда он нам тихо сказал:

— Его не будет, другой будет!

«Хрен редьки не слаще, — подумала я, — и другой будет не лучше». И с понедельника пошла в прачечную; там хоть и тяжело, да работа привычная — с малолетства ею занималась.

Зимой приехала ко мне мачеха и начала ругать мою работу:

— Занялась бы лучше торговлей! — посоветовала она.

ТОРГОВЛЯ И НЕЗНАКОМЦЫ

Совет мачехи мне понравился. Устала я мыкаться по разным местам, захотелось отдохнуть на легкой работе. Продала я кое-что из своих пожитков и купила у мелкого торговца будочку со всем его товаром. Торгую. Но пока что никакой пользы не вижу.

Прихожу однажды вечером домой, а мне хозяйка и говорит:

— К нам приехали торговцы. Просят твою комнату дня на четыре. А ты с нами эти дни поживешь!

Хотя мне было и неприятно, но я согласилась. Комната хозяйки была маленькая, а семья большая, так что пришлось мне спать на полу. Я познакомилась с новыми жильцами, и меня удивило, что они торговали только одними булавками. Натычут их на бумажки и ходят по городу, продают.

«Неужели, — думаю, — от такой торговли можно жить?»

Как-то раз ночью мне не спалось, дверь в комнату жильцов была приоткрыта, и мне было слышно все, что там делается. Один из них говорит:

— Полиция напала на след. За мной сегодня все время шпик таскался, еле от него избавился. Литературу я спрятал у товарища...

— Тише, — сказал другой, — дверь открыта!

Кто-то подошел на цыпочках к двери и плотно ее притворил. Дальше я ничего не расслышала и вскоре уснула. Утром хозяйка мне говорит:

— Чудные у нас жильцы-то! Сегодня чуть свет встали, заплатили и ушли. Уж не жулики ли какие?

Тут только я догадалась, кто такие были эти торговцы. Но никому об этом не сказала. Они напомнили мне о книжке, которую я нашла на бульваре. Я достала ее из сундука, пошла в свою лавчонку и принялась за чтение. Обложку от книжки я ободрала — уж очень она была заметная и могла броситься в глаза полиции, — изорвала ее на мелкие кусочки и выбросила в мусор. Подойдут покупатели — я книжку под стойку; уйдут — я опять читаю.

В книжке и о торговцах говорилось. Я прочитала и тут же дала себе слово никогда больше не торговать. Дочитала книжку, и в голове у меня стало как будто просторнее. Свернула я книжку и подумала: «Держать ее нельзя, еще случайно кому-нибудь в руки попадет!»

Пришла домой. У нас очаг затоплен. Я вместе с бумажками и книжечку бросила в огонь. Жалко мне ее было, но оставить боялась, трусливая еще была.

А тут как раз подвернулся на мою лавочку покупатель. Продала я ее за пятнадцать рублей, а купила за пятьдесят. Вот и весь мой барыш от торговли! Не только ничего не нажила, а еще своих приложила.

Хозяйка мне и говорит:

— Да какие мы торговцы?! Тут надо уметь мошенничать, надо иметь знакомство с ворами, жуликами. Дешево купить, дорого продать. С чистой совестью нельзя заниматься торговлей!

А я подумала: «Ведь в книжке то же самое говорится! Значит — правда!»

В это время присватался ко мне один пожарник. Как только я бросила торговлю, он и спрашивает:

— Почему бросила?

— Да ну ее к чорту, не умею я этим делом заниматься.

— А люди-то, на тебя глядя, говорят: верно, капиталец имеет!

— Может быть, и ты из-за капитальца посватался?

— Да нет, я пошутил, а ты уж и рассердилась!

Жених торопил свадьбу, а я оттягивала, хотелось мне узнать доподлинно, что он за человек. Ко мне и раньше сватались женихи, но я отказывала: боялась попасть опять в лапы к какому-нибудь извергу.

Один раз пришел пожарный с товарищем и принес вина. Хозяйка поставила самовар, приготовила закуску. Все — по-хорошему.

— Дай-ка стаканчик! — говорит мне жених.

Я подала ему рюмку.

— Что ты подала? Дай чайный стакан!

Он налил и говорит мне:

— Пей!

— Не пью!

— Ну, тогда я выпью!

Он выпил, налил товарищу, еще выпил и еще. Я и думаю: «Ну вот, мне это и надо! Теперь я знаю, какой ты есть человек!» Я никому виду не подала, а утром наняла лошадь и уехала к отцу, на Ревдинский завод.

1905 ГОД

Воскресенье. Все из дома пошли в церковь. Одной оставаться скучно, пошла и я с ними. Пришла. Молиться — не молюсь, а слушать пение приятно. Народу в церкви полным-полно. Слышу, звон на вынос икон. Я удивилась, думаю: «Ведь простое воскресенье. Почему же иконы выносят?»

Спрашиваю соседку, в чем дело.

— А по заводу пойдут о свободе молиться!

Я не поняла, о какой свободе идет речь.

Подняли иконы, вышли из церкви и недалеко от нее на горе остановились служить молебен. Все упали на колени. Около меня женщины плачут:

— Господи, дай свободы!

Трудно вынести чужие слезы. Я тоже заплакала, кланяюсь в землю и прошу:

— Господи, дай свободы!

Долго мы так молились, рыдали, просили свободы.

Пришла домой, а мне говорят:

— Сегодня была сходка, и старшина вычитал свободу.

А какую он вычитал свободу, толком никто не понял.

Поутру к нам пришел сосед и по секрету сообщил:

— Старшину арестовали!

Вот тебе и свобода!

В тот же день я уехала в Тюмень искать работу. Дома делать было нечего, родные сами жили впроголодь.

Приехала. Город незнакомый. Иду, а куда иду — не знаю. Надо где-то искать ночлега. Вижу, народ куда-то идет толпами. Я задержала одну женщину:

— Куда вы спешите?

— На демонстрацию!

Я не поняла этого слова, но тоже пошла за всеми. Пришли на площадь. Народу на ней кишмя-кишит. На каком-то по-

мосте стоит человек и что-то говорит, но что говорит — мне не слышно. Скажет что-то, а толпа зашумит и начинает кричать «ура», а потом опять все слушают. А человек все говорит да руками размахивает.

Вдруг из соседней улицы нагрянула полиция и принялась избивать народ. Били кого попало. Толпа заколыхалась. Я только успела заметить, как оратора сняли с помоста и пронесли над головами в середину толпы, где он и пропал.

Поднялся шум, рев, крики. Полетели кирпичи и камни. В воздухе свищут нагайки. Я стояла рядом с какой-то женщиной. Она бросилась бежать, я за ней. Забежали за угол, пошли тише, оглядываемся. Потом я спрашиваю:

— Что это такое?

Она посмотрела на меня:

— Вы не здешняя?

— Нет, я только что со станции. Ищу, где бы остановиться!

— Пойдем ко мне!

Я не успела даже поблагодарить, потому что за нами по пятам бежали мужчины, преследуемые полицией. Мы забежали в какой-то огород. Огородом выбежали к ямам, а сзади, слышим, уже брякают ворота. Стук, крик, свист.

— Лови!

Потом отборная матерщина.

В ямах — домишки, из окон выглядывают дети, женщины.

Я оглянулась: те мужчины, за которыми гналась полиция, тоже бегут к ямам. Я думала, что это за нами:

— Ой, голубушка, близко! Догоняют!

Женщина пошла шагом:

— Ничего, это наши мужики бегут!

Мы подошли к деревянному домику, снаружи он был непривлекательного вида, с улицы не было ни одного окна, ворота на замке. Моя спутница открыла их, и мы очутились во дворе. Ворота она закрыла на замок. Нас встретили две

большие собаки. Женщина провела меня в комнату. Разожгла самовар. Тем временем пришел ее муж. За чаем он рассказал о событиях на улице:

«Три дня ходил народ, не переставая, по всему городу, везде говорили о свободе, а сегодня — вот тебе и свобода! Всех разогнали. Я кое-как убежал с площади, попал на какую-то улицу, вижу, за мной гонится полицейский. Я остановился и кричу ему:

— Ты чего гонишься, не видишь, кто идет?

Он остановился.

— А ты зачем там был с этими босяками?!

— Да я совсем не с ними, а шел мимо и остановился посмотреть!

— А зачем бежал?

— Как от вас не побежишь? Вот вы как остервенели! Ну, я и побежал!

Полицейский хотел что-то сказать, но, увидав идущего по улице рабочего, бросил меня и с криком «лови» помчался за рабочим. Тот юркнул во двор и запер на засов ворота. Полицейский стучал, пока ему не открыли, но рабочий успел скрыться».

На другой день хозяйка рассказала, что ночью у них в ямах пятерых арестовали. Одного она очень жалела: пятеро ребятшек осталось, бедность!

— Я пойду снесу кринку молока и хлеба ребятам! — сказала хозяйка.

— Ну что ж, снеси! — согласился хозяин.

Прожила я у этих людей неделю. Кошелек мой опустел.

Несмотря на отчаянную слезку и аресты всех «подозрительных», мне пришлось выйти в город искать работу.

Так вот, в полном неведении, я встретила революцию 1905 года — эту ласточку великого Октября.

Я пошла на пристань. Пароходов я никогда в жизни еще не видала. Мне было очень интересно их наблюдать.

— Вы приезжая? — спросила меня какая-то женщина.

— Да.

— Глядите на пароход?

— Нет. Мне нужно работу.

— Ну что ж, идите вон туда, там принимают на разгрузку!

Так я поступила на работу. Грузила и выгружала пароходы. Работа была веселая, все время на народе. Но одно мне не нравилось — постоянная пьянка рабочих. Как завтрак, так грузчики несут четверть водки, а в обед — и того больше. Потом начинались драки и дебоши.

Жить я перешла к приемщику. Жена его работала в прачечной. В воскресенье, когда хозяин бывал дома, к нему приходили рабочие. О чем они говорили, я не понимала. Сiju, бывало, в каморке, пока они ведут свои разговоры. Однажды, заметив меня, они смутились.

— Кто там у тебя?

— Это наш человек, — ответил хозяин. — Не сомневайтесь. Она работает у меня на пристани.

Я попросила разрешения посидеть у них в комнате, послушать их речи. Хозяин передал гостям мою просьбу.

— Если хочет быть нашей, пусть входит! — ответили они.

Я вошла. Оказывается, там были почти все пристанские.

— О, да это наша, она с нами работает. Садись!

Здесь я увидела того человека, которого во время демонстрации народ пронес над головами. Он был высокого роста, лет тридцати — тридцати пяти, сухощав, сутулый, как все работающие на пристани, с темными волосами, остроносый. Взгляд его был быстрый, пронзительный. Движения медлительны, но верны и крепки. Голос твердый и повелительный. Этот человек говорил рабочим о свободе, которую задушили холопы царя — полицейские. «Но рано или поздно придет революция, и тогда царю не сдобровать», — закончил он свою речь.

После этой сходки меня спросили, хочу ли я вступить в партию. Я хотела ответить, что давно уже мысленно нахожусь в их

партии, но мне мешает моя темнота осознать все происходящее.

— Ничего, братцы, я еще не понимаю. Научите меня разбираться во всем, а тогда принимайте.

— Не братцы, а товарищи! — поправил меня хозяин. — В партию мы тебя примем, но прежде тебе действительно надо многому подучиться. Я с тобой займусь этим делом.

Обещания своего он так и не исполнил, а я и по сие время не знаю, в какую именно партию они меня приглашали.

В следующее воскресенье хозяйка сообщила мне, что главаря рабочих арестовали. Ее муж с группой товарищей весь день бродил по городу.

— Готовим ему побег, — шепнул он мне. — Не знаю, как удастся.

Побег, вероятно, не удался. Хозяин затосковал, запил. Работа на пристани стала неинтересной. Я перешла в больницу сиделкой.

— Ты еще неопытна в нашем деле, — заявил мне перед уходом хозяин, — никому не говори, что видела у нас.

Так закончилось мое первое знакомство с революционными рабочими.

ПО БОЛЬНИЦАМ

В отделении, где я работала, была еще одна сиделка, Матреша. Красивая девушка лет двадцати. Хотя и молодая, но она больше меня понимала в работе. Поэтому я предложила ей взять всю чистую работу, а грязную оставить мне: мыть полы, печи топить, посуду мыть и прочее, а в свободное время помогать друг другу.

— А тебе не обидно будет, что я всегда за чистой работой? Ты ведь старше меня!

— Не по годам бьют, а по ребрам! Когда я со всем ознакомлюсь и научусь, тогда будет видно, а теперь давай работать, как я тебе говорю!..

На этом мы и порешили.

Я встаю в четыре часа, убираю в палатах, она же идет к больным. К приходу смотрителя у нас уже все в отделении прибрано и больные в порядке.

В восемь часов утра приходит смотритель. Обойдет палаты, пощупает белье, в столах у больных пошарит, пальцем кой-где проведет — нет ли пыли — и уйдет.

Матреша смеется.

— Ни с чем ушел! К нам не подкопаешься!

После него ждем фельдшерицу. Она, как входит, так сразу и спрашивает:

— Ну, как живете, девушки? Управились с работой?

Матреша отвечает:

— Хорошо живем, Серафима Григорьевна! С работой управляемся!

— Хорошо, девушки, хорошо!

Обходим больных. Фельдшерица учит меня, как за ними ухаживать.

— Учись! А то вдруг Матреша вздумает замуж, не с кем будет работать, — шутит она.

После нее ждем доктора. Опять обход больных, а затем — в перевязочную. Мне дают порционку, и я иду с ней в канцелярию, в пекарню за хлебом, за квасом и, если есть молочные порции, иду за молоком на кухню.

Потом — обед. Наше отделение было в почете, покуда мы с Матрешей не придем за обедом, ни в какое отделение не выдадут. Идем мы с Матрешей по больнице, как два лебедя: чистенькие, в хороших халатах — халаты у нас были свои. Сиделки увидят нас, шепчутся:

— Второе отделение идет! Ишь ты, как в праздник разоделись!

Так мы жили месяца три, а то и четыре.

Ну, как водится, пошла о нашем отделении слава. Хвалят нас, завидуют. А потом и сплетни пошли. Отведут меня сиделки в сторону и давай нашептывать:

— Ты чего это, как Бурка, всю грязную работу везешь?! А что она за барыня? Что доктор за ней ухаживает, так и в барыни попала?! Больно рано выскочила!

Я только отшучиваюсь. По вечерам приходила к нам в гости фельдшерица. Сидим, пьем чай, разговариваем. Иной раз вынет она из-под халата книжку и, улыбаясь, спрашивает:

— Девушки, хотите посмеяться? Только боже вас сохрани, кому словом обмолвиться!..

Любила она веселые книжки, иногда и неприличного содержания.

Мы читаем, и сколько у нас смеху! Так вот и проводили вечера. Мы даже никуда не ходили, разве по делу.

Сиделки нас ругали:

— Сидят, как две кикиморы, никуда нейдут! Из-за них и нас ругают, что мы ходим!

Зато доктор говорил: «У меня в отделении бог живет!» Но недолго продолжалась наша хорошая жизнь: фельдшерица вдруг заболела. Надеялись мы, что она выздоровеет, но, слышим, умерла.

— Теперь новая придет, я с ней работать не стану, — говорит Матреша. — Я лучше пойду учиться на сестру милосердия. Доктор обещал похоронить!

Приехала новая фельдшерица, и Матреша ушла учиться. Мне прислали другую сиделку. Она хоть и пожилая, но сплетничать была большая охотница. Я ей предложила также разделить работу, как было с Матрешей, т. е. побыть покуда что на грязной работе, а тем временем поучиться, присмотреться. Она согласилась. Я уже к чистой работе привыкла, знаю работу, и ко мне отношения доктора и фельдшерицы стали такими же, как и к Матреше. Так прошло с месяц. Вижу,

отношение ко мне изменилось, начались придирки, кричат на меня, и чем дальше, тем хуже. А я не понимаю, отчего это?!

Выписанные доктором рецепты поступали в аптеку, а медикаменты из аптеки разносил по отделениям особый разносчик — молодой, веселый парень. Как-то раз принес он мне в числе прочих лекарств одно, которого я еще не знала. Я попросила разносчика прочитать мне название.

— А ты не умеешь разбирать по-латыни? — спросил он.

— Нет, не умею, хотя буквы знаю.

— Давай я тебя научу!

Мы вместе наклонились над рецептом, и он по буквам стал читать мне незнакомое название.

Дверь в перевязочную была открыта. Мне показалось, как будто за дверью что-то прошумело. Я оглянулась и вижу: от двери юркнула моя помощница. Я еще подумала: «Чего она вертится около дверей?»

Вечером, как только надзиратель пришел в отделение, он сразу же накинулся на меня:

— Ты что, с кавалерами шашни заводить? Да еще в перевязочной!

— Я не понимаю, о чем вы?!

— Как это ты не понимаешь? Зачем Костю заманила в перевязочную? Что он у тебя делал? — закричал он и обозвал меня площадным словом.

Я вспылила:

— Если вы слушаете всякие сплетни, то и оставайтесь со сплетницами. А я уйду!

Он тоже остервенел и крикнул:

— И уходи, мне таких не надо!

Утром я пошла в канцелярию к смотрителю.

— Дайте мне расчет!

— Сдай все, тогда получишь расчет!

Сдала все полностью, прихожу за расчетом. Мне причиталось получить за полмесяца три рубля.

Смотритель посмотрел на меня и нахально усмехнулся:

— У тебя, голубушка, не хватает шести салфеток!

Салфетки стоили по пятидесяти копеек. Я поняла, что мне не хотят отдать мои три рубля. Тут я вспомнила, как одна из сиделок говорила мне:

— У смотрителя жена просила галоши купить, а он сказал, что нет денег!

— Что, на мои деньги жене галоши хочешь купить? — крикнула я ему в лицо. — Бери, я и без денег проживу!

Поворотилась и ушла.

Через день я опять поступила в прачечную. Прошел месяц, а я неиду в больницу ни за паспортом, ни за деньгами. Не могу забыть свои обиды.

Работаю в прачечной. Стою как-то, глажу белье, вдруг прачка кричит:

— Груша, тебя во двор вызывает какой-то мужчина!

Я подумала, что она шутит:

— Пошла ты, с мужчинами!..

— Да верно, иди, тебя зовут!

Вышла, вижу, стоит незнакомый человек.

Спросил меня по фамилии, я ли это буду.

— Я, а что?

— Меня за тобой послал смотритель больницы.

Меня тут прорвало, обида вспыхнула во мне:

— Чего ему от меня надо? Скажи, что я не пойду!

Мужчина стоит, молчит.

— Чего стоишь? Я сказала, что не пойду!

— Мне наказано без тебя не приходиться!

— Вот как?! Даже наказано!

Взяло меня любопытство — что это все значит? Оделась, пришла в больницу к смотрителю.

— Для чего вы меня звали?

Смотритель взглянул на меня и опустил глаза:

— Иди на свое место, — помолчал и добавил: — Замучался я с новенькими!

— Не все там новенькие, есть и старая, хорошая работница, не такая, как я! Что же с ней не работаете?

— Кто это?

— Кто это? А Васильевна?! Это ведь она вам на меня насплетничала.

— Я ее в тот же вечер уволил, а Костю до иконы довел. Парень клялся перед иконой, что не виноват! Иди в свое отделение, ничего не делай, только смотри за сиделками.

Характер у меня хоть и вспыльчивый, но отходчивый. Как заговорил со мной смотритель по-хорошему, по-человечески, — так у меня вся злость и прошла.

— Ну ладно, — говорю, — кто старое помянет, тому глаз вон! Согласна! — И даже заплакала.

Меня вместе с моей новой подругой Машей направили в гинекологическое отделение. Старшим врачом здесь был доктор Потаенко. Мы его боялись, но в то же время и уважали. Никто не слышал, чтобы он когда-нибудь кричал на провинившегося. Если кто-то ошибется в работе, он позовет в кабинет и поговорит тихо, но убедительно.

Многие у нас даже говорили:

— Лучше б ударил, легче бы было, а то он говорит, а ты стоишь и не знаешь, куда от стыда деваться!

Вот насколько крепко въедалась в людей рабская привычка к хамскому обращению со стороны администрации.

Мне за два года службы ни разу не пришлось услышать «увещевания» от доктора Потаенко.

Один только раз приключилась неприятная история. Одной больной делали «кесарево сечение». Перед операцией полагался день подготовки. Утомленная работой, я забыла сделать ей подготовку. Принесли больную в операционную, дали ей хлороформ, она уснула. Раскрыли ее, а она оказалась неприготовленной.

Потаенко рассердился, но ничего нам не сказал. Только во время работы сильно нервничал. К счастью, операция сошла благополучно.

Во время операции я всячески сдерживала волнение, но когда я освободилась, то сдержаться уже не могла. Я взяла таз, дотащила его кое-как до уборной, выплеснула и тут же повалилась на пол. Пришли курсантки и перевели меня в дежурную комнату. Спрашивают, что случилось, но я ни слова выговорить не могу. Вызвали из зала доктора Потаенко. Он пощупал мой пульс, выслушал сердце.

— Что же вы стоите, душечки? — зло обратился он к курсанткам. — Не знаете, что делать в такой момент? Сейчас же принять меры: валерьянки, компресс на голову...

Потом начал успокаивать меня. В результате все обошлось благополучно, но начальству не понравилось, что доктор так «мягко» отнесся к простой сиделке.

— У него нет самолюбия, — говорили они. — Мало того, это по отношению к нам бестактно!..

Вообще наши больничные верхи его недолюбливали. И чем больше рос его авторитет среди больных и низшего персонала, тем хуже к нему относилось начальство. Против него составил даже целый заговор: заведующая, попечитель и младший врач Колмаков. Исподтишка они собирали о нем всякие небылицы, сплетни и натравливали на него других врачей.

Меня как его «любимицу» начальство возненавидело. Особо заведующая. У нее для этого были по крайней мере свои, особые причины.

В числе прочих медикаментов в наше отделение часто выписывали также и спирт. Моя подруга Маша, подавая выписку, предупредила меня:

— Бери все полностью, а жидкость требуй в запечатанном виде, иначе не бери! Они на этом капитал себе наживают.

Прихожу, подаю выписку. Заведующая прочитала, пошла в кладовую и вынесла мне половину четверти спирта.

Я сообразила, в чем дело, и говорю:

— В бумаге сказано — целая четверть!

— А ты разве грамотная?

— Грамотная!

Она что-то промычала себе под нос и принесла полную четверть.

После этого прошло с месяц. Однажды к нам в перевязочную входит доктор Потаенко.

— Как у вас со спиртом? Не теряется?

— Нет, а что?

— Да в соседнем отделе утечка; говорят, повитухи пакостят или курсантки.

Я не сдержалась и улыбнулась. Он это заметил.

— Ты что? Разве что-нибудь знаешь?

Тогда я ему рассказала о проделках заведующей. Потаенко очень возмутился. Мне потом передавали, что у него с заведующей был крупный разговор.

На святках сговорились мы устроить маскарад. У нас сиделка из родильного отделения Елена Пупкова была мастерица плясать русскую, другая сиделка на гармошке играла. Я нарядилась врачом, подруга моя — монахом, нашли где-то кружку, повесили ей на грудь. Остальные сиделки нарядились, кто во что горазд, и пошли все вместе в комнату, к акушеркам. Только мы там расплясались — вдруг входит доктор Потаенко. Сперва мы было испугались, думали, нам влетит от него, но потом, смотрим — ничего. Он сел на стул и смеется. Тогда мы продолжили наше представление. Елена пустилась опять плясать, а потом упала на пол, будто ногу себе повредила.

(Это у нас было условлено заранее.) Лежит и кричит:

— Ой, ой! Доктора! Доктора!

Доктор Потаенко думал, что и в самом деле она ногу сломала, хотел было ее уже осматривать, но тут девушки вытолкнули меня вперед и кричат:

— Вот доктор!

Я подошла к упавшей и спрашиваю:

— Чего свалился, что у тебя болит?

Упавшая — она была одета солдатом — басом мне и отвечает:

— Болят ноги!

Я говорю:

— Оторвать эти ноги, привязать чортовы дроги — не будут болеть твои ноги! Еще что болит?

— Пузо!

— В это пузо закатить тридцать три арбуза — не будет болеть твое пузо! Еще что болит?

— Голова!

— Обрить ее догола, помыть да распарить и полешком приударить — не будет болеть твоя голова! Вставай!

Елена вскочила и снова пустилась плясать. А в это время монах подошел к доктору и просит:

— На разорение храма, на выпивку игумену, на всех пленных и нас, военных!

Доктор расхохотался:

— Ну и выдумщики! — вынул денег и положил в кружку, а потом потихоньку вышел.

Без него стало еще веселее.

Акушерки нас подзадоривают:

— Пойдемте в город!

Не давая себе отчета в том, что делаем, мы кое-как оделись и вышли на улицу. Среди нас были и дежурные сиделки. Идем по улицам, смеемся.

Прохожие от нас шарахаются.

— Маскарад! Маскарад! — кричат.

И как нас полиция не забрала — не понимаю. Решили мы направиться к одной нашей пациентке, она за неделю перед тем от нас выписалась. Приняли нас там с радостью, провели в зал, где уже были другие гости. Начались танцы, но из нас мало кто умел танцевать, только одна Елена лицом в грязь не ударила.

Меня барынька увела к себе в комнату, и мы с ней, по старой памяти, сидим, разговариваем. Позвали ужинать. Длин-

ный стол полон винами и закусками. Я ничего не пью кроме чая. Мне принесли к чаю пирогов. Подруги мои подвыпили, веселятся, а я сижу и потом обливаюсь: тепло у них в комнатах, да и не умею я себя держать в таком обществе.

Было уже поздно, когда мы от нее вышли. И только уже по дороге вспомнили: «А кто у нас теперь дежурит? А вдруг да оперировать привезли, а нас никого нет?! А вдруг доктор с обходом пошел?!»

Струсили мы, бросились бежать, так что и хмель из головы вылетел. Прибежали к себе и сейчас же каждый на свое место, будто никуда и не отлучались.

Много раз вспоминали мы потом об этом маскараде. Помню еще один случай, о котором стоит рассказать.

У нас было такое правило, что за утерю белья отвечают все дежурные того дня, когда белье пропало. Этот порядок очень не нравился курсанткам. Много у нас было по этому поводу разговоров и ссор, и в конце концов так, как и везде, белая кость взяла верх. Заведующая распорядилась, чтобы за потерю белья отвечали только одни сиделки. Акушерки и курсантки остались в стороне. Белья было шестьдесят с лишним комплектов, а сиделок всего-навсего — шесть. Работы у них и без того по горло, где тут еще за бельем следить!

Сиделки взвыли. Придут ко мне в комнату — жалуются: то полотенце кто-то в уборную засунул, то под родильницу вместо одной акушерки три простыни положила, то в детском белье докторский халат обнаружился, то родильница вместе со своим казенное белье утащила, то курсантка завернула книги в наволочку, унесла ее домой и не возвращает! Каждый делает, что хочет, а за всех сиделка в ответе.

И так каждый день. Придешь с дежурства, думаешь отдохнуть, а тут слезы, жалобы. Хочется помочь, а нечем! Вспомнила я тут тюменских рабочих и говорю сиделкам:

— Знаете что? Больше нечем взять, как только забастовкой.

— Это верно! Только нас мало, а другие — акушерки да курсантки — нас не поддержат!

— Ну попробуйте, может, что и выйдет, по крайней мере хоть попугаете!

Вечер у меня оказался свободный, я зашла к знакомым и заночевала. Утром прихожу на дежурство, в комнате никого нет.

«Ну, — думаю, — одни сменились, а другие еще не пришли!»

Иду в палаты, а мне навстречу курсантка. Спрашивает меня ехидно:

— А ты разве не с ними?

— С кем — с ними?

— А с сиделками? Они бунт устроили!

Я ничего не сказала и бросилась в комнату сиделок. Вбегаю, а они все там, и доктор Потаенко — с ними.

Я не успела еще понять, в чем дело, а Маша говорит:

— Мы просим отменить это правило. Вот и Груша это скажет!

Доктор отвечает:

— Правило — правилом, а бастовать вы не имеете права, у вас на руках больные. Кто сегодня дежурная?

— Моя очередь! — откликнулась я.

Доктор показал на дверь:

— Идем!

Нас пропустили. Он дорогой мне говорит:

— Зачем ты ввязалась в эту историю, она же тебя не касается. Идем, будем работать, а их пусть разберет заведующая! Пока я здесь, и ты работай, а уйду — тогда как хочешь!

Через день двух сиделок рассчитали. Маша, моя товарка, сама ушла, акушерка Александра Георгиевна — тоже.

Этим и кончилась наша первая забастовка.

Осенью были назначены выпускные экзамены. Я с любопытством наблюдала, кто с какой отметкой выходит с экзамена... Курсантки из так называемых порядочных, кто побогаче, все получали хорошие отметки, а тех, кто из «простонародных», с грехом пополам выпустили с аттестатом: «Практиковаться шесть месяцев».

Меня до экзамена совсем не допустили. Мою хорошую работу, которую все признавали, теперь будто вовсе забыли. Зато мне припомнили все случаи, когда я проявляла неуважение к начальству, все мои малейшие ошибки, но, главное, конечно, что меня сгубило, это была история с забастовкой, в которой меня считали главной зачинщицей.

Мне было очень обидно.

Вскоре после окончания экзаменов доктор Потаенко вызвал меня к себе в кабинет. С ним сидел еще один из наших врачей и какой-то незнакомый мне толстый мужчина. Мне указали на стул, я села.

— Ты с какого времени на больничной работе? — спрашивает меня толстяк.

Я ответила.

— А крови не боишься?

Говорить о себе как работнице я не стала, сослалась на Потаенко, он, мол, лучше об этом знает.

— Ну, а как у тебя дела с латынью?

Я ответила откровенно:

— Слабо, печатное читаю, разбираю рецепты, но пишу скверно.

Мне показали латинскую книгу, я прочитала, показали рецепт — тоже прочитала. Заставили написать. Потом начали спрашивать о различных инструментах, в каких случаях чем пользуются. Вопросы кончились, меня попросили выйти и подождать. Я ушла к привратнице, разговариваю с ней, а у самой по телу мурашки, не наврала ли я в ответах. Да и к чему это меня так подробно допрашивали?

Наконец меня позвали. Потаенко поздравляет меня с успехом и подает бумагу.

— Вот свидетельство на звание сестры, только латынь постарайся одолеть!.. — и шопотом мне добавляет: — Ты здесь свидетельство никому не показывай! Сама знаешь, почему.

Я взяла бумагу, руки дрожат от радости, прочитать ее не могу, буквы кузнечиками прыгают.

Как молодая, побежала я наверх, через две ступеньки, в свою комнату, завернула свою драгоценную бумагу в халат и заперла ее в сундучок. Больше всего я боялась, чтобы не пронюхала об этом заведующая, которая любила шарить по чужим ящикам.

Вскоре доктор Потаенко ушел из нашего заведения. Тогда я пошла к заведующей и говорю:

— Рассчитайте меня!

Она оглядела меня с головы до ног, отвернулась и через плечо отвечает:

— Давно пора всю вашу потаенковскую банду разогнать! — и принялась поносить всячески ушедшего доктора.

Я не выдержала клеветы и еще решительнее потребовала расчета. Заведующая вскипела:

— Ах, ты думаешь сестрой будешь работать? Так знай — этого никогда не будет. На, получай!

Она бросила мне паспорт и ушла.

Вечером на квартире мне захотелось посмотреть на свое свидетельство, похвалиться перед хозяевами своими успехами. Я открыла сундучок, развернула халат — свидетельства нет. Я перетрясла все до тряпочки. Свидетельства не оказалось. Только теперь я поняла угрозу заведующей. Тут же я вспомнила: однажды, уходя на дежурство, я забыла закрыть сундучок на ключ. Вернувшись и увидев беспорядок в сундуке, я еще ругала себя за торопливость и забывчивость...

Хозяева, глядя на меня, недоумевали. Я была настолько потрясена этой потерей, что ничего им не могла объяснить. Всю ночь я проплакала от обиды и от страха перед будущим... Утром не хотелось вставать — зачем? Куда итти, кому жаловаться!

Вспомнились мне в эту ночь и те недавние короткие месяцы, о которых я до сих пор еще не рассказала.

Это было похоже на солнечный час, случайно удавшийся среди дождливых осенних дней...

Я работала тогда еще в родильном доме. У меня было так много дел, что некогда было поесть, некогда выспаться. Я ела на ходу, урывками, спала сидя, боясь проспать вызов на операцию или на помощь к больной. От недоедания и недосыпания еле волочила ноги. Был один только человек, который относился ко мне участливо, — это моя подруга, сиделка родильного отделения, Елена Пупкова, о которой я писала в связи с маскарадом.

— Тебе, Груша, отдохнуть надо, — говорила она. — Смотри, у тебя один нос остался, скоро ноги протянешь!

После одного такого разговора Елена пригласила меня пойти с ней к знакомым.

Я никогда еще до того не видела такой мирной и приятной семьи. Старушка и два сына; младший — женатый, старший — холостой. Не знаю, где и когда старший брат меня видел, только я сразу поняла, что меня он давно знает и что Елена пригласила меня к ним неспроста. Оба брата работали на кондитерской фабрике Афонина — младший в прянично-сухарном цехе, а старший в конфетном.

Я встретила в их семье такой искренний и радушный прием, что мне не хотелось от них уходить. Несмотря на бедность, что тоже очень меня к ним располагало, их дом казался мне счастливым островком среди того сурового житейского моря, по которому мне приходилось мотаться все эти длинные годы. Особенно подкупил меня старший брат...

Уже со второй-третьей встречи у нас возник с ним разговор о дальнейших наших отношениях. Меня ничуть не удивило его предложение, я сама ждала этого, но все же задумалась. Отдать ему свою свободу, независимость?.. А вдруг первое впечатление ошибочно, вдруг он окажется таким же, каким был мой первый муж?

«А зачем мне свобода, — думала я, — если она не приносит мне ничего кроме изнурительной работы и беспросветного одиночества? Ведь я не видела еще до сих пор настоящей

ласки и заботы...» И я согласилась выйти за него замуж, только без венца, чтобы можно было в любую минуту уйти. Он не возражал. Из его родных никто нас даже не попрекнул, что мы живем невенчаннные. В те времена это считалось позором.

Шесть месяцев пролетели, как шесть минут... Мне до сих пор трудно поверить, что он умер. Счастье мое кончилось так же быстро и неожиданно, как и началось. Есть одна горькая, но правдивая поговорка: «Доброго — не надолго, сладкого — не досыта!»

Я снова осталась одна. Но семья мужа и до сих пор считает меня своей. Они относились ко мне и после смерти мужа попрежнему радостно и заботливо. Так они отнеслись ко мне и после моей неудачной истории со свидетельством медицинской сестры!..

КАРАБАШ

Я прожила у них две недели, но так или иначе опять надо было искать работу. Случайно я узнала, что наши соседи-рабочие собираются на заработок в Карабаш.

Карабаш в то время представлял почти пустырь — пять домов, два барака, маленький железный корпус фабрики и строящаяся школа. Самый рудник находился километрах в двух от селенья. Надшахтные вышки стояли среди леса, так что их едва было видно.

Около шахт в развалившихся старых лачугах жили рабочие. В одном из домиков мы попросили напиться. Я посмотрела, как тут живут рабочие, и ужаснулась. Ребятишки голые, босые, грязные. Взрослые — в грязных лохмотьях. Я сама не из богатых, но такую нищету видела в первый раз.

За поселком с правой стороны дороги стояла грива лесу. На опушке его — недостроенные стандартные дома в три окна.

Большинство рабочих помещалось в самом Карабаше в двух бараках. Один из них, «семейный», стоял на площади: длинный, тесовый, крыша на два ската, точно гроб. В нем было два окна и просвет над дверью. Внутри он был разгорожен, как стойло, перегородками в рост человека. Потолка нет, над головой стропила и крыша. В каждом стойле помещалась целая семья. А семей было двадцать пять. В тех комнатушках, что приходились против двух окон, по одному с каждой стороны, было светло, в остальных даже днем при солнце горели лампы.

На весь барак одна русская печь в две топки и около нее двадцать пять хозяек. Можно себе представить, что тут делалось, когда готовили обед.

Рядом с баракom стояла новая лесопилка на две рамы. За речкой у подножья лесистой горы стоял второй барак для холостых. Он был светлее и теплее, с низким потолком, перегородок здесь не было, а вдоль стен под окнами шли сплошные нары, и некуда было ничего ни поставить, ни положить. Все имущество засовывали под нары, каждый — под свою. Летом в барках почти никто не жил, даже спали, если не было дождя, на воздухе, под небом. Около этого барака, выше по склону горы, было намечено место для школы, на постройке которой мы и работали.

Рядом со школой стоял одинокий почерневший от времени дом — заводская контора, где хозяйничали англичане. В таком же старом, готовом развалиться строенье на выезде из Карабаша жил инженер. В единственном новом кирпичном двухэтажном доме помещался наш подрядчик.

Все эти постройки были расположены одна от другой на большом расстоянии. Дороги между ними плохие. В дождливое время ни пройти, ни проехать. Постоянных жителей в Карабаше почти не было. Люди приезжали сюда на заработки из разных мест, поэтому никакого прочного между ними сближения и быть не могло. Каждая артель держалась

обособленно, чужих боялась и враждовала с ними. Часто возникали ссоры и драки.

Единственным развлечением была водка. По воскресным дням весь рудник лежал на земле. В понедельник люди просыпались и считали синяки и увечья. У одного — зубов нет, у другого — рука не подымается, кто прихрамывает, у женщин под глазами фонари.

Начинали с почесывания и сожаления:

— Эх, надо бы рубашку купить, эта вся развалилась... Ну, да ладно, в следующую получку!

— Домой бы надо денег послать! Баба мается!

Но вот наступает суббота и опять — пьянка, опять гудит гармонь, и над рудником несется залихватская песня:

Горе, горе, где живешь?
В кабаке за бочкой!
Горе, горе, что жуешь?
Сухари в примочку!

Всем жилось плохо, но все на что-то надеялись и этим себя утешали. Говорили, что скоро англичане-миллионеры выстроят здесь большой завод, много домов и казарм для рабочих, проведут электричество, что народу будет «тысячи», и тогда начнется настоящая жизнь и деньги польются рекой. А пока что — дымил паршивенький заводик, грызла бревна беззубая лесопилка. Люди шесть дней гнили в темных сырых шахтах, чтобы на седьмой превратиться в скотов.

Не понравилась мне такая жизнь, и в августе 1908 года я уехала обратно в Екатеринбург.

ОПЯТЬ В БОЛЬНИЦЕ

И снова начались мои мытарства. Куда я только не поступала, где не работала! И на постройках, и грузчицей, и ку-

харкой, и пекарем, и полемойкой. Наконец я снова попала в больницу сиделкой. Обидно, ведь могла быть медицинской сестрой, заработала это право... Но что делать — ведь тогда мы были бесправными.

В ноябре 1910 года я заразилась от больного тифом и пролежала до апреля. Выписали меня из больницы, я ушла к невестке. Она только что похоронила мужа, осталась с тремя детьми. Нужда. Бедность. Невестка шила на толчок пиджаки — по двадцать копеек за штуку.

Я помочь ей ничем не могла, у меня после тифа отнялись ноги. Полтора года я ползала на коленях.

У нее семья, заработок грошовый, хлеба не хватает, пришлось посылать детей собирать подаяние. Старшая и средняя девочки ходили и просили милостыню, и мы этим питались.

Когда я поправилась, то долго не верила своему счастью. Иду и думаю: «Неужели это я иду, неужели еще пришлось по земле ходить?»

Смотритель больницы, узнав, что я выздоровела, позвал меня на прежнее место. Я была еще очень слабая, много ходить не могла, и он поместил меня на время в прачечную белье починять: там сидячая работа. Кроме меня в прачечной находились еще двенадцать прачек. Работали они полную неделю с той только разницей, что в воскресенье вместо обычной стирки выполняли чистую работу: катали белье, штопали чулки, пришивали пуговицы. Это был их отдых. Но администрации и этого показалось мало. Она заставила прачек в праздничные дни готовить на кухне лапшу, которая подавалась по праздникам больным в качестве дополнительного пайка. А больных у нас бывало не меньше двухсот человек.

Прачки — в слезы: и лапшу резать не хочется и отказаться бояться.

Меня возмутила такая беззастенчивая эксплуатация.

— Не ходите! — заявила я прачкам. — А если вас спросят, почему не идете, вы стойте на одном: «Мы-де своими руками

стираем всякое белье, и у нас на руках микробы». Главное, одна другую не выдавайте, стойте на этом твердо: вот увидите, что вас освободят от лапши.

Так и вышло. Прачки забастовали. Их призвали в канцелярию:

— Почему не идете на кухню?

Прачки ответили так, как я их научила. Смотритель растерялся. Сообщил врачам. Те срочно собрались в докторскую, начали совещаться. Положение у них было незавидное: прачки действительно стирают белье и туберкулезных и сифилитиков... Врачам было стыдно, что им утерли нос какие-то прачки, а главное, они боялись, что слух об этом разнесется по городу. Пришлось уступить, и освободить прачек от лапши.

Мы праздновали победу, но администрация не успокоилась. В канцелярии долго еще обсуждалось это событие. Всех удивляли настойчивость и находчивость прачек. Решили, что сами они до этого додуматься не сумели бы.

Стали искать зачинщиков, перебрали всех по пальцам — никто под категорию бунтовщиков не подходил.

— Это, наверное, Кореванова, — догадался кто-то из врачей. — Я помню, ее из родильного дома тоже за забастовку уволили...

Смотрителя удивило такое открытие.

— Подождите, — заявил он, — я ее позову, она мне сознается!

Этот разговор нам в тот же день передала акушерка, которая нам сочувствовала.

Утром, действительно, вызывает меня смотритель и, не глядя на меня, начинает:

— Ты что там выдумываешь!.. Людей мутить, забастовки устраивать? А мне за тебя краснеть приходится!

— Если нехороша, дайте расчет!

Этого он не ожидал. Отпускать меня невыгодно, так как я была опытной сиделкой, но и уговаривать неловко. Он решил задержать меня другим способом:

— Хорошо, две недели отработаешь и можешь уходить.

Он думал, что за эти две недели я исправлюсь и приду к нему с повинной. Через две недели я сама к нему явилась и потребовала расчета. Он только рукой махнул:

— А я тебя считал за порядочную!

ЧЕЛЯБИНСК

И вот я в Челябинске. Город чужой, знакомых нет. Первую ночь провела на постоялом дворе. В соседней комнате жили казаки. Они всю ночь пьянствовали, орали какие-то дикие песни, ругались. К утру начали драться, бить окна... Мне так и не удалось заснуть.

Утром пошла на рынок искать работу. Рынок в то время являлся своеобразной биржей труда. Десятки женщин становились у какого-нибудь магазина и ждали нанимателя. Наниматель обходил их, осматривал с ног до головы и начинал торговаться. Через эту «биржу» я несколько раз нанималась в прислуги в разные дома. Чего только я не насмотрелась, чего не наслушалась в этих домах!

Для начала я попала в еврейскую семью. Вся семья была в трауре: в Челябинске черносотенцы-казаки устроили еврейский погром и избили хозяйского сына, он пролежал недели две в больнице и умер.

В другом доме я встретила не менее печальную обстановку. Хозяева, судя по всему, были рядовыми служащими одного из уездных учреждений. Сын их Александр сидел «за политику» в тюрьме. Приняли они меня хорошо, но долго жить мне у них не пришлось. Их домик стоял на арендованном у купца участке. Срок аренды истек, надо было возобновлять договор, но купец не захотел иметь дело с семьей, в которой «водятся» политические. После этого меня нанял бритый

толстяк. Мне отвели кухню, которая помещалась во флигеле. Я должна была стряпать и ухаживать за скотом и домашней птицей. Птицы было бесчисленное множество. Пойду во двор, меня обступят с криком и гоготом куры, гуси, индюки. Меня это очень развлекало, я прислушивалась к их разговорчивому говору, затевала с ними разговоры, и порой мне казалось, что я начинаю постигать их языки.

Что делалось в доме и какая там семья, я даже не интересовалась. Живу себе отдельно, стряпаю, ухаживаю за птицей, и только. В дом хожу только два раза в день. Иногда меня поражала пустота и тишина в доме. Стряпаю я очень много, семья должна быть огромной, но где же люди? Выяснить, кто пожирает такую уйму стряпни, было трудно, потому что пускали меня только на белую кухню. В столовой и во всем доме орудовала экономка.

Один раз настряпала я картофельных шанег, которые надо было подать к утреннему чаю. Экономка не могла забрать все сразу — надо было нести шаньги, и сливки, и варенье. Она попросила меня помочь, видимо, не зная, что все уже в доме встали. Мы пришли на белую кухню, а дверь в столовую открыта. Вижу — вокруг стола сидят девушки, их было так много, они были так пестро одеты, что я удивилась. Неужели у хозяев так много дочерей? Или это пришли гости к хозяйским девушкам?

Экономка, не ответив на мой вопрос, поспешно отослала меня обратно на черную кухню. Так я ушла, ничего не узнавши.

Прожила неделю. В преображение вечером я управилась со своими делами и легла спать. Ночью разбудил меня шум. Прислушалась: из дома доносился женский визг, звон посуды, топот... Мне показалось, что мы горим. Я вскочила и опрометью бросилась в дом. Вбегаю в белую кухню — никого нет, а шум в столовой. Я влетела в коридор и столкнулась с пьяным мужчиной. Растрепанный, без пояса, он метался по коридору, хлопая дверьми, и истошно кричал:

— Манька! Где Манька?

Не успела я осмотреться — появилась откуда-то хозяйка. Она испуганно схватила меня за рукав:

— Тебе чего здесь?

— Я думала — пожар...

— Какой тебе пожар, с ума сошла! — закричала она. — Иди сейчас же и спи. Гости приехали, немного выпили, и все тут. Иди, иди, давай, с богом, спи...

Вытолкала меня в сени и закрыла на ключ входную дверь. Иду я и думаю: «Гости... Знаю я этих гостей!»

Перед хозяевами я сделала вид, что ничего не знаю, но после этого стала чаще наведываться в дом. Начала встречаться с девушками, заговаривать с ними. Доверчивее всех ко мне отнеслась самая молодая из них, Зоя. Худенькая, бледная, с большими глазами, она выглядела совсем ребенком. Распусти она на голове уродливую, не по возрасту, прическу, заплети волосы в две косички — каждый бы сказал, что ей двенадцать-тринадцать лет.

Во время нашего разговора наедине она расплакалась и рассказала мне свою историю. Полгода тому назад она пришла в город наниматься в няньки. Родные жили впроголодь, отец не мог прокормить семью в восемь человек. Попав в этот дом, она долго не могла понять своих обязанностей. Ее очень хорошо кормили, одевали и ничего с нее не требовали, разве только иногда просили помочь эконожке собрать на стол. Однажды ночью послали ее в одну из комнат, там был какой-то незнакомый мужчина. Она перепугалась, хотела убежать, но он схватил ее за руку и потушил огонь. Никакие крики и мольбы не помогли, как будто кругом все вымерли...

От других девушек я узнала, что хозяйка за нее получила большие деньги. Зоя пробовала вырваться отсюда, но ей грозили «желтым билетом», написать домой она не могла, так как не знала грамоты.

Я взяла адрес ее родителей, успокоила ее, как могла, и тайно, даже от нее самой, написала им письмо.

Через несколько дней приехал ее отец, щупленький, одетый в заштопанный полушубок мужик. Он робко остановился на пороге дома и спросил, здесь ли живет Зоя.

— Нет у нас такой! — ответила ему хозяйка.

Зою куда-то спрятали.

— Как нет, здесь она — я знаю! — смелее уже начал мужик.

Поднялся спор. Хозяйка вызвала здорового парня, который служил у нее вышибалой. Но вышибить мужика ему не удалось, так как в это время я успела сбегать за полицейским. Полицейский сперва не хотел идти со мной, он считал дом, в который я звала его, порядочным и полиции неподсудным.

Я пошла на хитрости, сказав, что совершается убийство и что ему за это придется отвечать.

Придя со мной в дом, он узнал подлинную суть дела, и ему пришлось сказать хозяевам, что прятать от отца дочь нельзя.

Зою выпустили, она прибежала, бросилась отцу на шею и заплакала. Отец подал ей шаль, шубу, валенки, бережно взял ее на руки, как ребенка, и вынес со двора, словно боясь, что у него могут ее отнять.

Радуюсь своей победе, я начала сближаться с другими девушками. Заметив это, хозяйка заявила мне расчет. Я снова оказалась на улице, без денег и без крова.

ЭРМИТАЖ

В 1912 году я поступила в Екатеринбург посудницей в гостиницу «Эрмитаж».

Зимой со мной случилось несчастье: украли белье. Я осталась, в чем была. Услышали об этом жильцы из двадцать третьего номера. Приходит ко мне молодая скромно одетая

женщина, дает мне две рубашки и приглашает вечером зайти к ней посидеть.

— Муж, — говорит, — приходит поздно, мне одной скучно!

Она понравилась мне своей простотой, не свойственной другим постояльцам, и я, выбрав свободное время, зашла к ней. Ни о чем особенном мы с ней не говорили, но я сразу почувствовала, что она не такая, как все, и что разговаривает она со мной не потому, что ей скучно. Муж ее, Свистунов, считался в гостинице представителем какой-то пушной фирмы. Свиданья наши с этой женщиной стали повторяться. По ее просьбе я рассказала ей про свою жизнь и между прочим про встречу мою с тюменскими революционерами. Вскоре после этого она мне под секретом сказала, что им для одного политического дела нужна надежная помощь.

От волнения я даже не могла сразу ответить, а только схватила ее за руку.

Ну и тут мне не посчастливилось. Через несколько дней я случайно подслушала в прихожей разговор полицейского с нашим швейцаром. Мне стало ясно, что Свистуновых выслеживали. Я тотчас же их предупредила, и они скрылись, даже не сообщив мне, где и когда можно их найти.

А в ту же ночь к ним в комнату нагрянула полиция, но было уже поздно. Полиция перерыла весь номер, спросила, кто их обсуживал. Меня начали допрашивать. Я сказала, что ничего не знаю, что прислуживала им не по своему желанию, а по обязанности. Мне пригрозили арестом, но все же оставили в покое.

часть третья

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

ГОД ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ — КРОВАВЫЙ

В середине июля хозяин гостиницы «Эрмитаж» Урядников почему-то не пожелал больше держать гостиницу, сдал ее другому, а себе купил на Водочной улице дом и меня забрал с собой.

Как-то утром я прибирала в комнатах, и вдруг, слышу, на улице шум. А улица наша была тихая, безлюдная, редко увидишь пешехода.

Я вышла за ворота взглянуть.

Улица оказалась сплошь запруженной людьми, лошадьми и телегами. В телегах сидели люди, по пять-шесть человек в каждой. Одни низко опустили головы, другие уныло пели и безжалостно рвали гармонии. Рядом с телегами шли женщины — многие из них плакали и причитали, как по покойнику.

Я спросила:

— Что случилось? Куда это едут?

— Война...

Мостовая не вмещала толпу. Люди заполнили тротуары, и уже трудно было разобрать — кто идет, кто едет. Со стороны казалось, что лошади, не будучи в силах пробиться через толпу, подминают под себя людей, а те кричат и плачут. А некоторые почему-то поют.

Вот по тротуару идет, судя по одежде, заводский парень. Закинув голову, он отчаянно растягивает гармонь и не менее отчаянно поет:

На что, маменька, родила,
На что имя нарекла?
Двадцать лет меня кормила,
Во солдаты отдала!..

Рядом с ним, ухватив его за рукав, пошатываясь, изредка всхлипывая, тащится молодая женщина.

«Жена или сестра?» — думаю я, наблюдая за ней.

Парень не обращая внимания на женщину, видно, что всем и не думает о песне, а песня сама вырывается изнутри его, и он орет истошным голосом:

Братцы-ребятушки,
Все пойдем во солдатушки.
Девушки останутся,
Ратничкам достанутся.

Вот проезжает телега, в ней трое мужчин и женщина. Один из них в лаптях сидит на облучке; он бессмысленно свесился вперед, словно рассматривает у лошади копыта. Двое, помоложе, сидят в телеге, свесив в разные стороны ноги, соткнувшись спинами, и лузгают семечки. Женщина пожилая, простоволосая, мотает головой, всплескивает руками и уже охрипшим голосом причитает:

— Ой, Степа, Степонец, сыночек мой милый... На это ли я тебя растила-а-а! Ай, да что же это сделалось? Что это повстреча-ло-ся-а-а?!

Вот кляча, притиснутая к тротуару, понурая, вислоухая, никем не управляемая, тащит разбитую, скрипучую тележенку. В телеге лежит вверх лицом пьяный парень. Он что-то мычит, потом вдруг вскакивает на ноги и изо всей силы начинает стегать вожжой лошаденку:

— Ах ты, мать... сволочь!

Лошаденка вздрагивает и еще ниже опускает голову.

А дальше опять поток пешеходов — молодых, бородатых, с котомками, с мешками, среди них женщины, дети, а над ними лошадиные морды с высокими расписными дугами. И не было конца этому шествию. Толпа захватывала и увлекала за собой всех встречных. Я тоже не вытерпела и пошла за ней, еле сдерживая слезы. Вся эта людская лавина двигалась к воинскому присутствию. Дорога шла мимо винного завода.

Когда мы подошли к этому месту, там уже стояла огромная толпа. Все винные лавки по случаю мобилизации были закрыты, а тут — целый винный завод. Передние ряды ломились в закрытые ворота и кричали:

— Давай вина!

Из-за высокого забора показалась чья-то голова:

— Вина нет, вышло все!

— Врете, есть! — загалдела толпа. — Давай, а то мы все разведем по ветру! Нам теперь все равно пропадать!

Люди с криком и руганью навалились на ворота, и они затрещали — вот-вот разлетятся в щепки.

Заводское начальство, предвидя неминуемую опасность, решило выпустить весь спирт из чанов в канаву, которая проходила по задворкам завода, а затем пересекала улицу, соседнюю с той, где была толпа. Винный запах сейчас же привлек внимание прохожих и жителей этой улицы, и с быстротой молнии по всей округе пронеслось известие о том, что по канаве течет водка. Люди прибежали с ведрами, с буйтиями и принялись до грязи вычерпывать канаву. Толпа

мобилизованных, бросив штурмовать заводские ворота, тоже ринулась к канаве. Те, кто не имел с собой посуды, пили пригоршнями, другие — нападкой. Многие так ослабели от опьянения, что тут же падали и засыпали. Началась такая свалка и давка, что я еле живая выбралась из толпы и только к обеду, измятая и потрясенная всем, что видела, добралась, наконец, до дома.

Чтобы как-нибудь отвлечь народ от опасных мыслей и чувств, возникавших в связи с мобилизацией, в городе были организованы «народные развлечения» весьма грубого и примитивного свойства. Я видела такие, например, сцены: посреди толпы очищен круг вроде цирковой арены, в кругу бегают тощий, замученный человек в пестром цирковом наряде... Другой человек — тоже, видимо, из цирковых служащих — стоит с часами в руках и всякий раз, когда скороход заканчивает круг, объявляет, сколько минут длился пробег. Первые круги скороход бежит медленно, но затем с каждым разом увеличивает скорость и под конец мчится с такой быстротой, что трудно следить за ним глазами.

Публика безмолвно смотрит на это представление и как будто недоумевает — зачем это ей показывают.

В другой раз я видела человека, который ходил по канату.

Для этой цели около Сплавного моста была поставлена на высоких столбах вышка. От земли до вышки шел натянутый наклонно канат. Из толпы вышел человек в трико и в белых туфлях, без каблуков. Сделал публике руками приветствие и, поставив сперва одну ногу на канат, попробовал, насколько он натянут. Потом встал на него обеими ногами и медленным шагом, все время балансируя руками стал подыматься вверх по канату.

Публика, затаив дыхание, смотрела за его опасной прогулкой. Того и гляди, сорвется и упадет! И чем выше он поднимался, тем больше публика волновалась. Кто-то даже крикнул от испуга:

— Ой, упал!

Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, акробат не добрался до вышки. Тут все вздохнули с облегчением и захлопали в ладоши. Акробат раскланялся, винтом спустился по столбу на землю и стал обходить зрителей, собирая деньги.

— Для чего это такие страсти показывают? И без того тошно! — говорили в толпе.

— Деньги на войну собирает, — объясняли одни, а другие шептали:

— Не иначе, как немецкие шпионы!

Не знаю, откуда они брались, но город был полон слухами о немецких шпионах.

Приходилось мне в те дни наблюдать также зрелища и другого рода.

На Сенной площади я наткнулась на такую картину: в четыре шеренги квадратом стоят солдаты без шапок. С ружьями и в полном походном обмундировании. В середине на сколоченном из досок помосте попы только что, видимо, окончили напутственный молебен. Архиерей говорит речь:

— ...Вражеская сила напала на нас, чтобы отнять нашу землю, разрушить наши дома, наши храмы и осквернить нашу святую православную веру! Но господь справедлив и велик, он не попустит такого поношения. А тем, кто умрет за нашу святую родину, за царя и за веру православную, тем уготовает он жизнь бесконечную и венцы нетленные в лоне Авраамовом...

«Венцы нетленные, — думала я, — а на что они нужны?»

Передо мной стояли молодые здоровые люди — молодец к молодцу. Я осмотрела все шеренги — нет ли знакомых — и тут же почувствовала, что не надо мне искать знакомых — все солдаты вдруг стали мне близкими, родными, и всех их мне стало до слез жалко: таких молодых и ведут, как баранов, на убой.

В это время поп кончил свою проповедь и взмахнул в воздухе большим серебряным распятием. Раздалась команда, солдаты надели фуражки. Взяли ружья на плечо и, построившись по-взводно, ударили все враз ногами о землю.

Заиграла медная музыка.

Публика тоже надела шапки и, как с похорон, стала расходиться. Лица у всех были угрюмые.

Позже я узнала от одного раненого солдата, что этот полк прямо из вагонов попал в сражение и в первый же день почти целиком был уничтожен немцами.

Все и приобрели себе «нетленные венцы»!..

ОПЯТЬ БОЛЬНИЦА

Я снова работаю в больнице, на этот раз в отделении для душевнобольных. Народу — полные палаты. Главная причина заболеваний — война, мобилизация.

Если бы не дневник, который я вела в бессонные ночи, если бы не эти беседы мои с собой, я, наверное, и сама попала бы в буйную палату — столько мне пришлось видеть человеческого горя и страданий!

Вот некоторые страницы из моих записей.

«Новый год» (1915). Что ты несешь мне, новый год, радость или горе, надежду или разочарование?.. Впрочем, сегодня не надо омрачать себя, будь что будет. Я сегодня не плачу. Уже за полночь. Время спать... Буйных у меня сегодня нет, может быть, засну...

20 января. Сегодня я приняла двух больных новобранцев с юга. Оба больны чесоткой. Как они тоскуют о южном солнце, о родине, от которой оторвала их война!

22 января. Вчера ко мне положили душевнобольного. С виду он совершенно нормальный человек. Я отвела его

в палату для «тихих». У него убили на войне сына, и эта печаль довела его до болезни.

Перед самым обедом он подошел ко мне и говорит:

— Заприте меня куда-нибудь покрепче, да чтобы народ не видал!

Я поместила его в палату для буйных. Он прошелся по ней раза два, потом снял с себя халат, рубашку, кальсоны и остался совершенно нагим. Белье подал мне через окошечко.

— Уходи, не смотри, — сказал он глухим голосом.

Я притаилась у дверей и жду, что будет дальше. Несколько минут больной посидел спокойно, затем вдруг перевернулся вверх ногами и стал колесом через голову кататься из угла в угол по палате. Докатится до угла, перевернется и обратно. И так до тех пор, пока, выбившись из сил, не свалился на спину и не захрипел.

Я тихонько вошла в палату, прикрыла больного одеялом и побежала за фельдшером.

24 февраля. У меня почему-то особенно родственное чувство к двум больным, поступившим к нам 20 января. Мне особенно жаль маленького, черненького — ведь он совсем еще мальчик. Какой он солдат?!

25 марта. Сегодня выписали почти всех больных, в том числе и черненького. Он простился со мной, как с родной матерью. Остались только двое. Один из них вторую неделю ничего не ест. Доктор попросил меня:

— Ты как-нибудь узнай, почему Игнатьев не принимает пищи?

Вечером я вызвала Игнатьева к себе в комнату и накормила ужином. Как он кушал с голодухи! Он мне все рассказал, заставив меня предварительно поклясться, что я его не выдам.

— Видите ли, — начал он, — родители у меня старообрядцы. Когда меня забрали в солдаты, они мне говорят: «Если ты хоть одного убьешь на войне, на глаза не показывайся, мы те-

бя проклянем». Да я и сам знаю, что убивать — великий грех. Что же мне делать? Вот я и надумал уморить себя голодом, может быть, от этого болезнь какая приключится...

Мы с ним долго судили-рядили, как делу помочь.

Мне пришла в голову удачная мысль.

— Ты грамотный? — спрашиваю его.

— Грамотный!

— Хочешь учиться на фельдшера? Я найду книгу, и, покуда ты здесь, ты ее вызубри, а когда придешь в казарму, заяви, что понимаешь в медицине. Тебя отправят в школу, а потом в лазарет. Вот и не попадешь в окопы и убийцей не будешь!

От моего предложения он чуть мне в ноги не бросился...

26 марта. Дала Игнатьеву обещанную книгу. Он посмотрел в нее и сокрушенно сказал:

— В ней много по-латыни, а я не умею!

Пришлось опять его успокоить:

— Ты читай, что напечатано по-русски, а насчет латыни не беспокойся! Как-нибудь устроим!

Начал он читать не отрываясь.

Сегодня положили еще одного новобранца. Этот, кажется, из интеллигентов! У него сильная чесотка! На руках пальцы разъело, а живот и ноги — сплошная короста! Где они ее берут, такую сердитую?..

30 марта. Поступил больной с припадками. Мне кажется, что припадки напускные. Чесоточный больной тоже у меня на подозрении. Чесотка вызвана искусственно. Но чем? Никак не могу добиться. Молчит. Пока что заставила его обучать Игнатьева латыни.

1 апреля. Так и есть — припадки напускные. Цель все та же — отбиться от военной службы. А припадки он делает плохо, все равно узнают. Мы с ним долго беседовали, и я предложила ему подготовиться на повара. Достали на кухне поваренную книгу, и он целыми днями учит ее, как молитвенник. Теперь у меня целая школа!

На одной койке изучают фельдшерское искусство, на другой — поваренную книгу. Глядя на них, пришел ко мне еще один больной и попросил научить его грамоте. Азбуки у меня не было, я дала ему песенник, по нему он и учится. Грамота ему дается с трудом. Покажу ему букву, а он ее до дыр изотрет ногтем. Над ним смеются:

— Вот буквы и нет, всю съел!

— Ничего, — говорит, — теперь она у меня в голове!

И радуется, как ребенок.

23 апреля. Выписались мои ученики, заходили в канцелярию и благодарили смотрителя за меня. Смотритель позвал меня и спрашивает:

— Чем это ты им так угодила?

Так вот я ему и скажу! Нашел дуру!

12 мая. Первое письмо получила от Андрея (это тот маленький, черненький). Обращается ко мне, как к матери. Ну что же, своих детей нет, пусть будет мне вроде сына! Послала ему на фронт посылку. Не знаю только — дойдет ли?

15 мая. Получила письмо от Игнатьева:

«Здравствуй, дорогая Груша Гавриловна!

Шлю я вам низкий поклон и от души желаю вам всего хорошего на всю вашу жизнь. Я сдам в скором будущем экзамен на фельдшера, а в настоящее время заведу палатой, в которой находятся двадцать шесть больных. Никогда я вас не забуду, дорогая Груша. Ведь не подучи бы вы меня, век бы мне к этому не пробиться.

По гроб жизни ваш

И. Д. Игнатьев».

Как рада я была, получив это письмо, как горда собой и этим новым фельдшером.

На лицевой стороне письма лубочная картинка: «доблестные» солдаты рубят в куски отступающих в панике немцев... Ниже — отпечатанное в типографии стандартное письмо, которое может подойти к любым адресатам.

«Дорогие и любезные родные и знакомые!

В первых строках моего письма спешу уведомить вас, что я по милости всевышнего жив и здоров, чего и вам от глупины души желаю. И сообщаю вам, что службой я доволен и начальство у меня хорошее. Так что, дорогие мои, обо мне не печальтесь и не кручиньтесь, а присылайте мне почаще о себе весточки. Когда я читаю ваши дорогие письма, то мне кажется, что я вижу вас, слышу ваши разговоры, и легче становится мне тогда на душе. А покамест да пошлет вам господь бог наш здравие и благоденствие на многие лета! И прошу вас, отпишите мне, дорогие мои, подробно обо всем, как живете да поживаете? И еще, прошу я вас, передайте нижайший поклон дорогим братьям и сестрам, а также родным да друзьям-товарищам. Затем — до свиданья.

Остаюсь горячо любящий...

Дозв. воен. ценз. Екат. 22 октября 1916 г.

Екат. типогр. Вильтер».

Кроме этих писем были еще и от других моих пациентов. Меня позвали в канцелярию и спрашивают:

— От кого это ты получаешь письма?

— От больных.

— Что они тебе пишут?

Я тут же при начальстве разорвала конверт и, не читая, подаю им:

— Если вас интересует — вот почитайте!

Взяли, почитали. После этого письма мои начали теряться в канцелярии. Сиделки мне сообщают:

— Тебе там письма!

Приду в канцелярию, спрашиваю:

— Где мои письма?

— Не знаем.

Я поняла, куда они отправляют мои письма, и сообщила всем моим корреспондентам, чтобы они мне не писали.

За время войны в моем отделении больные были смешанные: тут и новобранцы с чесоткой, и помешавшиеся ратники, раненые солдаты, а в 1916 году начали поступать военнопленные. К больным такого рода я старалась относиться хорошо, старалась как можно внимательнее изучить больного, узнать, на чем он помешался, и сделать так, чтобы отвлечь его от тяжелых мыслей. Никто меня этому не учил, и первое время мне приходилось очень трудно, и бывали тяжелые неудачи. Однако я добилась все-таки своего, и это мне очень помогло в работе.

Однажды привезли к нам раненого матроса. Дня три он сидел, думал и ничего не говорил. Потом стал рассказывать, как служил во флоте, как получил ранение. Попросит меня выпустить его — я выпущу. Он посидит, поговорит с больными и сам уйдет в свою камеру. Никакого подозрения он мне не внушал. Я еще думала: «Наверное, притворяется больным. Просто отдохнуть от войны захотелось». Как-то раз он мне говорит:

— Я что-то есть захотел.

Я подала ему кусок хлеба:

— Вот поешь, пока я схожу за ужином.

Он взял хлеб и ушел в свою комнату.

Принесла я ужин и подаю ему в окошко:

— Возьми ужин, — а он стоит и не шевелится.

Я удивилась: почему он такой высокий? Наклонила голову, посмотрела, а он висит! Я отперла дверь, бросилась к нему разрезать лямку, чиркнула ножом — нож не берет. Я скорее постучала в стену рабочим — они жили за стеной, — сама опять с ножом около него, а руки дрожат, и нож валится... Прибежали рабочие, сняли его, но уже было поздно...

Я так перепугалась, что после этого случая заболела.

Но не ко всем больным я относилась одинаково. Помню, привезли к нам богатого купца, буйно помешанного. Пьянствовал он, пьянствовал и довел себя до буйного помешательства, совсем стал умалишенный. От его жены я это узнала.

Смотритель дает распоряжение:

— Дай ему койку, лучший матрац и самое лучшее белье!

Я возражаю:

— Да ведь он все изорвет!

— Не твое дело — дай!

Зло меня разобрало, думаю: «Как богатый сдурел, так дай ему лучшее белье, а коли бедный, так валяйся на досках».

Но ничего не поделаешь, выдала все по приказу, закрыла больного на две палки, вбила клинья — чорт с тобой, шуми!

В ту же ночь он изорвал белье, простыню, подушку, матрац — все на ленточки. Отодрал от койки зубами щепу, выбил окна, застудил всю камеру. Утром бегаёт нагой и буянит. Гляжу я на его безобразие и думаю: «Пока ты тут пьянствовал да кутил, там за это время немало людей, наверное, погибло!» Когда он пришел в себя, начал просить меня:

— Дайте белье!

— Нет, не дам!

— Я деньги заплачу!

— Пока ты пьянствовал да буянил, — отвечаю я ему, — там, наверное, тысячи бедняков головы сложили. А за что? За какую вину? Все из-за вас, богатеев толстосумых... — Уж я ему тут все выговорила, что у меня наболело. — Посмотри-ка, чего ты наделал, какую гору рваной материи набросал?! Не дам больше белья рвать, пока не успокоишься.

Пришел фельдшер, я ему показываю:

— Полубуйтесь, что он наделал!

А фельдшер тоже не любил пьяниц, да и белья ему жалко — отвечать за белье придется. Он велел надеть на купца смирительную рубашку.

Никогда не забуду еще одного больного. Он был до того здоровенный, высокий и широкоплечий мужчина, что один вид его уже внушал страх. Я спросила у его жены:

— На чем он помешался?

— Да вот, как подошел набор ратников, он думал-думал и вообразил себя царем!.. Ты уж, голубушка, присмотри за ним, может быть, здесь он успокоится.

Закрыла я его в камере и занялась своей работой.

Вечером он кричит:

— Сестра!

Я уже знаю, что раз подходит ночь, значит, надо держать ухо востро. Подбежала к окошечку и спрашиваю:

— Что изволите, ваше величество?

— Почему меня заперли?

— Из предосторожности, ваше величество, вы ведь знаете, какое теперь беспокойное время, вот мне и поручено вас охранять...

— А это что за люди? — указал он на больных в коридоре.

— А это солдаты, ваша охрана.

— Ага, хорошо! Пусть пока отдыхают, и я отдохну! — сказал он и спокойно лег на койку.

Больные, услышав наш разговор, начали было смеяться:

— Ну и сестра, придумала ведь, как назвать: ва-ше величе-ство!

Еле уговорила я их молчать.

А больному понравилось, что я его так величаю, и он все время, пока был у меня в отделении, держал себя смирно.

Приду в канцелярию, там меня спрашивают:

— Ну, как твой царь?

— Ничего, молчит покуда!..

Все хохочут:

— А как ты догадалась его так величать?

— Практика научила. Если кто не умеет врать — в буйной научится.

Настал день отправки больного в Пермь. Пришла сестра, которая заведывала отправкой. Подали лошадь с полицейским. Я предупреждаю сестру, как с ним нужно обходиться. Она даже обиделась:

— Я сама знаю, как с ним обходиться.

Я ничего больше не стала говорить, думаю: «Дело твое». Только спросила ее:

— Может быть, смирительную рубашку надеть?

— Не надо.

Я принесла одежду в палату и предлагаю больному:

— Давайте будем одеваться, ваше величество!

— А куда ты меня провожаешь?

— В Петроград. Во дворец вас приглашают.

Он засмеялся:

— Ага, вспомнили обо мне!

Вывела я его во двор, а там народ собрался смотреть, как царя отправляют. Смеются над ним. Увидел он полицейского и остановился.

— А это кто?

У меня все поджилки затряслись.

— Это ваш провожатый в дороге.

Больной вдруг как вырвется, как закричит:

— Врете! Вы меня на войну отправляете!

И бросился на толпу. Еле с ним справились. Сила у него оказалась страшная. Подбегут к нему служащие, а он как развернется наотмашь, так они от него и летят кубарем. Под конец догадались веревкой его скрутить. А я целый месяц ходила к нему в палату одна и не боялась.

Как я уже говорила, в 1916 году в больницу стали поступать военнопленные.

Военнопленные поступали теперь в больницу десятками. Почему их помещали в наше отделение для душевнобольных, я не знаю. Может быть, потому, что в этом отделении окна были с решетками и двери на замках — убежать нельзя. Первое время между ними и нами, русскими, чувствовалась настороженность и недоверие. Доктор даже напомнил мне:

— Как ты ходишь за русскими больными, так же и ухаживай за военнопленными. У нас ведь больница, врагов нет, есть только больные!

Он, чудак, был убежден, что я патриотка! Все это были люди, привыкшие к труду, а в больнице какой труд? Понятно, что время проходило в разговорах. Многие из пленных

уже говорили немного по-русски, а некоторые даже читали. Я ежедневно покупала газеты и телеграммы, которые печатались отдельно. Больные их читали и обсуждали. Патриотов среди них было мало. Большинство же при одной только мысли, что они опять могут попасть на фронт, начинали тяжело вздыхать, а иные сердито браниться.

Больше всего они говорили о родине, о семье, писали домой письма и просили их отправить. Я охотно выслушивала их длинные и часто непонятные рассказы, и это нас понемногу сближало.

Я получила письмо от одного из своих бывших больных. Он мне писал:

«Что слышать у вас в тылу насчет войны? У нас кто кричит — кончать скорей войну, а кто кричит — до полного разгрома немца. Я подписуюсь на тех мнениях, чтобы кончать войну. У кого нет ничего, тот не будет кричать — война до победы, потому что у него несколько сыновей на войне, а дома нищета и голод. А кто хочет вести войну до победы, тот пускай приходит на наше место, ложится в окопы и подставляет свою голову. Пускай он посидит столько без хлеба и пищи, во вшах и крови, как мы, тогда послушаем, что он закричит...»

Это письмо я получила через одного солдата, который попал в наш город.

Я пошла на риск. В палате лежал один русский, остальные немцы. Я прикрыла дверь, взяла и прочитала вслух это письмо.

Многие из немцев поняли, которые не поняли — им перевели товарищи. Какая в этот вечер была у нас беседа! Русский солдат говорил больше всех, и все его слушали.

Появилась у нас в больнице политическая литература. Чтобы нас не накрыли, я притащила библию. Она всегда лежала на столе. Как только идет кто из администрации, больные раскрывают ее, как будто читают...

1917 ГОД

1 марта. Больница переполнена. Больные возбуждены, требуют газет, требуют доступа к ним родных и знакомых. Администрация не разрешает. Над военнопленными установлен особый надзор.

Сиделка принесла из города ошеломляющую новость:

«Царь отрекся от престола».

Как? Почему? Что будет дальше? Что нужно предпринимать нам?

10 марта. У нас почти все побежали в город. Вырвалась и я. Подхожу к воротам, а в парадном стоит смотритель со всем своим семейством. У всех — и у жены и у детей — красные банты на груди, у самого же смотрителя лента длинная, пышная, по всей груди растянулась.

«Ему-то зачем лента? — подумала я. — Надел бы свою цепь с бляхой, она ему больше подходит».

И удивительно, посмотрел он на меня и ничего не сказал, даже не спросил, кто остался в палате. А раньше никогда не пропускал, не допросив.

Бегу и ног под собой не слышу, кажется, сквозь каменные дома вижу, что делается на Главном проспекте. А там музыка. По улице, над самой мостовой, движется огромная туча: снизу — черная, сверху — красная. Двигается, и нет конца этой туче, подожженной сверху. Подхожу ближе — сколько людей!.. Сотни, тысячи... Даже не верится, что в нашем городе столько народу. Я с жадностью слежу за этими полотнищами, мне хочется прочитать написанные на них слова, понять их.

Идут войска размеренно и четко, у каждого солдата на груди красный цветок; даже штыки у них расцвели маленькими красными цветочками. За солдатами идут рабочие, служащие. Знамена, знамена... Сколько знамен!..

Церковь закрыта. Около нее ни души. Словно вымерли те, кто мог бы ее открыть.

На панели продаются книги. Подхожу, роюсь: «Что такое республика», «Что такое советы», «Революционный словарь».

Вот плетется какая-то странная группа — большинство женщины. Какая убогость, так во всем и сквозит бедность, нужда. И попик с ними! Вот диво — один единственный с празднующими.

«Это беженцы, — догадываюсь я, — ведь их очень много в Екатеринбурге».

Эту группу сзади подпирает мощная колонна с большим тяжеловесным знаменем. Какая сила, какая мощь в этом знамени, какая уверенная поступь у знаменосца. Это высокий широкоплечий мужчина в слегка засаленной блузе... Я даже вижу синие узлы вен на его руке, сжимающей коричневое древко знамени.

Эта колонна поднимала вокруг себя вихрь, народ целыми толпами устремлялся за ней.

— Советы, советы идут!

А какое знамя! Что на нем написано? Ветер отшибает полотнище, я не могу прочитать, но чувствую в своей руке купленную книжку «Что такое советы». Дома узнаю.

...Накормила больных, и мы принялись за книжки. Читали до двенадцати часов ночи.

11 марта. Все наши служащие бегают с красными ленточками, тараторят, смеются. Смотритель сегодня к нам даже не зашел. Я ходила в канцелярию с порционной — какой он сегодня угодливый! Даже спросил:

— Была ли ты вчера на празднике?

Вечером мы опять читали книжки, которые я купила на улице. Мнения больных разделились: одни говорят, что надо советы, другие за Учредительное собрание. Я как-то запуталась, мне непонятно: если при тех и при других не будет царя, если и те и другие за народное управление — какая разница? Надо снова читать. Надо сходить в город... Не может быть, чтобы разные партии были за одно и то же.

17 марта. У нас в канцелярии собрался попечительский совет. Низшему персоналу объявили, что каждый может заявлять о своих нуждах. Совет посмотрел и говорит:

— А почему ничего нет от сиделок? Ведь их в больнице большинство — около пятидесяти процентов.

Я собрала сиделок; они в полной растерянности, не знают, о чем и как заявлять. Взяла я это дело на свой страх и риск.

Припомнила я все, что слышала о требованиях рабочих в старое время, что вычитала в книжках, слышала на митингах.

Написала семь пунктов:

1. Отменить грубое обращение высших служащих с низшими.

2. Уравнять стол низших служащих с высшими.

3. Дать сиделкам один выходной день в неделю.

4. Отменить стирку халатов самими сиделками и возложить таковую на прачечную.

5. Прибавить жалованье сиделкам, работникам по двору и кухонным работницам.

6. Выдавать сиделкам халаты от больницы, освободив их от необходимости покупать халаты на свои средства.

7. Дать сиделкам и низшим служащим сухие и теплые квартиры или комнаты.

Долго спорили, но под заявлением подписались все. Но как же передать это заявление? Мне нельзя — я на замечании, — другие боятся. Поручили это сторожу, работающему при канцелярии. Первый вопрос — о грубом обращении с низшим персоналом — оставлен неразрешенным до ближайшего собрания больницы, а все остальные были разрешены в нашу пользу.

На второй же день сиделкам выдали халаты и предупредили, что в стирку их можно сдавать в прачечную.

Значит, два пункта уже выполнены!

Пришли на кухню за улучшенным обедом — надзирательница надулась, выдает и ворчит:

— Сколько мяса лишнего надо, сколько новой работы пришло!

А мы получаем и думаем: «Ладно! Ворчать-то ворчи, только обед давай».

Слух о наших успехах разнесся по другим больницам. У нас появились делегации — все требовали разъяснения, как и что нужно делать, какие на этот счет есть права. Наш коллектив незаметно превратился в городской штаб сиделок, а я — в начальника этого штаба.

Я с каждым днем становилась смелее, увереннее. Хотелось бы пойти на какой-либо более серьезный шаг.

25 марта. Сиделки где-то слышали, что нужно послать от низших служащих больницы представителя в управу. Бегут ко мне:

— Слушай, как быть?..

— Тихонько позовите сиделок во двор! — я указала, куда собираться.

Сбежались сиделки, начали перебирать всех служащих, кого выбрать.

Хотели меня послать, но я отказалась.

В конце концов остановились на кандидатуре заведующего аптекой — Бабине.

Бабин созвал собрание служащих и среди других вопросов поставил наш — сиделок — вопрос об удалении из больницы надзирательницы. Начались споры: одни начали защищать надзирательницу, другие же кричат:

— Долой ее! Нас — большинство, и пусть ищет себе другую работу!

Кто-то из сиделок в сердцах крикнул:

— Уходи, куда мы не выкатим тебя в тачке!

Надзирательница стала угрожать:

— Я еще поборюсь с вами!

3 июня. После обеда у нас было общее собрание. Обсуждали разные вопросы по работе больницы и уже в третий

раз — о надзирательнице. Я вместе с сиделками составила по этому поводу резкое письмо и передала его Бабину — нашему представителю, который прочитал его на собрании. Письмо было подписано большинством нашего персонала, и потому собранию пришлось с ним считаться. Сколько ни защищали надзирательницу ее друзья, но большинство перебили, и Фоминой было категорически предложено оставить больницу.

Вот каким образом мы начали выживать крыс из нашего дома. Мы почувствовали под ногами почву. Мы становились людьми.

8 июля. Сегодня прочитала в «Правде», что 5 июля на каком-то собрании Рябушинский сказал свое злобное слово против бедного народа: «Надо задуть их костлявой рукой голода!» А зритель наш говорит:

— Вы смотрите, голосуйте только за список № 6... Это наша партия, народная партия...

А в этой партии Рябушинский! Ага, значит, и наш зритель такой же палач... И я еще пуще возненавидела его.

У нас в больнице все служащие были под влиянием смотрителя, и никто толком не знал, какая партия наша и за что она борется...

— Чорт его знает, какой лучше опустить номер, чтобы и для себя было хорошо и от смотрителя не попало!

Удивляюсь, почему из города к нам никто не пришел, не разъяснил нам суть дела. Сойдемся мы где-нибудь в углу-ке и шепчемся:

— Ты какой номер будешь опускать?

— Шестой, а ты какой?

— Что ты — шестой?! Да ведь там все богачи... Я думаю — пятый!..

— А смотритель же наказывал шестой!

— Мало ли что наказывал! Ты думай о себе, а не о смотрителе... В шестом номере и он будет, а ты за него будешь

голосовать?! Нет, шестой не буду опущать. Если не пятый, то какой-нибудь другой, но не шестой!

Бродили мы, как в потемках, и некоторые действительно голосовали за номер шесть, но больше опускали в урну второй номер, эсеровский. Десять из нас голосовали за пятый номер, за большевиков, хотя, по правде говоря, никто из нас по-настоящему не знал, что за люди большевики и чего они добиваются. Знали только, что большевики стоят за бедных, — вот и все.

Летом 1917 года мне дали на месяц отпуск из больницы, и я уехала к себе на родину, на Ревдинский завод.

Как-то утром я пошла прогуляться. Подхожу к заводской горе и вижу: вся гора усеяна народом. Поднялась на гору, смешалась с толпой, спрашиваю:

— Зачем собрались?

— Не знаем, — отвечают.

Народу много, а все как будто кого-то ждут.

Через несколько минут слышу, кто-то властно заговорил:

— Товарищи, считаю митинг открытым!

Все повернулись к говорившему. Оратор говорил минут десять. После него выступали от социалистов-революционеров, от демократической партии, от меньшевиков, но фамилии ни одного из ораторов не запомнила. Потом объявили:

— Будет говорить представитель партии большевиков.

О чем он говорил — не помню, только помню его последние слова:

— Поднимайте свои знамена, вставайте под них и пойдем!

Я думаю: «Куда же они хотят пойти?.. И под которое знамя мне встать?!» На знаменах лозунгов прочитать на могу, ветер сильно бьет, а знакомых никого не вижу, чтобы спросить. И пошла я с задними рядами. Вижу, большевик тут. Спустились с горы и двинулись по Красной улице на кладбище, на ту могилу, на которую мы когда-то заходили с бабушкой... Вспомнила я бабушку и сердце у меня защемило. У могилы поставлена трибуна, а на трибуне развевались красные зна-

мена. Вошли на трибуну трое — и опять начались речи. После них поднялся большевик и начал говорить. Не слышно мне его слов, относит их в сторону ветер, но я хорошо заметила перемену на лицах тех, кто стоял около трибуны. Первых ораторов слушали как-то вяло, даже переговаривались между собой, а как только большевик бросил в толпу слово «товарищи», все сразу повернулись к нему и притихли.

Я протискалась вперед, к самой трибуне.

— ...Эта братская могила, — говорил большевик, — почти целое столетие была заброшена. Первое время к ней и близко никого не подпускали, а потом рождались новые люди и постепенно начали забывать, кто тут лежит. А ведь здесь лежат наши предшественники — борцы за свободу. Эта могила имеет для нас большое значение!..

В кратких словах он обрисовал картину расстрела кучекладов в 1841 году...

Я вспомнила, как бабушка говорила мне когда-то, что тут много братьев убиенных... Теперь только я поняла, какие здесь братья...

Не помню, в каком именно месяце состоялся в Екатеринбурге учительский съезд. На съезде много было споров, на какой стоять платформе: на советской или на демократической. Одна какая-то гранд-дама мне очень запомнилась. Она все время раздирала себе грудь, доказывая, что при советской власти погибнет культура. Ее поддерживали пожилые учителя, а молодежь защищала советскую власть. Дошло до баллотировки. Когда сосчитали голоса, на стороне молодежи оказалось большинство. Молодое учительство предложило основать сибирский учительский союз. Опять поднялись споры, и опять гранд-дама кричала громче всех. Но большинство снова оказалось на стороне молодежи. Окрыленная победой молодежь предложила немедленно исключить из школьной программы «закон божий». Трудно вообразить, какой поднялся шум, гам, крик!.. А я слушала и радовалась: «Раз взялись за бога, значит, дело серьезное».

В дни Великой Октябрьской революции было собрание в городской управе. Председатель долго и непонятно говорил собранию:

— Мы, знаете ли, не будем шататься ни вправо, ни влево: будем в середине...

Мы не поняли: в какой середине, почему в середине... Потом кто-то прибежал и шепнул что-то председателю. Он сейчас же объявил, что Железнева арестовали. Какого Железнева, кто арестовал, не понимаем! Однако выбрали двух делегатов ходатайствовать об освобождении Железнева. Вскоре делегаты вернулись ни с чем. Им сказали, что Железнев — политический враг, поэтому освободить его нельзя. Сидим, шепчемся.

— Да постой ты, чего-то о малярах говорят!

— Где?

— Да вот сейчас сказали морально. Ведь маляры — марают...

— Не маляры, а, наверное, маралы, олени.

Слушаем:

— А что это: «принцип»?

— Должно быть, какая-то машина, прицепляет чего-то.

— Гляди — мужик спит!

— Это возчик, на конях работает, встает рано, вот и спит.

Подле меня сидит какой-то сторож. Он сонно говорит мне:

— Для чего нас зовут сюда, чорт их знает... Я ничего не понял, уж лучше бы дома спал, а теперь отсюда надо итти в караул, не выславшись!..

Слушаешь и не знаешь: смеяться или плакать...

У нас в больнице все по-старому, разве только ругать перестали. Смотрителя мы боимся попрежнему. Правда, часто бывают собрания, но все уже к ним привыкли, и ничего нового на них не услышишь.

Мы, старые сиделки, числимся теперь сестрами, жалование получаем как сестры, и мытье полов с нас сняли, а другие работы не изменились, только прибыло больше укоров:

— Вы ведь сестры!

В личной моей жизни произошло крупное событие: у меня появился сын. Я уже упоминала раньше о раненом солдате Андрее — черненький такой, — который писал мне письма. Он получил отпуск после ранения и приехал на два месяца ко мне. Вот я и представила его себе вроде сына и все, что только могу сделать хорошее, все теперь делаю для него.

1918 ГОД

Вот, наконец, и до нас дошла очередь, и у нас произошел переворот — из больницы убрали надзирателя. Скатертью дорога! Довольно гнуть нас в дугу, прошло твое время, довольно угощать нас каждый день чертями, как сладким блюдом к обеду. И нужно только видеть, как его сподвижники притихли! Какие все ходят вялые, втянувши головы в плечи, и даже ногами ступают остороженько, точно боясь, чтобы кто их не услышал. А ведь еще недавно они были гордые, высокомерные, недоступные и как издевались над нами! Но пришел конец ихнему царству! Ура!

10 апреля. Какой хвост, какая давка за мануфактурой! В три ряда. Писк, рев. Кого-то чуть не раздавили.

15 апреля. Опять сегодня ночь не спала: больной всю ночь шумел. О, когда же я отдохну?! Наверное, тогда, когда закроется крышка моего гроба. Только тогда я буду спать спокойно и безмятежно.

1 мая. Праздник трудящихся. А мне не пришлось даже сходить посмотреть, как проводят теперь люди этот праздник. Меня загрузили работой так, что нельзя было отлучиться ни на минуту. Эх, скоро ли я буду вольной птицей?..

10 июля. На станции тревожные свистки. Вот и на мельнице засвистел гудок. Что же это такое?! Тревога?!

Говорят, что чехи в двенадцати верстах от города. Слышны выстрелы. Если наши отступят, что же будет тогда с нами?

11 июля. В городе творится что-то неладное. Не знаешь, кому верить, кого слушать, что будет с тобой завтра. Народ волнуется. Говорят, что совет уезжает из города!.. Что же будет с нами?

Наша сиделка узнала, что организовался новый союз, в который входят: кучера, горничные, кухарки и прочие. Мы, сиделки, тоже хотим туда записаться. В управе ведь только богатые. Если что случится, управский союз будет защищать богатого, а не нас, голытьбу... Нам нужен другой союз, союз бедняков, пролетариев... Я подумала над этим и пошла искать новый, наш союз. Оказывается, он на Успенской улице, № 52. Заплатила вступительный и членский взносы, мне выдали билет. Теперь я член союза, теперь я в массе, в коллективе.

13 июля. Сегодня приходили наши дорогие товарищи прощаться с нами. Совет уже выехал из города. Все уезжают, оставляют нас сиротами. Я просила взять меня с собой, они мне сказали, что и здесь, в городе, кому-то надо оставаться...

— Ты уже немолодая, на тебя не подумают, ну и проживешь, покуда мы вернемся...

А скоро ли они вернуться? Что будет с нами, когда придут чехи? Как жутко, страшно! Я уверена: рано или поздно, а советская власть к нам еще вернется.

Вчера и наш представитель Бабин уехал из города. Он ехал мимо нашего окна, а мне ему даже поклониться было нельзя: кругом был чужой народ.

Перед отъездом совета нам объявили:

— Кто делал вклады в сберегательную кассу ревкомитета, идите скорее, берите деньги обратно!

У меня оказалось сбережений сто рублей с копейками. Сто рублей — ведь это целое состояние! В канцелярии всем выдали жалованье вперед за месяц.

— Неизвестно, — говорят нам, — что будет с вами, когда придут чехи, а с деньгами вы все же будете хоть немного обеспечены.

Такая забота о нас советской власти заставляла нас плакать...

В тот же день, как большевики ушли из города, нам объявили, что больше мы не сестры, а опять, как прежде, простые сиделки. Я собралась было уйти из больницы, но Андрей — он служит теперь тоже в больнице — меня удержал:

— Не такое теперь время, чтобы оставаться без работы!

Ждем, что будет.

Ночь на 14 июля. Прекрасная ночь с прозрачным звездным небом. На юге тонкое узорчатое облако, а над ним хрупкий месяц, точно серебряный аэроплан, наблюдает, что творится на земле. Хорошо, тихо, только бы любоваться красотой природы, но в сердце тревога. Чувствуется, что над городом и нами невидимо висит какая-то опасность... Слышатся тихие, тревожные голоса людей. Чу, залп из орудий. Часы бьют два часа ночи. Еще и еще выстрелы. Это подходят чехи...

14 июля. Ночь и утро тревожные. Вся больница в страхе. Но мне почему-то не страшно, а даже весело. То ли потому, что моя жизнь всегда протекала в тревоге, то ли что другое меня подбадривает, — уж не знаю. Люди трепетали при разрывах шрапнели. Одна из наших сиделок, как только разорвался поблизости снаряд, сразу упала со страху. Мне стало противно, что она смалодушничала.

— Если ты боишься, зачем вышла во двор? Сидела бы с больными... Иди-ка лучше в палаты...

Около одиннадцати часов дня все затихло. Чехи вошли в город с трех сторон. В три часа был сбор хлеба для чехов. Больница наша была на окраине города, поэтому к нам первым пришли за хлебом, но печеного в пекарне не было, послали сборщиков по отделениям.

Вечером настроение мое испортилось так, что я все и вся возненавидела.

21 июля. Дни стоят ведряные. Для полевой работы хорошо. Слышны музыка и крики «Ура!», «Да здравствует Учредительное собрание!» В городе ничего нет, ни хлеба, ни одежды, ни товара, ни денег... Пустили в народе слух, будто большевики все увезли с собой. Так ли это?.. Посмотрим, что дадут «долгожданные и желанные чехи». Сегодня их прославляют, как будто они спасители! Не напрасна ли эта радость?!

Молва идет, что большевики скоро вернутся.

28 июля. Ходила в город. Город мне показался каким-то выпуклым, чужим. Куда ни пойду — все будто в гору, едва волоку ноги. Мне надо было на толчок. Пришла туда и вижу: по толчку ходят три чеха. Они мне показались великанами — высокие, в желтых рубахах и таких же штанах. На ногах ботинки и обертки. Ходят важно, самоуверенно, запрокинув головы. А кругом гремят гармошки. Я пошла дальше, но что мне нужно было, того не нашла. Встретилась знакомая и посоветовала идти в монастырь — там есть. Прихожу в монастырь, а там все бегают такие веселые. Куда ни помотришь, — у монашек гости, и поздравляют они друг друга с великим праздником воскресения России, с праздником освобождения от большевистского ига. При мне пришла интеллигентная женщина. Монашка, продававшая за прилавком иконы, бросилась к ней, обнимает ее, целует:

— Христос воскрес... Христос воскрес... Матушка, Александра Ильинишна, с воскресением России!..

Женщина ей вторит:

— Да-да, с воскресением!..

Поцеловались. Монашка взяла женщину под руку.

— Пойдем, матушка, пойдем в мою келейку, у нас пасха... Мы празднуем... Игуменья говорит, чтобы установить этот праздник навсегда!..

Когда я шла обратно, мне по секрету сообщили, что сегодня утром чехи вывели из тюрьмы захваченных рабочих и красногвардейцев и всех расстреляли. Вот вам и пасха, вот вам и праздник!

30 июля. Сегодня ночью чехи расстреляли еще двадцать пять человек. На что это похоже?!

9 августа. С утра бухают орудия, слышится ружейная стрельба... Говорят, что красные недалеко от города.

21 сентября. Вчера мы, низшие служащие больницы, устроили собрание: требовали улучшить питание, уменьшить работу.

Надо только видеть, как забегали сегодня доктора! Старший доктор, как ураган, вылетел из корпуса навстречу нашему доктору и рывкнул:

— Знаете что? Вчера вечером прислуга устроила собрание. Председателем был Василий Егорович, а секретарем — его помощник... Каково, а?

Старший вызвал к себе Василия Егоровича, машиниста больницы, и сиделку Елену. Топая на них ногами, кричал:

— Какое вы имеете право собираться?! Это вам не при большевиках!..

А Елену хотел запугать:

— Ты за это можешь пострадать!

А она ему в ответ:

— Ну и что же, пускай пострадаю. Откажут — уйду. Меня не будет, будут другие, не другие — третьи, но все равно то же самое будут делать!..

А все-таки трусили. Никого из нас не тронули... Ладно! Молчали, ждали, терпели — наконец лопнуло терпение, пора требовать!

26 сентября. После четырех лет работы в отделении для душевнобольных я перешла в другое помещение, большое, светлое. А все-таки в старом было лучше. Сколько осталось в памяти хороших воспоминаний! Есть чем помянуть! Да и работать тут хуже. Порядка никакого. Смотритель глупой. Не рассмотрит, не расслышит, кричит на всех, ногами топает. Совсем, как при царском режиме. Кормят плохо. Про хлеб и сказать нечего: белый, как уголь, на зубах хрустит, а мягкий какой — чудо! Как откусишь — видно, где есть

зубы, а где нет. Отдать бы такой оттиск в зуболечебницу для практики. А глухарь-смотритель два вагона такой муки заготовил. Все зубы сломаешь, пока съешь. Ничего!.. У нашего начальства все теперь сойдет. Благо, никто со стороны нас не посещает!..

9 ноября. Наконец и до меня дошла очередь уходить из больницы. Начальство давно меня недолюбливало, но все же ему не удавалось найти причину, чтобы выбросить меня из больницы. И вот, наконец, такая причина нашлась. Я — большевичка. Еще перед революцией наша фельдшерица Волкова плела обо мне доктору, что я из передовых. Но тогда тронуть было меня неудобно, а теперь — дело другое. Они собрались, решили, что я своим присутствием заражаю низший персонал — сиделок и рабочих — и что поэтому меня необходимо немедленно уволить. Мне даже не объяснили, за что и почему меня увольняют.

13 ноября. Переехала из больницы на квартиру к Андрею. Ну что же, испробуем и эту жизнь, все равно не надолго!

15 декабря. Думала ли я когда-нибудь, что буду висеть на шее другого? Нет, и в уме этого не было, а теперь вот я живу на квартире у сына и невестки. Чего мне это стоит — никто не знает!.. Никто не знает, что я переживаю, когда беру в руки кусок хлеба... А что будет завтра? Если ничего не дадут в управе, тогда лучше броситься в воду, но не есть этот хлеб. Он ведь не мой, не я его заработала!..

16 декабря. Сегодня положение немножко изменилось — союз помог, дали мне денежное пособие. Купила муки и пока живу, а одна знакомая принесла мне сахару, чаю... Чего же мне еще надо?..

21 декабря. К своим любимцам — к Андрею и его жене — еще более усиливается моя привязанность, и это не потому, что пользуюсь их силами, нет! Они сразу почувствовали, что я их люблю, и стали обращаться со мной, как с родной. Ну, вот я и стала для них как будто второй матерью. Мне те-

перь страшно потерять их, хоть я и знаю, что рано или поздно я их должна потерять!.. Они относятся ко мне так хорошо, как я даже не ожидала... Живем неплохо. И хотя трудно нам в материальном отношении, но выносим терпеливо... Дружим ведь тоже не легче.

Доволен ли рабочий? Довольны только те, которые не любят работать, кто привык всю жизнь подлизываться к богачу, любит выпить да погулять, а настоящий рабочий-труженик недоволен этой властью.

Я сама была свидетельницей такого случая. Приходит рабочий на рынок. Спросил цену муки — сорок два рубля пуд. Его даже ошеломило, попятился он, не знает, что и сказать торговцу. Постоял, подумал и пошел к другому, а там то же самое. Что тут делать? Почесал он в затылке и пошел:

— Э-эх! Дождались, жулье! Ну что ж, теперь ваше время обдирать нас!..

А вот сошлись две женщины.

— Ну что, много на базаре товара?

— Ой, много, всего теперь много, матушка! И масла скоро много, и муки, и ситца...

— А по чем ситец?

Голос у женщины сразу меняется:

— Да будь они прокляты, обдиралы эти! Ох, господи, да были бы большевики, разве они допустили бы до такой обдираловки?..

А мне смешно. Я думаю: «Вот вам и новая власть... Попробуйте маслица да пирогов... Небось, скоро другим голосом запоете, да еще как запляшете!..»

1919 ГОД

12 января. Ходила наниматься в лазарет. Целую неделю тянули, все говорили: вот примем, вот примем! Сегодня пришла, заведующий посмотрел на меня пристально и сказал:

— Нет, не нужно! — и добавил: — Да ты больше и не приходи.

Ясно, что они навели обо мне справки в больнице, а там, конечно, в мою пользу не скажут.

Заходила я к подруге-сиделке. Она мне говорит:

— Ты больше к нам не ходи, еще, чего доброго, тебя захватят здесь... Так у нас поговаривают. Берегись, Груша!

Вот они, дела-то какие! Хоть пропадай! Есть нечего, работы не дают. Как жить?.. Скоро ли придут наши?

23 января. Какая ныне сердитая зима: весь декабрь — да и по сие время — мороз. В очереди невозможно стоять, а ведь приходится с вечера занимать очередь, если хочешь что-нибудь купить. Всю ночь бегаешь домой греться, зато ночи светлые, и огня не надо.

Объявили мобилизацию. Берут старых фронтовиков: явиться 1 февраля. Андрея тоже забирают. Как Маня будет жить с малюткой?! Вот ведь горе-то!..

Фронтовики говорят: «Ни один не пойдем!»

20 февраля. Ползут слухи, что чехи скоро уйдут из города. Одни говорят, что чехи бегут от большевиков, другие говорят, будто чехи недовольны буржуазией, что мало она им помогает. Правда ли это? Если белые уходят, для чего же тогда мобилизуют старых солдат?

25 февраля. Был какой-то парад на площади. У памятника стояли солдаты и вдоль всей улицы растянулись шпалерами в два ряда. За солдатами стеной стоял народ, сбежавшийся со всего города. Я шла к брату, он обещал дать мне муки. Остановилась узнать, в чем дело.

— Колчака ждут!

Мне захотелось посмотреть на Колчака. Постояла минут десять, народ зашевелился:

— Едут, едут!

Я встала на камень и вижу: серединой улицы едут двое верховых.

— Который Колчак?

— Да вот тот, который старше, на вороном коне... А второй — Гайда!..

Хотя ехали они быстро, но я все-таки успела их рассмотреть. Колчак одет был в темнокоричневую черкесскую форму, шапка на нем высокая, с красной тульей, черты лица острые, нос большой, хищный. Посмотрела на него, и мне вспомнились рассказы об атаманах-разбойниках. Гайда — молодой, красивый, в голубой форме и на белом коне.

По рядам пролетела команда:

— Смирно!

Колчак что-то сказал. Солдаты гаркнули:

— Здравия желаем, ваше превст-во-о-о!..

В толпе говорили, что Колчак будет держать речь перед солдатами, но я не дождалась. Ноги застыли, и ветер продувает. Я ушла к брату Ивану, он дал мне муки, а это мне было дороже Колчака; я шла с мукой — она согрела мне сердце.

Брат мой Иван был мобилизован в 1916 году. Во время революции он убежал с фронта и скрывался дома до прихода чехов. Чехи объявили мобилизацию старых фронтовиков. В Ревде фронтовики не явились к назначенному времени и решительно заявили:

— Не пойдем! Мы уж были на фронте, с нас хватит!

Как их ни уговаривали, как ни стращали — не идут и только. Тогда вызвали солдат, пригрозили расстрелом и только таким порядком забрали рабочих в армию.

Был ли брат на фронте или нет, не знаю, но он как хорошо грамотный и сметливый парень устроился в цейхгаузе и снабжал теперь продуктами и мукой казармы.

28 февраля. Годовщина февральской революции. В городе ни музыки, ни красных знамен. Этот день совершенно не походит на праздник. Говорят, будто в некоторых учреждениях не работали. Вот и только!

Что-то с нами будет? Андрюша, мой приемный сын, мобилизован, а в армию не идет. Сходит отметить, а служить не идет, оттягивает. Положение наше неважное. Из семьи нашей никто не работает: меня нигде не принимают, потому что я большевичка, точно у меня на лбу это написано; Андрея тоже нигде не берут как ненадежного, а теперь к тому же он мобилизован. Вот и живи, как знаешь. А тут еще ребенок у них родился!.. Семья — четыре человека. Надо на хлеб, и на дрова, и за квартиру заплатить, да еще налоги. А где взять деньги на все это, когда сидишь без работы и дома заняться нечем? Я схожу на отвал, насобираю тряпок, вымою их и из них сошью башмаки, унесу сиделкам, продам. Кто деньгами заплатит, кто кусок хлеба даст — вот и накормят меня. А если достану хлеба, то стараюсь снести домой.

От постоянных недостатков дома пошли неприятности, сплетни. Стали говорить, что я живу без работы, что я в семье лишняя. Уйти мне некуда, просто хоть в петлю полезай. Мало того, квартиранты стали шептаться, что, мол, у нас живут большевики, надо донести на них, куда следует. Что их удерживало, почему не донесли, не знаю.

Рядом с нами в том же флигеле жили две женщины. Одна из них нажила себе чеха; в другом флигеле жила одинокая, и у нее тоже чех. К хозяину дома поставили казаков. Мы оказались в окружении белых. Того и гляди, что арестуют. А скрыться некуда — зима.

Да, вижу я, что дорогая наша революция растоптана, задавлена. Мне кажется, что капиталисты потихоньку ведут нас к царю. Люди хотя и молчат, но недовольных много, и недовольство все разрастается и разрастается в народе.

19 апреля. Целую неделю я мыла в губсоюзе полы и заработала пятьдесят рублей. За это время еще нашла из тря-

пок башмаков и разными хитростями сумела их продать. Как я довольна, что домашние заговорили со мной другим языком! А то у меня в голове забродили уже черные мысли.

Продовольствие страшно вздорожало: мука-сеянка — девяносто пять рублей пуд, яйца — двадцать пять рублей десяток. О сахаре и говорить нечего, сахар теперь большая роскошь. При большевиках нам куда лучше было, а теперь покупай по дорогой цене у спекулянтов, а нет денег — пропадай.

25 июня. Квартира наша на Коковинской улице, недалеко от монастырской ограды. Воду мы брали из монастырского ключа.

Иду я как-то тропинкой по монастырской роще и вижу: на бугорке в лесу сидят военные музыканты с инструментами и разучивают какую-то песню. Мотив знакомый, но все они играют врозь, каждый про себя, и цельного не получается. Остановилась я посмотреть. Музыканты сгрудились, вперед вышел капельмейстер, взмахнул руками, и оркестр заиграл.

Слушаю и ушам своим не верю.

Когда они кончили играть, один из музыкантов подошел ко мне и попросил напиться.

— Скажи, пожалуйста, это вы сейчас играли «Боже, царя храни»?

— Да, а что?

— Да уж очень красиво, — похвалила я, взяла ведра, вскинула коромысло на плечи и пошла от них с болью в сердце.

20 июня. Поступила я временно работать на постройку. И никто мне не верит, что мне уже тяжело на этой работе, никто не знает и не хочет знать, каково мне приходится. Иду я с грузом сверху по лесам, а ноги подгибаются, в руках вытягиваются жилы, того и жду, что вот-вот носилки выпадут из рук. Еле сдерживаю слезы, ведь если увидят их, скажут:

— Не работай: много вас таких!..

Ну что же, потерплю еще немного, может, скоро придут наши товарищи — красные, тогда и моя жизнь направится.

Говорят, они уже совсем близко: Шайтанский и Ревдинский заводы уже за ними. О, хотя бы шли скорее, жду и не могу дож-
даться.

ПАНИКА

Что только творится в городе! Какая паника! День и ночь обозы.

Мимо постройки, где я работаю, едут две подводы с ящи-
ками. Я спрашиваю возчика:

— Дядя, чего везешь?

А мужик мне злобно:

— Не видишь, что ли, чай везу. Сидите, ждите красных
без чаю!

Мне стало обидно, и я крикнула ему вдогонку:

— А чтоб тебе первая пуля в лоб!

Мы работали рядом с домом Денисова. Смотрю с лесов:
к крыльцу подкатил грузовик. Из парадного начали вытас-
кивать чемоданы, корзины, узлы в простынях. Нагрузили
доверху грузовик. Вышли две женщины в слезах, их прово-
жал мужчина, посадил их. Молодая, слышу, говорит ему:

— Ты скорей догоняй нас, бросай все тут!..

Мужчина отвечает:

— Завтра догоню... Ну, поезжайте, каждая минута дорога!

Автомобиль тронулся, женщины машут платочками,
а мужчина сейчас же убежал в парадное.

Кто-то рядом со мной говорит:

— Проводил жену и тещу, а сам за каким чортом он поедет.
Ему бы только их выпроводить!..

По другую сторону нашей постройки тоже суeta. Выходит
женщина в белой косынке и в сапожках. За ней офицер с че-

моданом и прислуга с корзиной. Из окна выглянула женская голова.

Женщина в белой косынке повертывается на каблучках:

— А что, Муся, идет мне костюм сестры?

— Очень идет, только зачем ты его надеда?

— А чтобы в вагон пустили. Иначе не попадешь. А теперь мы с Виктором в одном вагоне. Ну, до свидания в Омске! Приезжай! Выпьем!

— Ну, довольно шутить, — буркнул офицер. — Опоздаем на поезд!..

С Сибирской улицы вышли больные в белых халатах, идут, держатся за стенки. Я кричу им:

— Куда вы? Вас затопчут... Видите, сколько народу идет... Возвращайтесь в лазарет!

Один больной остановился, перевел дух и машет мне рукой:

— Там... никого нет... Все убежали... от красных... Как тут на станцию пройти?.. Там нас увезут...

— Кто вас увезет? Здоровых не пускают, а вас и вовсе не пустят! Да чего вам сделают красные? Идите обратно.

За ним кое-как передвигая ноги, потащились остальные.

А беглецы едут и едут. Крестьяне привязали к телегам телят и коров. Животных тянут веревками, они упрямятся, не идут, затирая ход лошади. Хозяева сзади подгоняют их хлыстом, ломают им хвосты... Смотрю я на этих людей, и зло меня берет. Если удирают богачи — это понятно, а вот эти-то куда бегут, чего они красных боятся? Вот дурачье!

К вечеру начались грабежи. Банды хулиганов ломают магазины, тащат товары и тут же их продают. Среди грабителей много женщин. Они вбегают в магазины, хватают что попало под руку и скорей домой. Улицы не освещены. По булыжной мостовой непрерывно громяхают телеги. Идут солдаты. Гарцуют кавалеристы, а тут же рядом трещат взламываемые двери лавок, звенят разбитые стекла. Кто-то хохочет... Кто-то визжит. Шум, ругань...

Жители попрятались, сидят по углам, в темноте, боятся зажечь огонь и тем привлечь к себе внимание громил. У кого есть ставни на окнах, те их закрыли. Из подворотен лают озверевшие собаки. Где-то за городским прудом поднялось багровое зарево пожара.

Это — на центральных улицах, а у нас — на окраинах — тишина. Жители сидят по домам и, спрятавшись за занавески, с тревогой глядят на пустую улицу. Вот из-за угла показалась женщина. Она движется задом наперед. В одной руке у нее корзина, другой она тащит по земле огромный мешок с рисом.

Из ближних ворот выбегает бородатый сапожник. Он отпихивает женщину в сторону и, вырвав у нее из рук мешок, начинает пересыпать рис в наспех захваченное ведро. Женщина бросается на него зверем. Начинается свалка. Мужчина ударом кулака сшибает женщину на землю, и, пока она барахтается в канаве, он нагребает полное ведро рису и поворачивает к дому.

— Нахал! Грабитель! Сволочь! — вопит ограбленная.

Мужчина спокойно оборачивается:

— Чего ты ругаешься, дура? Ты ведь тоже не купила. По крайней мере нести тебе будет легче! — говорит он со смехом и скрывается в воротах.

Ночь прошла в тревоге, в тяжелом полусне. От каждого звука просыпаешься, бежишь к окну смотреть — не идут ли грабители.

На следующий день продолжалось то же самое. Опять тянулись по улицам обозы беженцев, громыхала тяжелыми лафетами артиллерия, скакали верховые. Кто побогаче — уже уехал. Теперь выселялись купцы, интеллигенция. Грузили на телеги имущество, заколачивали досками окна опустевших домов. Прощались, плакали. Отряды Анненкова рыскали по городу, врываются в дома, грабили лавки, награбленное увозили на телегах, останавливали прохожих, обыскивали их и многих мужчин уводили с собой. Чаше стали

слышаться выстрелы. Кое-где на улицах появились трупы убитых людей, никто их не подбирали. Под вечер в ворота нашего дома постучал какой-то солдат в белой гимнастерке с ружьем на плече. Сердце у меня упало:

«Ой, не за Андреем ли? Вот арестуют его и уведут, а как Маня с ребенком останется?»

Присмотрелась и узнала: брат Иван.

Я вышла ему навстречу, поздоровались.

— Ты что, убежал?

— Убежал!

— Как же тебя не поймали?

— Пришлось схитрить — нас много убежало... Я ехал на поезде со снабжением, и как только отъехали от Перми, я и думаю: «Надо бежать». Со мной ехали наши ребята, товарищи мои. Всем охота домой. Я сижу и думаю: «Вот наш город, за каким чортом я поеду дальше? Не поеду! Здесь самое подходящее место убежать». Уговорились: как только доедем до города, так обязательно и убежим. Главный вокзал проехали не останавливаясь. Ну, думаю, дело плохо. Подъезжаем к Екатеринбург 2-му. Поезд пошел тише. Вижу, мои ребята выскакивают по одному... Я за ними — на запасный путь. Народу на станции куча, нас и не заметили. Выбрались мы на улицу. Ребята оставили винтовки в вагоне, а у меня — при себе. Построил я их. Сам за ними с винтовкой. Идем. Как только увижу где военного, колочу ребят прикладом, кричу на них:

— Пошевеливайся!

В одном месте навалились на патруль:

— Куда идете?

— Да вот, — говорю, — беглых веду в полк.

Патруль поверил и пропустил. Добрались мы таким манером до города, тут я говорю:

— Ну, ребята, разбегайся!

Они — кто куда, а я сюда пошел тебя проведать.

Во время этого разговора пришел домой Андрей. Поговорили мы немного, напоила я их чаем, брат Иван и говорит:

— Ну, я побегу к приятелю Алешке. У него буду скрываться. Бог даст, еще увидимся. А винтовку оставлю у вас. Как придут красные — отдайте. Вот вам и патроны!

Сам ушел.

Я спрятала винтовку в чулан.

«Может, еще пригодится, — думаю. — На случай есть чем оборониться».

Опять тревожная ночь. Вечером квартальный староста обходил дома и наряжал жителей, чтобы не спали, охраняли дома от пожара. Белые отступают и угрожают сжечь город. Всю ночь я просидела у окошка. Ночь светлая, летняя. Из города доносится шум. Лают собаки. У домов на нашей улице появилась самочинная охрана. Мужчины, вооруженные охотничьими ружьями, топорами и железными тросточками, сидят у ворот на лавочках, ходят, как часовые, около своих домов, иногда сойдутся двое-трое на мостовой, курят, о чем-то тихо разговаривают и показывают руками на небо. Жутко.

Второго июля под вечер послышалась пушечная стрельба. Над городом полетели снаряды. Это Красная армия обстреливала город. Мы все сидели у крыльца, а над нашими головами свистели снаряды. Один снаряд пролетел над самой крышей и упал на середину Усольцевской улицы и там разорвался.

Вечером, около пяти часов, белые зажгли Шарташ, а потом и станцию Екатеринбург 2-й. Огонь перебросился на жилые дома. Дым пошел через весь город. Жители заматались, завопили:

— Ой, батюшки, все сгорим!

Матери пособирали своих детей в кучу, сидят и плачут: умирать — так всем вместе.

Те, кто жили близко к пожару, начали было вытаскивать свои пожитки, но потом бросили... Все равно пропадет

добро — заберут белые бандиты, которые еще рыскали по городу... Пусть уж лучше горит!.. Многие бросились тушить пожар, но бандиты не давали, стреляли в них из винтовок. Пожарных с лошадьми и машинами белые забрали с собой. Пожар разрастался. Дым не поднимался вверх, а стлался по городу. В дыму летят снаряды, ухают орудия, трещат пулеметы, тысячи смертей носятся в воздухе... Не знаем, кто и куда стреляет. Не столько боимся снарядов, сколько бандитов. Того и гляди, вывернется из-за угла кто-нибудь из анненковской банды, приткнет штыком, и конец.

Жильцы в нашем доме притихли. У каждого свои мысли. И у всех на сердце тревога и страх.

Как только началась стрельба, Андрей куда-то убежал. Маня беспокоится, плачет:

— Что с ним? Не убили бы его?

Я ее утешаю:

— Давай, Маня, сядем к ребенку. Умирать — так всем вместе.

Часов около двенадцати прибежал Андрей, взволнованный, радостный:

— Мама, слышишь, колокола? Верхисетские встречают красных.

Я взглянула в окно:

— Где? Ничего не слышу.

— Да ты выйди во двор. Слышишь «ура»?

Ветер доносит отдаленную музыку. О, какая радость! Это они, они!.. О, милые, дорогие, долгожданные наши братья, наши товарищи! Наконец-то!

Утром к нам привели на постой двух красноармейцев. Мы все встретили их, как своих родных, наперебой рассказывали им о том, что мы переживали за этот год. Поставили самовар, напоили их чаем, накормили, как могли.

Андрей говорит:

— Надо отдать им ружье!

Я вытащила ружье и патроны.

— Унесите, — говорю, — и сдайте, нам не надо. Это мой брат убежал от белых и нам оставил, чтобы передать Красной армии.

Красноармейцы, немного отдохнув, ушли.

После дорогих гостей Андрей пошел посмотреть, что делается в городе, так как там стоял шум, но не такой, какой был перед приходом Красной армии, а какой-то особенный. Город как бы ожил, где-то песни поют, где-то «ура» кричат. Слышны выстрелы из орудий, но уже далеко от нас.

Следом за Красной армией прибыл городской совет и революционный комитет.

Вечером вернулся Андрей и сообщил нам, что он поступил на службу в милицию. Это была для нас вторая радость — ведь это первая работа после годичной безработицы и голодовки. Я тоже стала думать о работе. На мое счастье я встретила знакомую Аннушку, которая уже поступила сторожикой на организующуюся биржу труда.

— Ты запишись на биржу, — посоветовала она, — за работой дело не станет!

И действительно, меня стали часто посылать на временные работы.

В городе появились новые вывески: по красному фону белыми или черными буквами, что бросалось в глаза. Меня радовало, что не буржуйская у нас теперь власть, а советская, и что могу я теперь ходить, не оглядываясь по сторонам, как было при белых, а смело и спокойно.

Не помню, от кого-то я узнала, что на Златоустовской улице собирается женская лига равноправия. Отроду впервые я услышала о женском собрании. Как не пойти? Пришла. Народу много. На сцене две интеллигентные женщины: одна сидит за столом, пишет; другая стоит и говорит. Слушаю, а в уме прикидываю: «Да это я уже читала в книжках, знаю!» Говорила она о жизни старых боярынь и боярских дочерей, как их держали взаперти и прочее.

После нее вышла из публики работница. Женщины, которые ее знали, зашушукались:

— Машка Завьялова вышла, что она может сказать?

А Машка начала сразу критиковать докладчицу:

— Товарищи! Нам здесь говорили о боярынях и боярских дочерях, для чего это нам? Нам нужно завоевать свое право и стремиться улучшить положение нашей женщины!

Собрание заволновалось: кто за Машку, кто против. Зашумели все, как осы, а ее последние слова были:

— Товарищи женщины! На этом собрании нам нечего делать, оно не наше!

И после этих слов те, кто был согласен с Машкой, ушли с собрания. И я ушла.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ

Я пришла в революционный комитет и громко спросила:

— Кто записывает в партию?

Все посмотрели на меня с удивлением. Я это заметила. Пусть смотрят...

Мне указали товарища, к которому надо обратиться. Он показался мне живым трупом, настолько был худой и изнуренный. Он спросил, где живу, что делаю, почему хочу вступить в партию. Я ему рассказала, как мы, вся семья, жили при белых, показала ему свои руки и прошение. Он прочитал его со вниманием и сказал:

— Хорошо, мы примем вас сочувствующей! Недели через две приходите, дадим билет.

Радостная, вернулась я домой.

Мой поступок долго обсуждался на нашем семейном совете, и в результате вся наша семья — Андрей с женой и сестра его жены — тоже подали заявления о зачислении в партию.

Через две недели иду за обещанным билетом. Подошла, вижу — вывески нет.

— А где же революционный комитет?

— Переехал.

Пошла я в новое помещение. Там мне сообщили, что с переездом все списки утеряны. Без лишних слов меня опять записали старым числом.

— Двадцать пятого августа приходи на городское собрание в театр.

Вечером 25 августа я сидела на галерке, в середине, и мне было хорошо видно и слышно. Сперва разбирали текущие дела, потом предоставили слово товарищу, с которым я беседовала в революционном комитете. Начались такие рукоплескания, каких я никогда не слыхала. Когда все смолкло, он сказал:

— Товарищи, я воскресший из мертвых!

Снова загремели аплодисменты. И тут он рассказал, как он сидел в тюрьме у белых и как его там истязали. Он так был измучен, истерзан, что едва двигался. Сердце мое сжалось от ненависти к белым.

Так я нашла, наконец, свою дорогу!

НА СЛУЖБЕ В КРАСНОЙ АРМИИ

Аннушка мне сказала:

— Если будут посылать на временную работу, ты не ходи, лучше поступать куда-нибудь на постоянное место.

На бирже много народу. Уже двенадцать человек отправили в разные места. Я стою, жду. Вдруг спрашивают:

— Кто желает на службу в Красную армию?

Все молчат. Нам повторили:

— Что же вы молчите: кто пожелает, сейчас же направим.

Видя, что никто не отзывается, я крикнула:

— Я пойду.

В другом углу еще кто-то отозвался:

— Я тоже пойду!

Публика с удивлением смотрит на нас, шепчется:

— Вот какие смелые!..

А предлагающий сказал:

— Вот хорошо, нам только двоих и надо.

Нам дали путевки в ветеринарную аптеку 3-й армии. В аптеке предложили на выбор две должности: сторожихи и курьера. Сибирячева, компаньонка моя, оказалась малограмотной. Ей пришлось остаться сторожихой, а мне — курьером. Начали работать.

Жалованье нам было первый месяц шестьсот рублей, а потом почему-то сбавили до четырехсот рублей. Хороший паек. Все идет прекрасно, жизнь налаживается.

Мы с Сибирячевой ни одного дня не сидели дома: то на собрание, то на лекцию, то на субботник. Утром, пока готовим себе чай, — уж и девять часов. Идешь на занятия, работаешь до четырех часов. После занятий пообедаешь и бежишь по разным общественным делам. И так до десяти-двенадцати часов ночи. Немножко трудно, но весело...

Вторую годовщину советской власти праздновали по-настоящему. День выдался теплый, тихий, точно сама природа праздновала с нами. Демонстрации. Флаги. Музыка. Пение революционных песен. Крики «ура». Топот людей и коней. Громыканье пушек. Так было весело, так хорошо!

Вечером весь город был освещен электричеством. Во всех концах митинги, театры, на улице кино — иди, куда хочешь.

Вскоре после октябрьских праздников я перешла на работу в военный госпиталь. Произошло это неожиданно. На одном из собраний женотдела обсуждался вопрос о распределении делегатов по учреждениям. Когда дошла очередь до военного ведомства, женорганизатор сказала:

— Теперь, товарищи, нам нужно выбрать инспектрис в Красную армию, но самых надежных и преданных советской власти.

Кто-то назвал мою фамилию. Другие подтвердили, что я знаю больничную работу и к тому же коммунистка.

— Ну, ее и послать!

Я встала, говорю:

— Я и так служу в Красной армии, да и годы мои не подходят.

Мне ответили:

— Ничего, еще поработаешь!

Проголосовали, я была выбрана единогласно. С этого вечера у нас с Сибирячевой дороги разошлись. Ее выбрали в отдел народного образования — учить и распределять конфискованное имущество, а меня — в Красную армию инспектрисой. Дали мне путевку в 1-й сводный госпиталь.

Помещение мне показалось ужасным. В палате грязно, сумрачно. Посередине что-то нагромождено, стоят столбы, на столбах настланы доски, по ним ходят, и видно, как они гнутся под ногами. Между столбов, под досками, стоят койки и лежат больные. Мне стало страшно за больных, ведь все это сооружение может свалиться и придавить больных.

Бегают санитары, санитарки, смотрят на меня:

— Кто она?

Я спросила:

— Как пройти в ячейку?

Меня провели в какую-то маленькую комнату.

— Кажется, вас направили работать в ячейку?

— Да, а где дела?

— Какие там дела, у нас ничего нет! Вот в столе валяются какие-то бумаги.

Я выдвинула ящик: ворох скомканных бумажек.

В это время входит больная, берет бумажку и рвет на цыгарку.

Я говорю:

— Товарищ, дайте мне бумажку, я ее посмотрю.

Бумажка оказалась списком фамилий.

— Вот видите, товарищ, вы порвали бумажку дельную. Дайте обрывок, я спишу и отдам вам. С этого дня отсюда без моего разрешения никаких бумаг не берите и другим скажите это!

Провожатый объяснил больному, кто я.

— А-а, вот что, — протянул больной. — А я думаю, какое ей дело до бумаг, мы всегда брали: у нас нет, а курить надо.

Пошла знакомиться с помещением и со служащими. На лестнице встретила военкома. Поздоровался.

— Ну, как же вы думаете работать? Ведь вы работали на гражданской работе, а у нас военная!

— Пожалуйста скажите, с чего начинать, я не знакома с военной работой!

— Вы вот познакомьтесь с помещением, а остальное сами увидите, только мне ежедневно в девять часов давайте рапорт за прошедшие сутки!

Сказал и ушел.

Думаю: «Какой такой это рапорт?» Иду наверх. Вошла в большую палату. Темно, хотя был день. Холодно. На больных какие-то тряпки, столы загромождены, воздух спертый. Думаю: «Как же это, неужели доктор не видит такое безобразие?»

А тут как раз комиссар с доктором. Комиссар увидел меня, поманил к себе пальцем. Я подошла. Он рекомендует меня:

— Вот женотдел прислал свою работницу.

Доктор протянул:

— А-а, ну вот и хорошо, давайте помогайте нам... А на какую должность, — повернулся он к комиссару, — вы ее поставите?

— Я думаю, на должность надзирательницы пока, а там видно будет.

— Ну, вот и хорошо. Работайте, указывать вам не будем, сами увидите, что нужно!

Я пошла далее по палатам. Везде грязь, холод. На обратном пути заблудилась, ошиблась дверью и попала в уборную. На полу лужи, накинута грязная бумага, настланы доски для хода. Вижу — вторая дверь. Открыла, а за ней лестница, в разбитое окно сквозит. Спустилась в коридор, пришла в свою рабочую комнату, села за стол и думаю: «Какой ужас, и никто этого не видит, как будто так и нужно».

Утром бумажка от комиссара — приказ, чтобы я поместилась при госпитале. Принесли мне сахара и хлеба, сказали:

— Вы зачислены на общий стол, идите, вам дадут все, что полагается.

Принесли пачку газет «Набат», а для кого — неизвестно. Взяла я их и пошла знакомиться с больными. Первым мне попался санитар. Я подала ему газету, он поблагодарил, видно было, что доволен. Больные увидели, закричали:

— Мне дайте, мне!

Я спросила:

— Сколько вас здесь?

— Шестьдесят человек.

— Вот, товарищи, на вашу палату десять газет, а остальные в другие палаты отнесу!

Раздала, вижу, все набросились читать.

Осмотрела палату — все в беспорядке. На больных рубашки рваные, грязные; матрацы тоже грязные и набиты тонко. Вместо одеял какие-то тряпки, на столах кучи крошек, грязный сахар. Спрашиваю у больных:

— Почему у вас такая грязь?

— Не убирают!

Вижу, стоят кучкой санитары и санитарки. Подхожу к ним, они вдруг рассыпались. Иду дальше, та же история. Думаю: «Что это они бегут от меня?»

В два часа дня приходит комиссар:

— Почему не подала мне сегодня рапорт?

— Извините, я не знаю, что такое рапорт.

Целый день не вижу ни администрации, ни врачей. Один только военком вечером обежит госпиталь, но ко мне даже не зайдет. Совсем одна, как щепка среди моря. А помещение огромное, темное и холодное.

Мне захотелось узнать, что делается ночью. Иду. В коридоре темно. Выключатель найти не могу. Чиркаю спички и сквозь мрак в озаренном желтом пятне, вижу, стоят койки и на них спят, но кто — не знаю, закрыты одеялом. Тут подошел ко мне какой-то человек и тихо спросил:

— Вам огонь надо открыть?

— Да, надо!

Он повернул выключатель. Стоят две койки рядом. Спрашиваю:

— Кто тут спит?

— Санитар и санитарка.

— Они что, дежурные?

— Да, дежурные.

Разбудила я их. Женщина села на койку, волосы растрепаны. Я вскипела:

— Вот так дежурные!.. Посмотри-ка, матушка, на себя, на кого тыходишь? Разве для того дежурство, чтобы с мужиками спать?

Пока я ее отчитывала, тот, который включил свет — тоже санитар, — убежал в палаты и разбудил прислугу. Оказывается, все они спали, а у больных нет воды, ведра и «утки» полны нечистот, воняет от них. Подвела каждую санитарку к больным.

— Сейчас же, — говорю, — это вынести, ведро и «утку» вымой, а потом убери все со столов и окон!

Санитарки хотя и выполняют мои приказания, но с явной неохотой. Ворчат, шушукаются. Я решила во что бы то ни стало добиться порядка. На дворе госпиталя стоял отдельный домик:

— Вот вы туда загляните, — предложил мне один из санитаров.

Я пошла туда, открыла дверь, и ужас охватил меня.

Высокое помещение было до потолка завалено трупами. У самого входа лежал человек головой к порогу, вверх лицом. Его голова была началом лестницы, которая шла вверх по трупам. Во мне закипела злоба. Закрыла дверь, пошла к завхозу. Он залебезил, пытаясь мне что-то объяснить. Я потребовала, чтобы трупы были убраны. Вместо того чтобы исполнить мое приказание, завхоз через три дня представил мне подробную смету на похороны.

— Да сколько бы ни стоило, а убрать нужно.

Однако все осталось без перемен. Через несколько дней дежурный красноармеец из гарнизона (из гарнизона дежурные посылались ежедневно) спрашивает меня:

— Почему столько накопили трупов?

Я объяснила, что уже несколько раз требовала убрать трупы, но администрация не желает выполнить мое требование.

— Ах так, не желает?! Ну, это мы посмотрим!

Какой у них был разговор с завхозом — не знаю, но после обеда вижу: складывают трупы на воза, значит, нашлись и лошади и деньги. Дело пошло по-моему. Эта история показала мне, как надо действовать. Спрашиваю:

— А есть ли при госпитале баня?

— Бани нет, — отвечают, — но есть одно заброшенное помещение, которое можно использовать под баню.

Показали мне это помещение. Правда, нужен большой ремонт, но зато выйдет неплохая баня. Пошла к завхозу. Тот долго упирался, не хотел ремонтировать, пугал большими расходами. Я все же настояла. Через неделю баня была готова. Надо было видеть радость больных, когда они впервые за все свое пребывание в госпитале пошли в баню!

Пока больных мыли в бане, в палатах кипела работа. Набивали матрацы свежей соломой, мыли кровати, столы, окна, двери... После бани больным были сделаны перевязки, и в довершение всего я приказала подать чай. Пришли газеты.

Раздала их больным. Первая баня была для них большим праздником.

С завхозом у нас пошли нелады. Не нравилось ему, что я во все вмешиваюсь, добиваюсь всяких улучшений. Однажды пошла я зачем-то к нему и вижу: у дверей его комнаты лежит куча полушубков, брюк и валенок. Когда выходила от него, ничего этого уже не было. Я подумала, что обмундирование унесли в кладовую, и пошла туда. Кладовщик говорит:

— Помилуйте, да я ничего не принимал!

Так и не нашли это обмундирование, оно как сквозь землю провалилось.

В эвакопункте удивились, что у нас ничего нет. Оттуда много отпускалось, а в госпиталь не попадало. Скоро все это дело раскрылось, и кое-кто, в том числе и завхоз, пошел под суд.

Однажды вечером мы с сестрой Николаевой сидели у себя в комнате и работали. Вдруг влетает к нам Бусяцкая, тоже больничная сестра, и в радостном волнении, задыхаясь, не кричит, а шепчет:

— Товарищи, кричите «ура»!

— Что, что такое, Марья Александровна?

— Я вам радость принесла. Наши Томск взяли!..

— Да неужели? Когда? Где вы слышали?

— В штабе.

О, как мы были рады этому известию! Вот и взял Колчак Москву! А ведь собирался с Деникиным летом в Петрограде чай пить. Я точно обезумела и пошла по комнате в пляс.

Все смеемся и не знаем, что делать. Предлагаю:

— Пойдемте скажем больным, они еще не спят!

Увидев нас всех троих вместе, больные удивились.

— Товарищи, вы еще не спите? — спрашиваю.

— Нет, никто не спит!

— Вот вам сестра скажет новость!

Бусяцкая вышла вперед и тихо говорит:

— Вы только не волнуйтесь, я вам радость скажу: Красная армия сегодня взяла Томск!

Больные зааплодировали, кто-то даже «ура» закричал. Так были все рады.

ДРУГ

Дума ты моя, крепкая!.. Друг ты мой, неоценимый!.. Только с тобою я поговорю, только с тобою подумаю, только ты одна разделишь мою грусть, мои слезы, мои тяжелые думы... Ты одна моя верная подруга жизни! Ты вырастила меня, ты няньчила меня, ты научила меня, ты дала мне воспитание, ты дала мне все!..

Хорошо ли, худо ли мне было, ты была со мною всюду, ты была верным спутником моей жизни! Если бы не ты, то как бы я жила на свете! Если мне плохо, я беру тебя в руки, и ты утешаешь меня. Если я чего не знаю, я прихожу к тебе, и ты научишь меня. Ты много раз избавляла меня от несчастья. Ты спасала меня от наготы, холода и голода! Ты была моей матерью, другом, учителем и хранителем. И я верю, что, когда я умру, ты будешь говорить обо мне, как о своем несчастном друге, ты скажешь о моей трудовой, обиженной, одинокой жизни и о том, как я нашла себе новый путь, новых людей, близких мне и дорогих.

Ты была одна со мной неизменно, ты, мой лучший дорогой друг — книга!

ТИФ

Начали нам присылать тифозных. Эпидемия разыгралась так сильно, что чуть не всю команду свалила. Как только ко-го пришлют для пополнения, смотришь, через день или два уже свалился с ног. Эвакопункт прислал нам команду в сем-надцать красноармейцев, из них только двое не заболели, остальные слегли в продолжение недели. Тиф не щадил ни врачей, ни сестер. Прислали к нам главврача Соколова. Проработал он с неделю и заразился. А когда он пришел к нам в госпиталь, мы еще радовались: «Ну, этот здоровый... Этого никакая эпидемия не возьмет...» Врач Сяно уже как осторож-но обращался с больными, но и его тиф не пощадил. Бывали недели, что ни одного врача и ни одной сестры не было в го-спитале и не потому, что эвакопункт не старался к нам их присылать, нет!

После ухода белых в городе осталось только двадцать пять врачей, и все они по горло были заняты или лежали в тифу. В госпитале приходилось мне одной за всех управляться: смот-реть и за прачечной, и за продуктами в цейхгаузе, и за служа-щими, и за командой.

Был у нас санитар Мышланов — на фронте он работал фельдшером. Вот мы с ним только двое остались здоровы.

— А знаешь что, — говорю я ему, — придется нам самим ле-чить больных... Нет врачей... Ты же ведь работал фельдшером!..

Он согласился. Я измеряю температуру, а он опрашивает больных и выписывает медикаменты. А больных у нас никог-да не было меньше четырехсот двадцати человек. Трудно нам приходилось, но все-таки делали все, что могли, и многие больные встали на ноги. Самое трудное было бороться со вша-ми. Столько развелось вшей — ужас! Уж и белье часто меняли, и прожаривали его в машине, выстиранное проглаживали горячим утюгом, и в дезинфекцию возили, но все равно от вшей спасения не было!.. Через некоторое время Мышланов

тоже свалился. Осталась я одна. Ну, тяжело пришлось мне! Не знаю, что случилось бы со мной, если бы, к счастью, скоро не прислали нового врача и военкома из матросов — товарища Лукоянова. Человек он оказался энергичный, сразу взялся за работу. А я тем временем принялась за ячейку: привела в порядок партийную организацию, достала билеты, стала устраивать собрания.

Вот у нас своя ячейка и женотдел. На втором собрании выбрали делегатов для связи с городским женотделом. Создали контрольно-хозяйственную комиссию, которая обнаружила растрату и хищения. Завхоза отдали под суд. Сменили кладовщика в продуктовой кладовой, а потом добрались и до бельёвого каптера. Словом, все реорганизовали...

ПРОФСОЮЗ

О профсоюзе я имела очень смутное понятие.

Услышала я однажды, что какой-то госпиталь свою команду ввел членами в профсоюз.

«А почему и нам не сделать того же?» — подумала я и пошла в губсоюз всемедикосантруд. Договорилась там, взяла анкеты и предложила желающим вступить в члены профсоюза, но разъяснить им, что такое союз, не могла — сама плохо знала. Анкеты были напечатаны на красной бумаге. Вот эта красная бумага и напугала всех.

— Вишь, она хочет втянуть нас в коммунисты!..

Анкеты заполнили только двадцать человек, остальные не захотели. Пошла я в губсоюз:

— Нет ли у вас анкет на белой бумаге?

— Зачем? Мы же тебе дали!

Когда я объяснила, в чем дело, рассмеялись и дали анкеты на белой бумаге. Вместе с тем выдали мне платки и строго наказали раздать их только членам союза.

После этого вошли в союз еще сорок человек. А через некоторое время мне снова выдали разных товаров уже из расчета на шестьдесят человек. Были: платки, чулки, носки и, самое главное, четыре пары сапог. Кому дать? Все почти босые. Пришлось военкома просить на помощь. Он сидит, смотрит, а я выдаю. Тем, кто уже раньше получил платки, теперь раздаю что-нибудь другое. Мужчины получили носки и две пары сапог, а две пары отдали женщинам. То-то было радости!

К дележке пришли и сестры, не-члены союза, и приста-вали ко мне:

— А почему нам ничего нет?.. Мы ведь сестры, а они са-нитарки...

— Мне, — говорю, — сказано было давать только членам союза, так я и делаю. Вступайте в члены. Чего болтать язы-ком зря?

Вскоре членами союза было уже сто пятьдесят человек.

Как же быть дальше? Разве союз только для материаль-ных благ? Как же быть с воспитанием членов? Как-то надо втягивать их в общественную работу, разъяснить им цели союза, поставить культработу. А что я могу, когда я сама еще плохо во всем этом разбираюсь. Да, учиться надо, учиться, а времени нет. Работы и без того по горло.

ПРАЗДНИК ТРУДА

Город только еще пробуждался, когда мы с красными зна-менами вышли на улицу. Мы думали, что первыми вышли, но только успели построиться, как услышали в соседних квар-талах песню:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Там рабочие вышли раньше нас и, разумеется, раньше нас перехватят работу, и нам, может быть, ничего не достанется.

Заполыхали навстречу знамена, развернулись золотом шитые лозунги: «В единении сила!», «Упорным трудом мы победим разруху».

Со всех концов города твердой поступью шагают колонны. Было так, что шли разутые, в опорках, оборванные, но на лицах этих людей столько радости, в глазах столько гордости!.. Какая сила!..

В этой железной уверенности столько энтузиазма! Кажется, что колонны говорят своими песнями, своей поступью: «Мы победим!»

...Никто не даст нам избавления —
Ни бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобождения
Своею собственной рукой...

В это же время из какого-то переулочка вывернулась другая демонстрация... Заблестели на солнце хоругви с темными ликами угодников, вынырнул с крестом в руках поп в полном облачении...

Встретившись с нашими колоннами, богомольцы пришли замешательство, сгруппировались, как овцы в жару, и опустили в землю глаза.

Снова развернулась над колоннами красивая, как жизнь, революционная песня, вихрем закружила чувства и в этой общей радости и бодрости изорвала и скомкала церковный хор...

Вот выстроились красноармейцы в два длинных ряда, и там, где эти ряды кончаются, начали вырастать правильные, красивые штабели дров. Бесконечным потоком поплыли по рядам из рук в руки длинные поленья дров.

На станции грузили поезда камнем, железом, хлебом и прочим материалом, предназначенным в другое место на-

шей страны. Я уже вижу, как там, куда прибудет этот ценный груз, задымят фабрики и заводы.

Вон в два ряда дружно тянут канатом чугунную тяжесть в четыреста пудов. Ухает старая рабочая песня:

Эй, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет...
Сама пойдет,
Сама пойдет,
Да-а-а ухнет!..

И тяжесть, поддаваясь могучей силе, ползет, движется...

И опять рядом поповская процессия. Остановилась на перекрестке около работающих и начала молебн за ниспослание успеха. Поп поднял руки, забросил назад голову и дребезжащим голосом расплескал елейность:

— У господ просим...

Столпились вокруг него женщины-богомолки, качают головами: «Ведь что делают люди, работают в воскресенье!» и виновато подтягивают хору...

А красноармейцы, увидев это, разогнули спины, тылом руки смахнули пот со лба, секунду-другую непонимающе посмотрели, переглянулись и прыснули со смеха:

— Эй ты, батя, да будет тебе комедию-то разыгрывать...

— Поставь-ка, друг, свои знамена, и давай будем раздувать наши кадила!..

— Что ты там просишь от воздуха!?..

— Надо работать, а не валять дурака!..

— Православные, — тянет поп, — да ведь мы с вами... Мы помолимся, и бог нам даст!..

— Ну, покуда мы сами не принялись, бог-от и не подумал послать своих лентяев!..

Смотрю я на богомольцев, и у меня сердце болит: ведь за попом пошли не какие-нибудь там черносотенцы, а наша сестра, пролетарка, жена рабочего!..

«Эх, — думаю, — сколько еще нужно борьбы, сколько работы!.. Силы побольше нужно, закалить эту силу в труде, чтобы она была, как камень, как сталь...»

Я запела и круче взялась за работу.

ЭВАКУАЦИЯ ГОСПИТАЛЯ НА ФРОНТ

В начале лета нам объявили приказ: «...Госпиталь свернуть и готовиться в дорогу...» Хотя такого приказа ожидали со дня на день, но все-таки мы как-то растерялись, пошли разные догадки, предположения:

— Меня, поди, уж не возьмут, оставят здесь, кому я нужен с такими годами! — сокрушенно покачивая головой, говорил наш санитар.

Как-никак, но все мы сжились, сработались вместе, и расставаться не хотелось.

Прибежали ко мне санитарки.

— На фронт!.. Слыхала?.. На фронт!.. Не хотим здесь больше оставаться — все поедем!..

Из больных многих увезли в 112-й госпиталь. Им так не хотелось от нас уезжать, но что поделаешь — нужно выполнять приказ. Так же сделали и с командой: некоторых пришлось перевести в другие госпитали, другим дали отпуск, а иных — таких было мало — демобилизовали.

Я также ждала, что мне дадут отпуск или же куда-либо переведут, а то и совершенно отпустят домой. Ведь, думаю, куда меня везти в мои годы? Но мне предложили готовиться в дорогу. Я начала было доказывать, что не смогу больше работать, что годы мои не те и прочее, но военком в упор посмотрел на меня:

— Годы?.. Демобилизоваться хочешь?.. Ты кто?..

— Как кто?

— Ты кто?.. Член партии?.. Да?.. Ты знаешь партдисциплину, знакома с таким делом? Ну так вот, чтобы сейчас же была готова к выступлению с госпиталем. Имей в виду, чтобы я больше не слышал от тебя таких речей, позорящих члена партии!..

В сущности мне было очень жаль расставаться с госпиталем, и, если бы я не поехала, знаю, что сильно тосковала бы по госпиталю. Теперь, после разговора, я со спокойной душой начала готовиться к отъезду.

Первым долгом собрала дела партячейки, потом дела союза, у некоторых членов еще не было членских книжек, сходила за книжками, рассчиталась в губсоюзе, сложила дела разных комиссий, так что у меня набрался полный ящик дел. А потом уже взялась и за свои вещи: связала, упаковала и даже глиняную корчагу — белье парить — с собой захватила.

Приготовились и ждем. Вдруг приходит приказ, чтобы госпиталь развернуть и работать. Вот была досада! Но ничего не поделаешь: развернули, привели в порядок, а через некоторое время снова приказ: «Свернуть госпиталь и ждать дальнейших распоряжений!»

И так несколько раз свертывали и развертывали, только в том и время шло. Больных уже не было, свободного времени стало больше, поэтому у нас пошла успешно политработа и культработа.

Наконец, в первых числах июля мы получили приказ грузиться в вагоны и спешно выезжать.

На другой день вечером в Уфалее нас ждал приказ: «Выгрузиться и развернуть госпиталь».

Развернули. Ждем больных. Нам их не присылают. Врачи занялись приемом больных из местных рабочих, я — учетом неграмотных. В команде их набралось около 30 человек, все заявили, что желают учиться. Тогда я обратилась к учителям местной школы, и они согласились заниматься с неграмотными. Так начал работать у нас ликбез.

В первых числах августа уфалейские рабочие организовали на своей фабрике субботник и оповестили нас. Наш военком взял двадцать шесть свободных мужчин и отправился вместе с ними на завод. Нужно было провести очистку фабрики, собрать старое железо и погрузить в вагоны, распилить дрова, одним словом, в этот день была проделана большая работа, — так сообщили пришедшие с субботника.

Спустя день был получен наряд из Москвы — сделать сбор лекарственных трав. Руководить этим делом взялся заведующий аптекой товарищ Федоров. Восемь человек отрядили по малину и сорок четыре человека — в лес собирать травы: подорожник, ромашку, одуванчик и другие. Потом сушили их и отправляли по назначению.

10 августа. Утром на фабрике тревожный свисток. У нас как раз производилась проверка.

— Что такое?

— Пожар! Лес горит недалеко от станции и завода! Кто идет на пожар?

Побежали человек тридцать с председателем ячейки. День и ночь тушили пожар вместе с рабочими.

Пришли с пожара все в саже, одни зубы да глаза только поблескивают.

С 19 августа была объявлена «неделя крестьянина». Наша команда была почти вся распределена в ближние деревни, женщины ходили помогать крестьянам жать. При госпитале оставались только самые необходимые по дежурству. Было горячее время, и крестьяне рады были работникам.

Когда началась молотьба, от райкома партии получили наряд послать людей следить за молотьбой, чтобы крестьяне не скрывали хлеб и чтобы разверстка прошла правильно. Тут уже наших работников принимали неохотно.

8 сентября. Недавно в газете была помещена заметка о наших двух санитарах, которых судили за предательство: они готовили побег команды. Мы все были удивлены, что вместе с ними жили, а так плохо их знали.

20 сентября. Вечером было экстренное собрание партячейки. Был прочитан приказ из губвоенкомата о посылке добровольцев-коммунистов на фронт. Наш военком Лукьянов спросил:

— Есть ли желающие итти добровольцами? За малочисленностью в ячейке мужчин можно итти и женщинам, — пояснил он.

Из наших рядов поднялись три женщины и двое мужчин.

После собрания сейчас же устроили вечер для отъезжающих товарищей. У военкома, когда он говорил напутственное слово, подергивалось бледное лицо... От женщин выступила я. Момент был чувствительный.

Потом появились балалайки, гитара и скрипка. Отъезжающие плясали русскую, шутили, и вечер прошел весело. В заключение дружно спели «Интернационал».

10 октября. Сегодня у нас был семейный вечер. Пробовали мы свои силы: был концерт, хор и декламация. Вечер прошел весело.

ЗАСИДЕЛИСЬ

Происходит что-то непонятное: раньше каждый день летели телеграммы, чтобы скорее госпиталь отправлялся, а теперь сидим без дела, и неизвестно, сколько еще проживем тут. Скучища. Даже сходить некуда: нет ни собраний, ни лекций, только и слышны ссоры санитарок; знаю, что от скуки они и ссорятся.

Стали ощущаться недостатки в продовольствии, а нас все еще держат.

Октябрьские вечера длинные, спать не хочется, и работы нет. Заскучала молодежь. Вот была бы гармошка, хотя бы плясали, а струнные инструменты надоели. Как купить гармошку? Кто-то подумал сделать сбор по команде. Так и посту-

пили; на гармошку все давали охотно. Отрядили за покупкой двух санитаров в Екатеринбург. На вторые сутки, слышим, где-то за госпиталем разлилась гармошка — это наши санитары заиграли. Все выскочили их встречать, плясуны тут же пошли в пляс, так и вошли с пляской в помещение.

Теперь, как только вечер, устраиваем лекцию или собрание, потом начинается игра на гармошке и танцы. А ведь было и так, что нечего пообедать, но никто не хныкал, даже женщины никогда вида не подавали, что голодны.

Стали поступать к нам новые люди, и некоторые из них пытались сеять разлад в нашей крепко спаянной семье. Большинство среди нас были старые, выдержанные красноармейцы, и они немедленно вытягивали эту гниль на солнышко... В результате некоторым из новичков пришлось уйти, другие замолчали.

С женщинами я часто проводила беседы. Однажды, чтобы испытать их сознательность, я заговорила о наших красноармейцах, что вот, мол, они в такую непогоду, может быть, голодные и босые, борются за наше благополучие, за наше счастье. У многих из них нет ни родных, ни близких знакомых. Какая радость для них получить хотя бы записочку или, скажем, посылку. Пускай она будет и маленькая, но сколько она приносит нашему бойцу радости, гордости...

Женщины слушали меня внимательно и на другой же день сшили мешочки, накупили, кто что мог, написали записочки, запаковали все это и сдали в комиссию по сбору помощи для Красной армии. Эта комиссия производила сбор пожертвований, сортировала их и отправляла на фронт. Работы тут много было, и наши женщины ходили помогать.

Однажды вечером, какого числа — я уже не помню, я дежурила в госпитале. Кроме меня были только двое дежурных.

Около девяти часов — телефонограмма: «В десять минут собрать всю команду... Комиссару позвонить такому-то и получить указания».

Зная военную дисциплину, я решила, что ждать нельзя ни одной секунды. Немедленно посылаю к старкому поднять всю команду и за десять минут приготовить ее к выступлению; одновременно послала с донесением к комиссару.

К концу положенных десяти минут все были в сборе. Последним прибежал комиссар, — он жил дальше всех, — и сразу же ко мне:

— В чем дело?

Я показала телефонограмму.

А команда только теперь, при свете, стала осматриваться. Поднялся смех. Вид у людей был действительно необычайный.

Многие уже спали и, вскочив, спросонья напялили на себя первое, что попало под руку.

Некоторые прибежали в одном белье и босиком, а один санитар притащил только подтяжки.

Даже многие женщины оказались в одних рубашках. Одна надела на ходу юбку, но наизнанку, а кофту никак не могла надеть, как ни старалась — все головой попадала в рукав, и только в госпитале увидела, что вместо кофты на голове у ней рейтузы.

Однако было не до смеха. Комиссар, поговорив по телефону, отдал приказ:

— Тревога!

Команде немедленно были розданы патроны и винтовки, и разводящий увел вооруженных на указанные посты. Женщины остались в госпитале; некоторых послали к главврачу и сестрам, а другим приказали приготовить материал для перевязки.

На другой уж день выяснилось, что в деревне Аргаяш кулаки учинили бунт и там шел с ними бой. Ночь прошла в напряжении и тревоге, но все были готовы и к бою и к самоотверженной работе.

В три дня бунт был подавлен, и больше у нас ничего особенного не происходило, если не считать мелких недоразу-

мений, касающихся госпиталя: кое-кому пришлось, как у нас говорилось, «побывать в гостях у тещи», т. е. посидеть в каталажке. В такой большой семье, как наша, как говорится, «не без уroda». Кое-кто из вновь поступивших поднялся было «на дыбы», но военком умел во-время их осадить.

В Уфалее мы пробыли около пяти месяцев. Наконец-то из центра пришла телеграмма, чтобы наш госпиталь снялся с места и следовал за 5-й армией на фронттовую полосу, на юг.

ЕДЕМ

В ночь на 28 ноября ударил мороз, а нам надо было грузиться. Все мы обносились, почти босые, но, несмотря на мороз, грузились вечер и целую ночь и к шести часам утра были готовы к отъезду. Посинели руки и ноги, но все были в самом веселом настроении. У санитаров гремит гармошка, санитарки поют, у нас в вагоне оживленные разговоры:

— Куда нас повезут?

— Привезут в Екатеринбург и дадут другое направление.

— Нас в Курск повезут!

— О, там очень хорошо, не так, как на Урале; там тепло, растут яблоки и груши...

А мы слушаем и рот разинули. Вот будет блаженство: тепло и фрукты. Не надо ни шубы, ни пимов.

— Хорошо, если в Курск, а если направят в другую сторону, как бы не пришлось нам свинцовых слив проглотать!

— Ну и что же? И поглотаем, если понадобится. Знаем, на что едем!

Через два дня приехали в Екатеринбург. Я спросила:

— Долго ли мы будем здесь стоять?

— Три часа, — ответили мне.

— Вот горе-то какое, а мне бы хотелось родных повидать.

— Нет, не успеете!

Оказалось, мы простояли всю ночь и только около четырех часов утра выехали из Екатеринбурга. Как только поезд тронулся, мне стало обидно, что не повидала семью. Я почувствовала, что теперь уж поехали куда-то действительно далеко и надолго. Вернусь ли?

Сердце защемило, невольно подступили слезы, но я сдержалась и запела:

Прощай, страна моя родная,
Прощайте, милые друзья!

Пою, а на душе тяжело. Санитары понимают мое настроенье и тоже замурлыкали, помогают мне... Хотя и у них на сердце невесело, но кому охота выставлять свои слезы напоказ.

На станциях стояли подолгу, но если двинемся — летим, как птицы. Я, признаться, немного трусила, мне все казалось, что мы вот-вот перевернемся. Начиталась я в газетах о разных крушениях.

До Перми ехали так, что не было заботы о дровах: как только остановимся, так сейчас же начинается погрузка дров. За Пермью нас предупредили:

— Берегите дрова, дальше так не будет... Там дров нет... Продают на фунты!..

Мы это учли, и как только набросают нам дров, прячем их под нары, в темный угол, подальше от зорких глаз.

Когда перевалили за Пермь, с дровами действительно пошло хуже: у дороги стоят поленницы, но нам дров не дают.

В Вятке нам дали обед: мясной суп, но только название, что мясной, — разило от него так, что никто не ел. Каша хотя и с маслом, но опять-таки затхлая.

После обеда легли спать. От скверной пищи мне захотелось пить, а в вагоне воды ни капли. Что делать? Пойти за водой боюсь — отстану, а пить так хочу, умираю; оделась, взяла на случай документы, вышла. Темно. Все вагоны и ва-

гоны, обходить их — конца краю не видно, подлезать под них страшно, а вдруг паровоз хватит и раздавит! Все же пришлось пролезать под вагоны. Лезу, и конца им нет... Думала, что мне уж не выбраться на станцию. Но вот все-таки вылезла. Смотрю, а станция далеко влево осталась. Вижу, идет человек с фонарем; я к нему:

— Товарищ, где тут кипяток?

Он молчит.

— Где вода? — настаиваю я.

Оказалось, он безголосый, указал мне пальцем по направлению к лесу и шопотом сказал:

— Вон там!

Я бегала-бегала и ничего не нашла. Чувствую, что ноги устали и времени прошло уже много, наш поезд может с минуты на минуту уйти. А пить так хочется, кажется, что какую бы цену ни взяли с меня за стакан кипятку, я, не задумываясь, отдала бы.

Иду назад, ноги совсем отказываются, не идут; переходить вагоны через площадки не могу, а если под вагон наклоняюсь — падаю. Кое-как выбралась, смотрю: это не наш эшелон... Я назад, но в темноте не могу узнать свой эшелон: все вагоны одинаковые, и никого около них нет, ночь — все спят. Тут я совсем обессилела: упала, ушибла голову о вагон, ребра — о рельсу, теперь шабаш! Села между поездов и думаю: «Ну, теперь я отстала, прощайте, друзья». Эта мысль придала мне силы: «Нет! — решила. — Надо все-таки искать!» Поползла на четвереньках, а тут чайник мешает, хоть бросай его. Вдруг, вижу, блеснул огонек, и кто-то вылез из вагона. Я напрягла последние усилия и пошла на огонек. Оказалось, что это наша санитарка вышла покурить.

Я так обрадовалась, что и про воду забыла.

Едва я успела влезть в вагон и лечь на нары, как поезд двинулся. Если бы не вышла санитарка, я, наверняка, отстала бы от поезда.

На станции Аленкино мы открыли дверь теплушки, и к нам густыми облаками вкатился под ноги мороз. Холодно. Выскакивают наши санитары из вагона купить пирожков, выскочила и я. Иду мимо большого дощатого строения, заглянула в него и остолбенела: барак в половину его высоты завален картофелем. Я пошевелила картофель ногой — он забрякал, как камень. Оказывается, это ссыпной пункт разверстки, при мне крестьянки всыпали картофель в эту кучу. Высыпали, постояли над этой кучей, вздохнули и тихонько отошли.

Пройдут, нет-нет и оглянутся...

Меня взорвало. Вот так портят народное достояние! Вредительством занимаются! Как раз в это время подошел наш комиссар с женой. Я показала им на картофель. Комиссар хотел итти искать начальство, но тут, слышим, звонок, свисток к отправке поезда. Еле успели попасть в свои вагоны. Так и осталась на этой злосчастной станции картошка домерзать!

Миновали Ярославль. Едем через какое-то болото, деревья стоят, как чахоточные: длинные, тонкие. Такая скверная, неприветливая местность!

Около двенадцати часов ночи поезд остановился. Я думаю, что это станция, открыла дверь: стоим в чистом поле. Около вагонов ходят кондуктора с фонарями, пробуют колеса под нашим вагоном и говорят:

— Может лопнуть...

— Ничего, доедет...

Через несколько минут поезд тронулся и стал набирать скорость. Дорога шла под уклон. Скорость все увеличивалась. Вагон стало бросать из стороны в сторону. Вдруг резкий толчок. Вагон подпрыгнул. Дверь, которую мы с трудом открывали, раздвинулась и сейчас же с визгом опять захлопнулась. В это мгновение меня чем-то ударило по голове, и я потеряла сознание. Придя в себя, я почувствовала, что голова и лицо мокрые. Потрогала рукой — кровь... Пришлось снять чистую нижнюю юбку, чтобы перевязать рану. Помочь мне было

некому — каждый был занят собой, так как все пассажиры тоже пострадали. Дежурный Михайлов, который топил печь, обжег себе во время толчка живот, наткнувшись на горячую печь. Многие получили удары — кто в голову, кто в грудь. Все стонали, охали, кричали, не успев еще оправиться от страха. Фельдшер потерял ребенка: думали, его убило. Оказалось, что ребенок провалился между нарами, еле его отыскивали: слышим, кричит, а где — найти не можем.

Кое-как разобрали упавшие вещи и привели себя в порядок. У меня нашлись гвозди и молоток, и мы принялись чинить разрушившиеся нары. Тут только я почувствовала сильную боль в затылке. Рана была большая. Мне промыли ее борной кислотой и завязали платком. Она и до сих пор еще у меня временами болит.

КУРСК

Стоим уже целую неделю в Курске. Продовольствия нет, дров не дают, холодно. Мы все грязные. Появились вши. Нас хотели еще дальше куда-то отправить, но военком стал добиваться, чтобы нас оставили здесь. Он видел, как мы измучились в дороге. Пока шли переговоры, мы стояли на станции и голодали. К нашему поезду часто подходили оборванные дети и просили хлеба. Одного из них я спросила:

— Мальчик! Ты зачем побираешься? Разве тебя некому кормить?

— Некому.

— А где у тебя отец?

— Умер!

— А мать?

— Лежит больная!

— Тогда иди в приют, там тебя накормят.

Мальчик посмотрел на меня искоса и, ничего не ответив, ушел. Немного погодя подползает к нам мужчина без ног и тоже просит хлеба.

Один из наших санитаров говорит:

— Они ходят, собирают, а потом продают...

Меня это удивило.

Наконец получен приказ: «Госпиталь оставить в Курске».

Нам отвели громадный нежилой дом, дали дров. Затопили мы все печи, радуемся, что отдохнем и отопреемся. Расставили койки, разместились по комнатам. Что такое? Дым в трубы не идет, а расходится по комнатам; осмотрели — трубы в порядке, а дым все же не идет, начал уж есть глаза. Сползли мы с коек на пол. Холодно. Грязь. И вдобавок нас нестерпимо грызет вошь.

В мою комнату собрались: военком с женой, сестры, завхоз, некоторые санитары. Поднялся смех, остроты по поводу новой квартиры. Лежим на полу, кашляем от дыма, протираем глаза.

Дали нам электрические лампочки, а они еле горят, только видно в них желтенькое или красненькое пятнышко. У нас в запасе были стеариновые свечи, ими кое-как и осветились в первый вечер. Когда печи протопились, поднялся угар, пришлось отворить двери. К утру помещение выстыло, все мы замерзли, дрожим. Утром опять затопили печи, и опять дым. Вчера был дым оттого, что долго печи не топлены, но почему сегодня? Печники начали шарить по трубам, и оказалось — в трубах кирпичи, камни и вороньи гнезда. Из одной трубы вытащили двух голубей.

Наконец очистили трубы, исправили электрический свет. Но что делать при свете? Вечера длинные, спать не хочется, а работы нет. Комнаты были хорошие, но многое в них испорчено деникинской армией. В уборных наморожено, водопровод замерз, во дворе — гадость — пройти невозможно, помойной ямы нет. Лежат большие кучи отбросов — наследство деникинских солдат.

Через неделю нам дали по Херсонской улице дом бывшего губернатора, но тоже нежилой. Мне отвели удобную комнату в третьем этаже. Во втором этаже был развернут госпиталь, в первом — служебные кладовые, продуктовые, бельевые, ванная комната, аптека и другие. Кухня была во флигеле, который соединен с домом, в ней же и помещение конюхов.

Дом до нас был запущен, электрические провода оборваны, а в иных комнатах их совсем не было. Первые вечера пришлось сидеть впотьмах. Мы обратились за помощью в профсоюз — там имелся керосин. Союз пошел нам навстречу, дал ламп и керосину. Потом и электричество восстановили.

Пока шел ремонт, я в своей комнате сосредоточила всю работу партийной ячейки и профсоюза.

Больных еще нет. Хлеба нам дают по одному фунту в сутки; поутру получишь и враз съешь и до другого утра сидишь голодная. В обед получаем водичку без хлеба... А в городе все-го полно, на толкучке всего много, но не всякому доступно.

Нашего жалованья хватает только на два фунта хлеба. У меня сердце болит о команде: все они грязные, оборванные, полуголодные, вошь их грызет, нужна баня, а бани нет.

Наши все терпят, не жалуются. Но и самому военному надоело в грязи ходить, стал просить баню для команды. Дали нам баню какого-то генерала. Мы смеемся:

— Вот пожаримся в генеральской баньке!

Получив разрешение, наши ребята бросились со всех ног: кто воду возит, кто дрова, кто уже топит. Как только баня была готова, нас всех выстроили и повели. Вошли, смотрим: баня высокая, большая, а кругом пусто, даже присесть негде, стоит только одна ванна. Как же мыться? Куда положить одежду? Вот так баня, да еще «генеральская»! Раздеться нельзя, холодно. Пришлось ставить в очередь: одна моется, а другие стоят, ждут. И пока сидишь в ванне — ничего, а как только поднимешься — сразу же замерзаешь.

С грехом пополам все же помылись, надели чистое белье. Немножко полегчало, но все-таки это не то, что надо. Разве такие у нас на Урале бани? Хожу я по городу и все высматриваю, нет ли какого помещения, подходящего для бани.

Присмотрела я как-то на огороде позади нашего двора помещение с окнами без рам. Подойти к нему нельзя было из-за грязи и огромных куч навоза. Каждый день я наблюдала за этим помещением — все боялась, чтобы его не заняли подо что-нибудь. Однажды я спросила дворника:

— Это помещение чем занято?

— Ничем. Куда его — в нем земли и разного мусора до потолка навалено. В неделю не убрать!

Приходит военком, я и говорю:

— Как-никак, а баню нам нужно для команды.

— Конечно, нужно, да помещения нет!

— Помещение есть, только нужно ремонт сделать, очистить его.

— За чисткой дело не станет. Где оно, твое помещение?

— Пойдемте, я покажу.

В два дня помещение было очищено, привезли кирпичи, в три дня сложили каменку и раму вставили. Плотники все оборудовали. Навязали веников, и баня первейшая. Попарились вволю. Тело так натосковалось о бане, что не знаешь, где хватить его веником, всюду чешется. Наши санитарки даже визжали от удовольствия. Эту ночь спала, как убитая. Утром встала, и мне показалось, что я помолодела на десять лет.

МОЕ ПИСЬМО

В сердце у меня непреодолимое желание написать тем, кто не был на торжественном празднике в день восьмого марта.

«Дорогие мои! Я хочу поделиться с вами тем впечатлением, какое произвело на меня торжество тружениц, в день восьмого марта.

Вот как это было: когда я вошла в театр и обвела глазами ряды, вижу, только кое-где сидят женщины. Думаю: «Ну что ж, придут еще!» В это время грянула музыка. Подле меня сидела какая-то пожилая женщина. Я заметила, как ее подняли звуки музыки и как радостно устремила она свой взор туда, откуда лились эти бодрые мелодии. Потом она наклонилась ко мне и прошептала:

— Ах, как это хорошо!

И вот я представила себе, что передо мной та самая женщина-пролетарка, которая на протяжении целых веков была рабыней. И в душе своей я заговорила с ней: «Вот, труженица, пришел этот день, которого ты добивалась всю жизнь... Отдохни сегодня после всего пережитого и приготовься к еще более трудной работе, но знай, что теперь ты будешь работать на себя, на свою семью, а не для тех, кто веками сидел на твоих слабых плечах».

Президиум объявил торжественное заседание открытым. Оркестр заиграл «Интернационал». И вот мне показалось, что все вставшие — грозные великаны, готовые разрушить это старое, прогнившее царство лжи и угнетения и на развалинах его создать светлый, новый мир братства и труда. В этот момент я забыла все, даже самое себя. Я будто где-то в воздухе, в каком-то раю, где светло и радостно, где раздаются слова приветствия и призывы крепко держать в своей руке красное знамя работницы. Какая гордость в этих мощных звуках гимна! Посмотрела я на пустые стулья, и мне стало больно за женщину, за ее несознательность, некультурность, закостенелость.

Товарищи-женщины, дорогие труженицы, давайте возьмемся дружно за работу, только этим мы можем освободить себя от гнета векового нашего рабства. Работайте, учитесь! Не слушайте нашептываний наших врагов!

Я приезжая женщина и мало хожу по городу, но вижу, сколько стоит работы, чьих-то рук дожидается она. Эта работа ждет наших рук, женщины!»

ПЕРВОЕ МАЯ

Какое совпадение: сегодня — день торжества пролетариата и сегодня — пасха. Ночь была такая, какая бывает в это время на Урале: темная, но теплая и сухая.

Утром в десять часов мы получили обед и стали собираться в город, а в двенадцать часов вышли из госпиталя со своими знаменами, запели, но песни у нас как-то не клеились, много начинали и ни одну не спели по-настоящему. Почему не выходило — никто понять не мог. На Красной площади выстроились колоннами. Против нас стояли дети. На мальчиках были красные рубашки и синие штанишки, девочки в красных платьях и платках. Для детей подали автомобиль и увезли их на площадь Первого мая; туда же двинулась и вся демонстрация. Мне не пришлось посмотреть шествие: нужно было идти в Рабочий дворец встречать героев труда.

В большом зале было приготовлено семь длинных столов, зал украшен зеленью и красными плакатами, посередине зала красная доска, на ней написаны золотыми буквами имена героев, а всех их — четыреста человек. Столы покрыты белыми скатертями, и для каждого участника вместо салфеток нарезаны платки. Обед был из трех блюд: на первое — суп, на второе — жареная свинина, на третье — яблочный компот, для питья — сидро. Потом подали чай, к чаю сладкий пирог и пирог с творогом и мясом. Мы, коммунистки, обслуживали гостей, подавали обед и чай и вместе с ними обедали. На вечер всем были розданы билеты в театр, где ставили пьесу Луначарского.

Пословица говорит: не в свои сани не садись. Мне иногда кажется, что я сажусь не в свои сани, но что же делать, если и надо и хочется в них ехать? Вот я знаю, что не умею писать, но страстно хочу, хочу писать. Слышите?! Кричу, громко кричу, чтобы слышали все: «Помогите, научите!» Я не умею писать, но хочу, так хочу, что иногда глаза закрываются, от усталости голова валится на подушку, а рука все же тянется за бумагой и пером. Каждый день во мне спорят трое: один кричит: я писать хочу! Другой говорит: я не умею! Третий настойчиво шепчет: спать надо, отдохнуть надо! Но всех сильнее тот, кто кричит: я хочу, хочу писать!

Мне нужна поддержка, чтобы мои мысли не пропадали напрасно, как раньше пропадали, а вылились бы в крупную форму и принесли хоть какую-нибудь пользу. Неужели такое страстное желание может пропасть даром и не дать результатов?

ЗА СОЛЮ

У нас в госпитале не стало соли, и в городе ее не было. Узнали, что люди ездят за солью в Харьков. Кто-то научил нас, что за солью надо ехать смелому и иметь на себе крест. Женщины чтобы обязательно были с нестриженными волосами. Без креста и без волос Махно тут же прикончит.

Сговорились три женщины с длинными волосами, каждая в карман взяла крест, и поехали. На какой-то станции Махно напал на поезд, и все, что говорили и о чем предупреждали, действительно так и было. Натерпелись они страху, а соль все-таки привезли.

В феврале к нам начали посылать больных. С поступлением больных наше питание улучшилось, но опять оказался

недостаток команды. Из прежнего состава приехало всего сто двадцать человек, а остальные остались в Екатеринбурге. На пополнение команды нам откомандировали дезертиров — восемьдесят человек. Это были какие-то озверелые люди, и много пришлось с ними повозиться, пока общими усилиями не удалось их исправить. Двое сбежали, но остальные семьдесят восемь человек остались работать.

Чтобы повысить их культурный уровень, мы развернули учебу. На курсах санитаров занимались врачи. Были и общеобразовательные курсы, потом открыли школы ликбеза. Нескольких человек из команды послали на курсы агитаторов и пропагандистов в Орел.

Местком переизбрали, я осталась секретарем партийной ячейки и секретарем военкома, а иногда и заменяла его. Во все комиссии и на курсы я вводила дезертиров, и они были довольны тем, что их не отделяют, а держат наравне со всеми.

Со временем ребята исправились и стали хорошими, сознательными работниками.

— Мы никак не думали, что с нами будут обращаться по-человечески. До вас мы нигде не встречали такого обращения!.. — говорили они.

Чтобы показать, что им доверяют, военком даже разрешал им отпуска домой в деревню. А я снабжала их газетами, журналами для крестьян. И все они возвращались аккуратно в срок.

ОТПУСК

В апреле начались отпуска. Многие из наших уральцев уже уехали. Захотелось и мне повидать семью и родные места.

Я заявила о своем желании военному, но он ни под каким видом не соглашался отпустить меня. Только после долгих споров, наконец, уступил.

Двадцать седьмого мая я получила все документы. Подали лошадь. Я выбежала из госпиталя — багаж мой был уже на телеге, — села и поклонилась всем, кто вышел меня провожать.

Военком с женой приехали проводить меня на вокзал. Он даже и тут пытался уговаривать меня отложить отпуск. Если бы не был уже сдан багаж, я, пожалуй, и вернулась бы — так испугала меня обстановка станции. Пришел поезд. Я простилась с военкомом и его женой и поехала. Тут я только почувствовала настоящую жалость и тоску по госпиталю. Нас поехало из команды двадцать человек. Народу во всех вагонах набито, как селедок в бочке. Присесть и думать нечего. Я попала между красноармейских узлов, наваленных на полу, и пришлось стоять, как журавлю, на одной ноге. Одна нога устанет, вытащу ее, другую кое-как поставлю. Так и ехала до Москвы на одной ноге, а ведь это шестьсот верст.

В Москве пересадка. Шли по каким-то улицам, теперь и не вспомнить. Я в Москве новичок, по улицам ходить не умею, особенно при таком большом движении, но меня все интересует: хочется и то посмотреть и другое. Вертела я, как сова, головой кругом и не заметила, как отбилась от товарищей.

На моем пути подле фабричной стены сидела женщина с четвертью. Увидев меня, уморившуюся от жары, она предложила напиться. стакан — две копейки. Я начала пить — и что же? Это была самая обыкновенная вода. Я поняла обман и говорю:

— Да ведь это простая вода!

Она отвечает:

— Да, простая, а вы какую хотели бы?

— А я думала, что это какая-нибудь фруктовая вода.

— А вы, наверное, не здешняя?

— Нет, я с Урала.

— А у вас на Урале разве не продают воду?

— Нет!

— Ну вот видите, — говорит она, — а у нас продают.
На станции нашла своих товарищей.

Много было тут разговоров о Москве — кто что видел и чем был удивлен.

На вокзале, куда ни сядем, отовсюду гонят.

— Да где же можно сидеть?

Нам указали.

Ночь. Мы разлеглись, кто как попало, а тут кричат:

— Береги карманы!

Вот беда-то! Мы, женщины, решили не спать. Сходили в лавочку, купили еды, сидим, жуем. Ночью нас, отпускников, перевели на линию.

Подошел поезд, раздалась команда:

— Урал, садиться!

Мы бросились гурьбой, но нас остановили:

— Тише! Мы скажем кому!

Прокричали по списку командировочных и отпускников. Тут полезли и другие, но их не пускают, говорят:

— Останутся места, и вам дадим!

Мне очень понравилась такая посадка.

Сидим в вагоне, чисто, просторно. После Курской дороги наш вагон показался мне прекрасной комнатой. Вагон зашевелился, здания пошли навстречу. Значит, поехали!

Так мы ехали трое суток. На одной из станций нам кто-то крикнул:

— Эй, командировочные, вылезай!.. Здесь пересадка!..

Мы повыскакивали. Видим, стоит поезд; ринулись туда, а нас не пускают — в вагонах полно людей. Поезд снялся, идет, а у нас в вагоне чуть не драка.

Спор и ругань не прекращаются.

Я думаю: «Ну его к чорту, надоело. Если никто не вылезет, я одна вылезу».

На первой же станции я вышла из вагона. Товарищи кричат мне:

— Куда ты? Останешься, здесь поезд стоит пять минут.

А я им в ответ:

— Надоело слушать этот кавардак!

Мне еще крикнули в след:

— Что ты будешь есть в дороге? Ведь бумажка на питание с нами!

Я машу рукой:

— Поезжайте, я не пропаду.

А на сердце радость. Думаю: «Не нужны и обеды, мне так хорошо, я свободна!»

Поезд ушел. На станции стало тихо, пусто, а у меня внутри льется радость, сердце трепещет от удовольствия, что я одна; точно крылья у меня выросли, я влетела на станцию, спросила:

— Когда пойдет поезд на Пермь?

— Через четыре часа!

Я успокоилась. До этого дня я как будто никогда не видела природы, так мне теперь показалось все прекрасным. Такие красивые деревья, хотя стояли только береза и черемуха да кое-где сосны, но мне все показалось таким красивым! А воздух! Прямо надышаться не могу: чистый, легкий. Деревья, солнце, воздух и все окружающее меня опьянило.

Я легла на слегка влажную траву под тенью деревьев и заснула сладким сном.

Сколько спала — не знаю, но сквозь сон слышу вдали свисток поезда. Пробудилась.

Вынула бумажку, думаю: «Надо написать комиссару Лукоянову». Кратко описала свое путешествие, вспомнила и о том, что я теперь одна и как мне хорошо... Запечатала и опустила письмо в ящик.

Пришел поезд. Села в вагон, а там никого нет. Положила свой багаж и опять радуюсь, что так свободно в вагоне.

Проехали один, второй перегон, на третьем ко мне сели два красноармейца. Они тоже ехали в отпуск. Багажа у них немного, поехали мы все трое, как будто давно знакомые, родные люди. Сидим, поем. У меня был свой чайник; один из товарищей побежал с чайником на станцию, принес воды и сообщил, что здесь будут давать хлеб красноармейцам. Побежали за хлебом, стали в очередь. Меня красноармейцы выживают:

— Куда ты, тетка, прешь? Видишь, что только красноармейцам выдают хлеб?

Мой товарищ ответил:

— Она тоже красноармейка.

Я показала свой документ, все удивленно посмотрели и успокоились. Нам выдали паек: хлеб, чай и сахар.

Товарищи нашли где-то доски, сделали нары, и мы все на них расположились. Мои спутники были тоже коммунисты, и это нас еще более сблизило. Жалели, что ехать нам вместе уже недолго. Я припомнила:

— Товарищи! Как же это вы говорите недолго ехать?.. Ведь мы еще Вятку не проехали.

— Верно, — говорят, — Вятка еще впереди. Значит, там пообедаем!

Так, болтая, незаметно все заснули, так как был уже вечер. Поезд идет-идет и остановится и опять идет. Мы спим, не обращая внимания на новых пассажиров. Утром мы прибыли в Вятку, достали кипятку, пьем чай. В окно я увидела, что какая-то женщина мается с багажом и с ребенком. Мне ее стало жалко, пригляделась к ней и узнала:

— Нюрка, Нюрка, иди сюда! — кричу я ей в окно.

Товарищи спрашивают:

— Кто это?

— Это наша санитарка, тоже едет в отпуск.

Один из товарищей соскочил, взял у нее с плеч багаж и привел ее к вагону. Как она была рада, когда увидела меня!

— А где другие наши?

— Не знаю, — говорит Нюрка. — Которые доехали уже до своей станции, те вышли, а нас осталось немного... Здесь, почти на самой станции, вдруг как трянуло наш вагон. Нары сбросило на пол, чуть нас не задавило. Мы только перепугались.

— Что же случилось?

— Крушение. Поезд на поезд наскочил. Посмотрите, паровоз наш как разбило!

И в самом деле, у паровоза и труба на боку, и котел сплюснут.

— Как же это так, ведь это уж на станции?

— Это измена, все это делают белогвардейские остатки, — пояснили мне товарищи.

Моя санитарка не нарадуется, что теперь не одна до места доедет, и ребенок ее успокоился: напоили его чаем, накормили, уложили, и он уснул.

Вечером поезд пошел, и мы все легли. В Вятке к нам новые пассажиры прибыли, шумят, но нас не беспокоят — ведь мы первые заняли места и сами нары себе устроили; едем изда-лека, и ехать еще далеко, поэтому нас и не тревожат.

На разъезде около Перми я распрощалась с товарищами-красноармейцами. Они дали мне свои адреса и просили писать им, как у нас идет жизнь в Екатеринбурге.

Вот и Кама. Мост. Тихо проползли его. Ох, как страшно смотреть вниз! Вот и Пермь. А вот и дорогой мой Екатеринбург!

— Здравствуй, как живешь?

Вышли с поезда и направились по квартирам; это было восьмого июня. На квартире я нашла свою семью с пополнением: оставила троих, а теперь уже четверо.

часть четвертая

СЕМЬЯ СЛУЧАЙНЫХ

НА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ

Вероятно, от долгой езды, когда приходилось по-разному питаться и пить даже грязную непрокипяченную воду, я, как приехала, так и слегла. Началась у меня дизентерия. Сначала лежала в комнате, но поминутно понуждало во двор. Я устроилась лежать во дворе. К доктору пойти — нет сил; призвать врача — некому, да и средств нет оплатить визит. Ночью пойдет дождь, насквозь промокну, так и лежу. Хорошо еще, что постель была теплая. Одним словом, мой организм боролся с болезнью без всякой посторонней помощи. Хотя я лежала у Андрея, но он ни разу не зашел посмотреть на меня. Жена его зайдет в дровяник набрать дров — вот только я и видела людей. Изредка приносила мне в чашке воды, но очень мало, а пить надо. Дождь, как пойдет, станет просачиваться сквозь крышу дровяника на мою постель, я подставляю под дождь чашку, вода набежит. С падением температуры пришло со-

знание. Думаю: «Подходит срок явиться к месту службы, а я и подняться не могу. Что делать?» Собрала сколько было сил и пошла в губком партии, надеялась там встретить знакомых, но никого не нашла и с досадой пошла обратно. Думаю: «Пойду в комиссариат, а там уж кого-нибудь попрошу помочь мне по лестнице подняться!»

У комиссариата меня встретила какая-то женщина, оставилась, прищурила глаза:

— Обождите, я вас как будто где-то видала?

Я подняла глаза, узнала ее: она была у меня в госпитале. Я объяснила ей свое горе.

Она посоветовала мне, куда пойти. Пришла я к комиссару.

— Я приму меры... В виду серьезной болезни надо тебя совсем освободить.

— Значит, я остаюсь здесь, в Екатеринбурге, и снимаюсь с учета?

Он подумал немного и добавил:

— На гражданские права переведу!

Жаль выходить из Красной армии, но приходится соглашаться — не доехать мне живой обратно до Курска. Я плохо представляла себе, как это быть на гражданских правах, как жить, если не буду в армии.

Не знаю, поразмялась ли я, или меня обогрело солнце, которого я не видела больше месяца, но мне стало легче, появился аппетит, а есть нечего. Что-то надо предпринимать!

Пошла в 1-й райком партии. Мне предложили работу: помогать в организации 5-го райкома. Я дала согласие и на следующий день с товарищем Никифоровой принялась перевозить мебель в канцелярию.

Помещение под райком было отведено по Фетисовской улице. Привели его в порядок. Посадили меня за регистрационный стол, потом ко мне незаметно перешел прием членских взносов. Работа для меня новая и трудная, счетоводную часть я не знаю, с небольшого заработка еще возьму

взносы, а с большого — хоть убей — не могу высчитать, сколько нужно взять.

Осенью райком перевели на Уктусскую улицу. Я все еще сижу на этой работе, маюсь, да и люди вместе со мной маются, но слабое здоровье заставляло молчать и ждать... Нужно было поправиться, а в питании был сильный недостаток. Какие были вещи у меня — все проела. Если принесу муки — семья все съест, а у меня опять ничего нет. Потом нас прикрепили к столовой на обед, но ведь только на обед, а утром и вечером, где хочешь, питайся. Так вот и жила, так и работала с горем пополам.

Мне предложили перейти на работу в детский дом.

«Ну, — думаю, — надо итти, здесь все равно мне больше не служить».

НА ПОРОГЕ ДЕТДОМА

В первых числах декабря 1921 года я отправилась на свою новую работу. День был сумрачный, северный день. Свирепый буран кружил хлопья снега. Дома стояли, как выбеленные известью. Случайные пешеходы закрывали лица руками, воротниками, шли, скорчившись, и, каждый по-своему, ругали метель.

Вот и тот дом, куда меня направили. Чмокнула дверь, и я вошла в запутанный, полутемный и неприветливый коридор. Впотьмах нащупала еще одну дверь, открыла, переступила порог и в недоумении замерла... Да куда же это я попала?

В комнате, куда я вошла, все окна были заколочены, только в одном углу через грязные и обледенелые стекла падал бледный зимний свет. Судя по размерам комнаты, здесь когда-то был зал, но теперь, запущенный, сырой и ужасный, он показался мне склепом. Но где же люди? Где дети?

В комнате ни души. Я вышла в коридор, осмотрелась в темноте и увидела двери, которых прежде не заметила. Машинально дернула за скобку. Дверь открылась. На меня пахнуло жильем. В комнате были две женщины и мужчина. Одна женщина — высокая, худощавая, с острым взглядом серых глаз. Ее волосы прихвачены белой косынкой, но ни косынка, ни белоснежный халат ее уже не молодили. Она казалась старой. Мне она не понравилась.

Вторая женщина, на вид лет двадцати — двадцати двух, с каштановыми в завитушках волосами, с густыми и правильными бровями, как-то сразу привлекла меня к себе. Ее приветливая улыбка была настолько тепла, что мне показалось, будто я где-то ее уже видела, жила вместе с ней и вот теперь, после долгих лет разлуки, мы, как старые приятели, встретились.

Третий из присутствующих — высокого роста, чисто выбритый мужчина с орлиным носом — встретил меня быстрым взглядом своих маленьких и, как мне показалось, печальных глаз.

Немного осмотревшись, я спросила:

— Мне нужно видеть заведующего.

— Я самый, а что нужно?

Я подала свою путевку. Он прочитал ее и с радостью, как я заметила, повернулся к женщинам:

— Товарищ Попова, вот губоно послал нам работницу!

Молодая женщина, к которой он обратился, ответила:

— Что же, надо принять. Губоно знает, кого посылает, — и с улыбкой добавила: — Как вижу, нашего полку прибыло!

Невольно и я улыбнулась на ее улыбку и подумала: «Какая милая женщина!»

Другая посмотрела на меня и, ничего не сказав, повернулась и вышла из комнаты.

— Хорошо! — любезно сказал мне заведующий. — А когда вы придете? Мы бы желали поскорее.

— Завтра приду, — ответила я и ушла.

На другой день утром я боролась с собой: итти мне или нет? Меня пугало все виденное мною, но какой-то властный голос настойчиво говорил:

— Ты должна пойти, это твой долг. Не забывай, что тебя посылает партия, и ты должна выполнить ее указание!

В голове мелькнула мысль о милом госпитале в Красной армии. Ведь когда я вступила в него, там был тоже кошмар, но потом все было изжито, исправлено. Так и здесь — нужно только приложить усилия, и все изменится. С такими мыслями и с надеждой на свои силы я собрала пожитки и пошла.

После бурана ударил мороз, а на мне одежонка легкая, только ноги в валенках, которые получила еще в госпитале, а я люблю мороз сызмальства. Иду, под ногами поскрипывает.

Меня приветливо встретила та же молодая женщина — Попова.

— Пришли? Укладывают вот здесь вещи, это будет наша с вами комната. Я сейчас принесу кипятку, попьем чаю, а там подойдет заведующий!

За чаем мы познакомились поближе, и оказалось: мы с ней землячки, из одного завода, и я хорошо знаю ее родителей и их дом. Это совпадение еще более сблизило нас, и мы решили работать заодно. Она вкратце познакомила меня с биографией заведующего. Рассказала, что он бывший учитель, родом — кубанец, взят был белыми на войну, но сейчас же перешел на сторону Красной армии и был направлен в Екатеринбург. Здесь его назначили завдомом. Работает он первый месяц.

— А я, — говорит Попова, — работаю вторую неделю, и, правду сказать, меня с ним сотрудники недолюбливают... Борьбы будет много и работы много, но это не страшно, мы свое возьмем! Не правда ли?

Пришел завдом и, увидев меня, улыбнулся:

— Пришли? Вот и хорошо, а я сомневался!.. У нас, видите, как еще неприветливо! Много придется поработать! Нам

нужна сестра социальной помощи и няня... Какую вы возьмете на себя работу?

Я подумала и говорю:

— Буду сестрой.

Тогда я еще не знала, что обязанности сестры в детском доме совсем не такие, как в госпитале.

Мое появление в доме старые сотрудники встретили не приветливо. Конечно, этого и нужно было ожидать, так как одна из воспитательниц — Цаплина — дочь попа и замужем была за попом. Вот она и поднимала бузу против нас, коммунистов, и стремилась подорвать нашу работу и навредить нам.

Первые дни мы трое сходились в нашей комнате и совещались: с чего начинать и как? Решили созвать общее собрание коллектива и взяться в первую очередь за женщин, так как их было большинство. Работу с женщинами поручили мне. После собрания будет видно, кто с нами, а кто против нас. Советски настроенных приблизим к себе, а несогласных придется из дома убрать.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Первые дни я ходила по дому, знакомилась с каждым закоулком и нашла всюду беспорядок и запустение. Но что более всего меня удивляло — это отсутствие детей. Кажется, везде была, все осмотрела, но детей нигде не обнаружила. Станный детский дом без детей! Наконец я увидела мальчика, он принес дрова и положил их к дверям одной комнаты.

— Кому ты принес дрова? — спросила я у него.

— Воспитателю, дяде Коле. Мы всегда ему колем дрова и носим!

— А где вы живете?

— Наверху, в третьем этаже, — и он указал на узкую лестницу.

Я поднялась за ним и вот что увидела: дети занимали полутемную комнату с маленькими окнами в четыре стекла. В ней было сыро, холодно и грязно. Не было ни кроватей, ни стола, стояли два поломанных стула да пустой ящик, заменявший рабочий стол. Один мальчик, старший по возрасту, сидел и починял ботинки; на окне уже выстроилось несколько пар починенных мужских ботинок. На полу валялись обрезки старой кожи, грязная бумага, тряпки, окурки, две пары колодок и молоток. Видно было, что пол никогда не мыли и не подметали, на нем был изрядный слой мусора. Комната не отапливалась. Я спросила:

— Где вы спите?

Мне ответили:

— На полу!

— А на чем?

— Что на нас есть, в этом и спим.

— Кому это ты починаяешь?

Мальчик замялся, почесал затылок и ответил:

— Тут, одному знакомому.

— Куда же вы заработок девааете? Ведь вас здесь кормят.

— Хлеба покупаем. Пайка нам нехватает, вот и добавляем купленным, да и сладенького поесть охота — пряников или конфетку купим. И папирос надо, табаку. Как заработаем, так и купим.

— Много вам несут работы?

— Нет, немного, только знакомые...

— Мы найдем где-нибудь старые ботинки, — вставил другой мальчик, — одни изрежем на заплатки, другие этой кожей починим и на толкучке продадим... Вот тебе и денежки...

— А вы не воруете?

Ребята переглянулись и, смеясь, ответили:

— Нет!

Но один мальчик, посмелее, сказал:

— А где что попадет, то и украдем, папиросы копим, курить-то надо? А когда дядя Коля пошлет нас на толкучку что-нибудь свое продать, мы, понятно, продадим, деньги ему отдадим и себе наживем копеек десять-пятнадцать... Выпить охота — купим водки.

— Вы разве пьете? — ужаснулась я.

— Маленько выпиваем. А вот Васька здорово пьет.

Все засмеялись.

Васька — старший из детей — взглянул на говорившего и с хитрой улыбочкой сказал:

— Чего ты врешь, что я больше пью?! А почему и не выпить? — и задорно тряхнул головой. — Ну и выпью, кто мне укажет!

— Родители у вас есть?

Ребята перестали смеяться, замолкли.

— Мать есть, да не знаю где, а отец умер... — грустно вспомнил один.

Другой сказал:

— Отца убили на войне!..

— У меня отец ушел добровольцем в Красную гвардию, и там его убили. А мать умерла...

И оказалось, что у большинства ребят отцы или братья ушли в Красную гвардию и потом уже не вернулись.

— Вы грамотные? В школу ходите?

— Нет, неграмотные и в школу не ходим. Вот только двое читают: Васька да Ванька.

— Нам некогда учиться! — заговорил третий. — На толкучку надо ходить, деньги зарабатывать. Чего-нибудь стырим — вот и деньги!

— А как вы сюда попали?

Все почти в один голос ответили:

— Нас захватили. Мы на улице спали.

— Я залез в ящик, зарылся в мусор и сплю. Утром милиционер меня сцапал и утащил в отделение. Там я и сидел, пока набрали нас группу и сюда привели!

— А мы, — говорит другой, — трое спали, бывало, на камне у электрической станции, там камень теплый, мы на нем и лежали, ворочались, бока грели, тепло было. А вот теперь хуже, спать холодно, была бы печка — мы бы дров натащили, за этим бы дело не стало!

Я ушла от них с болью в сердце. Ведь это же дети красногвардейцев! Виноваты ли они, что стали воришками?! Обо всем этом я вечером рассказала Поповой и завдому.

На третий день назначили общее собрание. Женщины хотя и медленно, но собрались почти все, не было только Цаплиной.

Но когда мы хотели открыть собрание, явилась и она.

— Это еще что за собрание? Мы и без ваших собраний знаем, что нам делать. А кого выбрали председателем?

Кто-то показал на меня.

— Это с чего взяли ее выбирать? — злобно зашипела Цаплина. — Что она понимает в нашем деле? Без года неделю живет, да еще и недели нет. Их всех троих не выбирать надо, а выгнать из дома грязной метлой!

Я хотя и знала, что она настроена против нас, но такого нахальства не ожидала.

Попова также растерялась, но, скоро оправившись, начала уговаривать Цаплину:

— Ну, чего вы раскричались? Садитесь, и мы вместе обсудим наши дела.

Я также пригласила ее сесть и принимать участие в работе собрания.

Но разъяренная Цаплина продолжала свое:

— Нечего обсуждать, и так знаем! — и набросилась на женщин.

— А вы чего сидите? Не видали, что ль, их? Пришли слушать ихнее вранье?

Некоторые из женщин зашевелились, стали перешептываться, вижу, сейчас встанут и уйдут. Надо действовать немедленно. Я вскочила:

— Гражданка! Вы срываете собрание! Во-первых, вы находитесь не в своей комнате, и потому не устраивайте скандала, а, во-вторых, если вы не хотите слушать нас — оставьте помещение! Выйдите, а потом мы с вами поговорим.

От моих слов Цаплина затихла и, сверкнув глазами, пошла к двери, что-то бормоча про себя.

Некоторые из женщин ушли за ней, другие остались. Я провела с ними беседу по поводу происшедшего, заметила, что так работать нельзя, что у нас дела много и нужна солидарная работа. Женщины согласились. После этого собрания большинство, преимущественно из техничек, потянулось в нашу сторону. Я стремилась как можно ближе к ним подойти, часто с ними беседовала, старалась поднять их сознательность и хорошее, человеческое отношение к детям.

Цаплина же стала распространять о нас всякие сплетни и запугивать несознательных женщин. Она распространяла слух, что власти большевиков скоро придет конец. Завдом хотя и знал об этих разговорах, но никаких мер не предпринимал. Поймал он однажды нас с Поповой и тихонько спрашивает:

— Слушайте, что же будем делать?

Мы с Поповой были одного мнения и говорим ему:

— Вы — администратор, вы и действуйте!.. Согласуйте вопрос с губано и держайте: чтобы направить работу в доме, надо убрать Цаплину. Жалеть ее — это значит не жалеть всех!

Завдом видит, что отношения у нас с сотрудниками налаживаются, да и детей начинает прибывать, а это уже требует усиленной и дружной работы. Он набрался храбрости и отстранил Цаплину от работы.

Мы предложили завдому почаще собирать коллектив. Таким путем мы будем сближаться, и одновременно будут выплывать причины наших недостатков и непорядков. На собрании мы постановили: «Еженедельно созывать педагогические совещания и раз в две недели — общее собрание всего коллектива».

НАШИ НЕДОСТАТКИ

Наш завдом Верицоса целый день бегаёт, хлопочет. Поздно вечером приходит усталый, но с пустыми руками.

— Обещают дров и мануфактуры, но когда ещё дадут — неизвестно!.. А ведь так мы замерзнем! Кстати, нет ли у вас кипятку, есть ужасно как хочется!

— Мы сегодня нашли старый пень, — говорит Попова. — Ребята раскололи его на дрова. Сварили обед и осталось ещё на ужин. Кипяток есть, а вот чая нет... вышел весь... Не знаю, чем будем ребят поить?

Я вспомнила, что у меня остался маленький запас чая. Подаю им пакетик:

— Вот чай, раза на три хватит!

Попова сходила за кипятком. Мы уселись пить чай. Отогрелись немного и повеселели.

Назавтра, после обеда (какой уж там обед, только званье одно!), взглянула я в окно и вижу: бежит наш завдом через двор, только полы шинели от колен отскакивают. Кричу:

— Оля! (Мы звали друг друга по имени.) Посмотри-ка, «наш» бежит... Что-нибудь, вероятно, случилось!

Вбегает он в комнату и ещё в дверях радостно кричит:

— Ну, товарищи, добился, — сбрасывает на стол шапку, вытирает рукавом шинели пот со лба. — Мне выдали шесть-

сот метров мануфактуры, немного продуктов, а завтра и дров дадут!

Помню, какая у нас была радость при этом известии!

Вскоре привезли мануфактуру и продукты. Мы все выскочили помогать — выносить груз из саней.

Весь вечер мы ползали по полу над мануфактурой, вымеривали, высчитывали, соображали, что нам из нее сшить: одежду, белье или что-нибудь другое. Ведь ничего у нас не было! Мануфактуру выдали, как сейчас помню, черного цвета с белыми цветочками.

Долго мы примеривали и пришли к заключению, что надо шить ватные одеяла, так как впереди зима, а ребята спят под обрывками рвани. Сосчитали — выходит сто двадцать одеял. Вот и хорошо, ребятам тепло будет спать! Завтра придут работницы нам помогать, а тем временем нужно и своих попросить на субботник, ведь стыдно им будет отказаться.

— И в колонию надо сходить, — говорит завдом. — Я уверен, что и оттуда придут нам на помощь!

Так и решили. На радостях попили чаю и разошлись на покой.

СУББОТНИК

Шесть часов утра. Мы уже все на ногах, хочется поскорее взяться за дело. В семь часов завдом сходил в колонию, договорился с заведующей. Та обещала притти с девочками. Верницоса позвал и своих сотрудниц.

— Не пожелаете ли и вы на субботник?

Цаплина хотя и была отстранена от работы, но жила еще у нас в доме. Она начала было отговаривать сотрудниц, но Верницоса твердо заявил:

— Если не желаете, мы и без вас обойдемся, гражданка Цаплина! Если вам не нравятся наши порядки, уходите совсем, нам нужна ваша комната!

Цаплина подняла нос и ушла.

В девять часов начали приходить женщины. Мы трое бегаем, готовимся к субботнику; обогрели кое-как зал, где не было стекол, заткнули окна тряпками, натаскали стульев, табуреток, встречаем дорогих гостей.

Пришла заведующая из колонии и взяла белую мануфактуру на наволочки.

— У вас нет машины, мы сошьем дома за этот субботник!

К десяти часам собралось уже пятьдесят три женщины — делегатки из отдела работниц. А наших сотрудниц пришло только трое: завхоз (женщина) и две технички.

Делегатки так оживленно работали, что мы едва успевали кроить материал, нарезать нитки и готовить вату. Тем временем новая радость: завдом приехал с дровами. Где можно было, затопили печи, комнатные двери раскрыли настежь... Мы, взрослые, радуемся, а для ребят это — настоящий праздник!

Они бегают по комнатам, кричат:

— Ой, ребята, двери открыли, весело!

— Дров, дров привезли! Печки затопили, тепло будет!

— Ура! Нам одеяла шьют!

Те, которые постарше, держались нейтрально, не показывая своего восхищения, и смотрели на все происходящее как бы с некоторым пренебрежением. Но видно было, что и они не меньше малышей рады. Однако, гордо закинув головы, они упрекали малышей:

— Ну, чему ты радуешься, дурак?! Кричишь: «Ой, ой!» Это ведь не надолго, говорит тетя Цаплина. Вот будет переворот — все к чорту полетит, и нас всех выгонят к чортовой матери...

Ребята на минуту затихают, но потом снова начинают шуметь и кричать:

— Неправда, Ванька! Никакого переворота не будет, Красная армия во-о какая! Всех посадит на штык!

Другие бегут к нам в зал:

— Тетя, разве скоро переворот будет? Ведь нет?

— Никакого переворота не будет, не бойтесь, не слушайте никого. Это вас пугают! — отвечают делегатки.

Ребята рады, бегут и кричат:

— Вот, Ванька, и тетя тоже говорит, что неправда!

Делегатки работали четыре часа, сшили верха и низы восьмидесяти одеял, семь одеял выстегали.

Напившись чаю, делегатки ушли: все обещали притти в следующее воскресенье.

Наши сотрудницы, увидев, как повернулось дело, стали подходить и оправдываться.

— Да мы что — мы ничего! Вот все она... — и шопотом рассказывали о Цаплиной.

С техничками у нас наладились хорошие отношения, но зато воспитатели, не согласные с новыми порядками, пошли против нас, объявили нам негласный бойкот.

Цаплина притихла. Видимо, ждала, что ее будут упрашивать остаться, так как воспитатели уходят, работать некому. Но ей категорически заявили, чтоб она очистила комнату.

Завдому удалось получить от губоно новую партию мануфактуры, а вот ремонта зала никак не можем добиться. Тогда мы сами взялись за это дело: нашли фанеру, изрезали ее и вставили в окна вместо стекол. Печи на вид хорошие, но топить никак невозможно, весь дым идет в комнаты. Мученье, да и только, а ведь зал к воскресенью нужно нагреть.

Завдом где-то нашел большую железную печку. Поставили ее на середину зала. Затопили. Стало тепло, только света мало. Пол подмели.

Набежали ребята греться, радуются:

— Ребята! Печи затоплены, идите греться!

В воскресенье пришли восемь делегатов, заведующая колонией с семью девочками, наши технички да мы двое: всего собралось двадцать два человека.

И за три часа мы сшили двадцать одеял и подшили сорок восемь полотенец.

НОВАЯ НЯНЯ

В середине декабря ударил такой сильный мороз, что стены трещали.

Мы с Олей Поповой шили одеяло в пальцах. Сидим, шьем, временами перекидываемся двумя-тремя словами. Вдруг раздался треск, и стекло полетело в пролет двойных рам. Мы вскочили, не знаем, в чем дело, подумали, что какой-то негодяй бросил камнем, оказалось, что стекло лопнуло от мороза.

Не успели осмотреться, как открылась дверь и вошла женщина в короткой шубейке, плотно закутанная большим теплым платком по самые глаза. От дыхания лицо ее на морозе покрылось куржаком, так что чуть были видны щелочки глаз. Она остановилась у двери, молча постояла, куржак растаял, тогда она утерлась платком, заговорила:

— Мне нужно видеть заведующего.

— Садись, посиди!.. Отдохни с дороги... Его нет, но скоро должен быть.

— Ну и морозище! Дыхание запирает. Вчера было тепло, а сегодня — мороз. Застал бы в дороге, плохо было бы.

— А вы нездешняя? — спросила Попова.

— Нет, я из Сысерти приехала. Хочу к вам поступить няней. В губоно дали бумажку.

Пришел завдом, зачислил ее в штат, а мы оставили ее в своей комнате.

Новая работница была среднего роста, полная, круглолицая, развитая, веселая. Назвала она себя Анной Немешаевой.

Мы разговорились. Разговор зашел о гражданской войне, о Красной армии, об освобождении от белых. Немешаева рассказала, как она с мужем пряталась в лесу от белобандитов и как много пришлось пережить ей за это время: боялась за мужа, чтобы его не схватили. Потом они участвовали в восстании сысертских рабочих перед приходом Красной армии. Когда Сысерть была освобождена, ее муж занял пост ответственного работника. Зажили они хорошо.

— И вот одна баба, — рассказывала Немешаева, — позавидовала мне, моей жизни, приманила к себе моего мужа, и дело дошло до того, что пришлось разойтись с ним. Долго я о нем тосковала и, чтобы не видеть его, решила уйти из завода, забыть его за работой!..

А работа на ее долю выпала тяжелая: за недостатком штата работниц Нюра мыла полы, запущенные до неузнаваемости, отбивала лед, наросший толстыми слоями на стенах и окнах.

В инвентаре был у нас большой недостаток: белья для детей не было, нехватало и дров. Ясно, что Нюре приходилось трудно. А дети прибывали. На 15 декабря детей было уже семьдесят один человек. Не страшно, пусть идут, мы справляемся с работой, хотя многие из прежнего штата ушли. Старые воспитатели потеряли авторитет в глазах детей.

Чуть какие неполадки, ребята никого из них знать не хотят, просят одно:

— Давай тетю Нюру!

ОТКУДА ОНИ?

За один только декабрь 1921 года прошло через «Детский приемник» — так называется теперь наш детдом — более двух тысяч детей.

Ведь надо же было случиться неурожаю в четырнадцать губерниях!.. Голодное бедствие погнало крестьян искать хлеба в южные губернии, в хлебные места. Они бежали туда, бросая свое хозяйство, семью, детей... Многие из них дорогой болели — кто от недоедания, кто от скученности в вагонах, от тифозных вшей. Многие умирали. Дети остались сиротами. Куда же ребенок пойдет? Ну, конечно, в детский дом!

Работы нет, взрослым есть нечего, а тут еще ребятишек кормить надо.

Вот женщины сойдутся и шепчутся:

— Я слышала, что от матерей детей не принимают!

— А мы не скажем, что мы матери: будто безродные ребята — и только! Возьмут, прокормят.

У нас в детдоме по спискам все сироты, а пройдет некоторое время, и ребенок просится:

— Тетя Даша, отпусти меня домой!

— Куда тебе домой, ведь у тебя родителей нет?

— Есть! Опустит!

Воспитательница отпуска не дает. Мальчик украдкой убегает, а потом возвращается:

— Где ты был?

— Нигде! — упрямо отвечает ребенок, и ничего от него нельзя добиться: молчит.

ПЕРВАЯ ТРУДОВАЯ ГРУППА

Вечер клонился к ночи, блекли последние лучи солнца, в небе заискрилась яркая звездочка. Потянуло легким холодком. Воздух был чистый, приятный, как весенний. Не хотелось уходить в помещение.

Мы с Поповой были во дворе и задержались, чтобы подышать чистым воздухом.

— Какой сегодня приятный воздух, не ушел бы с улицы! — говорит Попова. — А надо идти в комнаты, работы еще много, да и чаю хочется. Ребята уже поужинали, не знаю, осталось ли нам что-нибудь?

Я в это время смотрела на небо. Меня заинтересовала звезда своим ярким и разноцветным блеском. Это была Венера. Всегда, как только я ее увижу, стою и люблюсь, так и на этот раз — засмотрелась на нее и не слышала, что сказала Оля. Говорю ей свое:

— Посмотри, Оля, какая красивая звезда!..

Попова засмеялась надо мной:

— Вот звездочет! Я ей говорю, чем бы брюхо набить, а она о звездах!

С шутками мы ушли в комнаты. Попова пошла узнать об ужине и захватила чайник для кипятка. Я начала писать отчет за день, но звезда почему-то осталась у меня в памяти, и я все завистливо думала: «Вот есть же такие люди, которые все звезды знают, что они означают, а вот мы простую грамоту еле разбираем, кое-как бумагу царапаем. Как трудно без образования в работе!» Я вспомнила о наших ребятах. Они почти все неграмотные и ни к чему не приучаются. Девочки ко мне бегают, просят дать им что-нибудь делать, говорят, что им без дела скучно. Почему бы их не научить какому-нибудь ремеслу?

К чаю пришел и завдом, говорит:

— У вас чай есть, я выпью стаканчик!

За чаем я высказала свою мысль, что надо бы ребят чему-нибудь научить, ведь так они вырастут лентяями, лень впитывается в них, как грязь в кожу, а советская власть не хочет плодить лентяев.

Завдом говорит:

— А к чему мы их приучать будем? У нас ничего нет. Была бы какая-нибудь мастерская. Они учатся грамоте, ну и довольны с них...

Я не сдержалась и выпалила:

— Ох, уж и ученье! У собак бы не отняла!

— Почему?

— Да очень мало они заняты, а больше шалят или дерутся, особенно мальчишки. Ко мне вот бегают девочки, просят работы, говорят, что им скучно без дела. Дать им хотя бы бельё чинить. Работа легкая и в науку им будет.

Завдом говорит:

— Это можно. Организуйте тех, кто пожелает. Посмотрим, как они будут работать.

Утром я перебираю бельё. Пришли две девочки, просят:

— Тетя, дай мы тебе поможем!

Я говорю им:

— Почему рано пришли? Вы еще чай не пили, вот после занятий приходите, я дам вам работу!

Девочки убежали и другим об этом сказали. После занятий пришли шесть девочек.

Я поручила им сделать простую починку, без заплата. Выполнили. Дала снова им работу и говорю:

— Ну, девочки, я вас запишу, вы будете работницами!

Какой был восторг у девочек от одного сознания, что они будут работницами.

Так с неделю они ходили, помогали. Я вижу, что они не устают, не бросают, как это присуще детям: надоело одно — хватаются за другое. У девочек появилось большое рвение к ручному труду, они приходили ко мне задолго до утреннего чая и брались за работу очень охотно. Я отговаривала их, но они неизменно отвечали:

— Спать нам не хочется, и делать нам нечего... Скучно, а здесь веселее...

Распределила я между ними работу, и у нас получилась «первая трудовая группа».

Дети работали под моим руководством. Я вменила себе в обязанность готовить работу до их прихода и для это-

го вставала в четыре часа утра. Они придут, узнают, что им предстоит делать на сегодня, и уходят на занятия по школьному образованию.

Большинство ребят занимались тут же в зале, в школу ходили немногие и только те, которые проходили учебу повышенного типа. Во-первых, школы не могли всех вместить, во-вторых, был сильный недостаток в одежде и обуви — отпустить всех ребят в школу было не в чем.

Работу моих девочек я распределила следующим образом:

Кочкарева Нюра — четырнадцати лет, грамотная, ростом выше других девочек и солиднее своих сверстниц — была руководительницей детского труда, нечто вроде десятника. Ее дело: ставить детей на работы, вести учет труда за день и сообщать мне о сделанном.

Сапожникова Паня — тоже четырнадцати лет, грамотная — пожелала быть моей помощницей по белью и шить башмаки для ребят. В обуви у нас был большой недостаток, и девочки шили башмаки из тряпок, а подошвы — из обрывков валенок. Паня училась еще вышивать гладью и делать аппликации.

Юркина Валя — одиннадцати лет, маленькая, бойкая, с искрившимся взглядом серых глаз, очень способная к художественным работам — вышивала гладью и делала аппликации. Она нашла где-то беленькую тряпку, выбрала на рисунке цветок и вышила его красными и синими нитками — нашла обрывки старых ниток. Из этой тряпки сделала наволочку, сделала маленькую подушечку, набила тряпками, и эта подушечка с тех пор лежала у нее на постели.

Ее наволочка имела большой успех. Восхищенные ее работой взрослые девочки обратились ко мне с просьбой научить и их вышивать цветы.

Так появились маленькие подушечки почти на каждой кровати в комнате девочек.

Постепенно девочки втянулись в работу. Я решила просить завдома сделать им маленький подарок за их усердие

в работе. По его просьбе губоно выдал несколько больших белых платков, из которых мы сшили для каждой девочки по платью.

В праздник они надевали свои платья и отправлялись в город гулять. Встречают их люди и говорят:

— Вот как хорошо одевают девочек в приюте!

А девочкам это приятно.

КТО ВИНОВАТ?

Среди дня в комнату завхоза вбегает мальчик с взволнованным лицом и торопливо шепчет матери:

— Мама, мальчик... Мякишев унес сейчас большой узел в конюшню. Я подошел к конюшне: он выходит оттуда, а узла у него нет.

Мать сначала не обратила внимания на заявление сына.

— Верно, мама, он нес узел, — не унимался мальчик.

Мать на минуту задумалась, а потом пошла искать завдома.

— Идите посмотрите в конюшне, не найдете ли чего подозрительного!

Конюшню обыскали и нашли зарытый в навозе узел, в котором оказались тринадцать простынь, двадцать пять полотенец, ситцевое детское платье и восемь платьев из черной бумажной материи.

Мальчика Мякишева взяли в милицию и посадили.

— Кто же в этом виноват? — спрашиваю я Попову. — Ведь если разбирать до тонкостей, воспитатели обязаны воспитывать детей, пробуждать в них сознание, говорить, что плохо и что хорошо, тогда бы не было таких случаев.

Попова, не менее меня возмущенная, говорит:

— Этот воспитанник живет здесь давно, он из первых ребят в детдоме. Воспитатель все время пользовался им как прислугой. Мальчик рубил ему дрова, топил печку, ходил

на толкучку с его вещами, продавал их и этим приучился к спекуляции, а ведь спекуляция родственна воровству и грабёжам!

Если бы к нему было побольше внимания — ведь он еще подросток, — из него вышел бы деловой человек. Он умеет работать по бондарному и щеточному производству, а в таких работниках сейчас нужда. Надо о нем походатайствовать... Устроить его в мастерской — это исправит его.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Апрельское утро на Урале начинается с двух часов ночи, когда на востоке загорается заря. Потом выходит солнце, и небо становится голубым.

В это утро воздух был так чист и прозрачен, краски на небе такие яркие, солнце так сильно припекало мою подушку, что я проснулась чуть свет. Подойдя к окну, я долго любовалась великолепной картиной утра. Я чувствовала себя бодрой и жизнерадостной и с удовольствием принялась за работу.

В комнату вбегает Попова и говорит:

— Иди скорее к завдому, он зовет!

Завдома я застала встревоженным.

— У нас сегодня случилось несчастье, кража. Увезли тес, приготовленный для пола в недостроенном помещении. Мне указали дом, куда его увезли. Надо сделать обыск. Для этого я тебя и позвал, так как ты являешься членом хозяйственной комиссии, — сказал мне завдом. — Вот тебе справка, что ты имеешь право делать обыск. Сейчас придут из милиции, ты с ними пойдешь!..

Мы пошли по указанному адресу, обнаружили кражу и составили протокол.

Я спросила вора:

— У тебя есть дети?

— Трое, — был ответ.

— Ну вот, представь себе, что твоему ребенку кто-то дал кусок хлеба, а другие у него вырвали из рук. Тебе бы это показалось, наверное, обидным?

— Конечно, обидно, — ответил мужик. — Но ведь то хлеб, а то доски.

— Ну, пусть доски! А для чего они приготовлены? Для жилья ребенка! Ведь где-то надо же приютиться ему, где его накормят и оденут. Вот у тебя и домик свой и семья у тебя, а чем ты занялся?.. Обворовываешь голодных детей! Стыдно! И еще говоришь, что ты рабочий. Как же это ты не подумал о том, что ты кладешь черное пятно на рабочий класс?

— Везите обратно! Что сделал — не поправишь, не одумался и сделал! — с горечью сказал мужик и замолчал, обхватив руками голову. Мы ушли, а мужик так и остался сидать, повесив голову и обхватив ее руками.

Только я вошла в свою рабочую комнату, как на меня набросились девочки:

— Тетя, ты где была? Мы тебя искали.

В голове у меня все еще — доски и обхвативший в тоске свою голову мужик. А девочки неотступно вьются около меня:

— Тетя! У нас баня топится.

— Тетя, а ты какое белье нам дашь в баню?

Чтобы занять девочек, я указываю на кучу свернутого белья.

— Вот разберите это... Худое откладывайте и починяйте!..

Девочки занялись разборкой, и снова вопросы:

— Это как починять? Это чем починить?

Только было хотела итти за кипятком, чтобы напиться чаю, входит прачка.

— Тетя Груша, нам белье надо! Что было — кончили, уехали на речку полоскать.

Некогда заниматься чаем, надо выдать грязное белье, предварительно разобрав, сосчитав и записав его. Только разо-

брали белье, как пришли две прачки с корзинами мокрого белья.

— Куда вешать белье? Во дворе развесить — снимают!

Иду на чердак. Опять возвращаюсь к грязному белью.

Считаем. Приходит девочка:

— Тетя, тебя Прокопий Иванович зовет!

Приходит мальчик:

— Тетя, в бане дрова прогорели, закрыть трубу или еще подбросить дров? Иди посмотри.

— Сейчас приду посмотрю.

— Тетя Груша, дай мыла, у нас нет мыла, — надоедают прачки.

Одной подаю мыло, другая уже ушла с бельем. Бегу к завдому:

— Вы меня звали?

— Как у нас с бельем?.. Справишься? Сегодня надо человек на семьдесят ребят!

— Как-нибудь справлюсь. Только мне нужно пойти по обследованию и далеко, на весь день.

— Нет, сегодня не ходи. Завтра сходишь!

Пошла смотреть, как дела в бане. Баня холодная.

— Ребята, надо еще подбросить дров!

— Тетя, дрова сырые, не горят!

Я заглянула в котел для горячей воды. Воды в нем мало, а в котле для холодной воды — и совсем нет.

— Почему воды нет?

— Не знаю. Не везут.

Я к дворнику:

— Почему не везешь воды?

— Бочка сломалась, — говорит дворник.

— Надо купить у водовоза. Иди найди водовоза, а нашу бочку отдай починить.

Поднялась к себе, взяла чайник. Хочу итти за кипятком.

Входит воспитательница:

— Дай одежду. Дети пойдут гулять.

— На сколько человек?

— На пятьдесят.

Выдала одежду. Думаю, надо посмотреть за прачечной и в бане, как горят дрова. Воды все еще нет. Опять к завдому:

— Воды нет, котел лопнет, дров сожгли много, и баня пропадет!

— Почему мне не сказал дворник, что бочка сломана? Сначала надо было воды навозить, а потом уж греть ее!

— Я не знаю, кто так распорядился!

Вышла я от завдома, и у меня закружилась голова. Хотела обхватить голову руками, вдруг в лоб что-то больно толкнуло. Тут только увидела, что в руках у меня чайник, и я рожком его сама себя ударила. Оказывается, что я всюду ходила с чайником в руках. Тут я окончательно решила, что надо поесть. Пришла на кухню, ведь нужно посмотреть, что там делается. Выхожу с кипятком, а меня уже ищут.

Поставила чайник на плиту, иду в баню. Воду привезли, нужны деньги. Снова иду к завдому за деньгами. Принесла кипяток, но ни чая, ни кофе, ни сахара нет, один только хлеб. Выпила одну чашку, меня кричат:

— Тетя, продукты привезли, принимать надо!

— Тетя, баню посмотри, закрывать или нет? — кричит мальчик.

Бросилась в баню. Закрывает печку, послала прачек вымыть баню. Иду в кладовую. Ноги уже ослабли. Приняла продукты, увидела няню:

— Идите вдвоем за бельем и ведите ребят в баню: одна мыть будет, а другая — одевать и раздевать. Грязное отдайте сейчас же в прачечную. Белья мало, надо сразу стирать.

Думаю: «Теперь пойду отдохну и допью свой чай!» Но разве это возможно? Приходит няня за чистым бельем. Спрашиваю:

— Сколько увели ребят?

— Двадцать человек малышей.

Выдала белье. Идет другая няня с грязным бельем, и так поочередно — то одна, то другая: одна за чистым, другая — с грязным. Прачки принесли мокрое белье. Девочки катают, кричат, смеются, починяют, ворочают мокрое белье, чтобы скорее сохло.

— Тетя, а мы когда в баню пойдем?

— После пойдете. Всех вымоем, тогда и вы пойдете. Готовьте себе белье, какое нужно: платье, рубашку...

Последнее белье унесли в баню уже в шесть часов вечера. Надо спешить на собрание.

Пришла туда с опозданием. Меня за опоздание пригрозили оштрафовать на двести тысяч рублей. Мне стало неприятно и обидно: ведь я не по своей воле опоздала. Вышла из собрания, думаю: «Пойду одна, никого мне не надо, еще кому-нибудь колкостей наговорю». Иду, шагаю по вершку, ноги отказываются, не идут, ноют, тело отяжелело, иду и считаю, сколько еще кварталов итти: пять, четыре, три... Ну, немного осталось, двигайтесь ноги, последний квартал! Вот и дом. По лестнице восемь ступенек кое-как отмерила, а дальше — хоть кричи, никак не могу подняться! В комнате дальше дожидается Попова:

— Ну что, умыкалась за день? Я тоже сильно устала.

Немного отдохнув, говорю:

— С праздником, товарищ Попова!

— С каким?

— Оштрафована!

— Как так?

— Обеим нам с тобой всыпали: мне за опоздание, а тебе за неявку — триста тысяч!

Обе смеемся.

— Они только постращали, а без этого нельзя — дисциплина! — смеясь, говорит Попова.

— Ну и денек выдался, наработалась доупаду да еще голодная! Чаю попить и то не пришлось хорошенько. А сколько же сейчас времени? — спросила я.

— Двенадцать часов!

— Ну, надо спать!

Взяла газету — я не успела прочитать ее днем, — да так с газетой и уснула. Забыла и про восход солнца, и про украденные доски, и про мужика, который сидел, обхватив голову руками.

НАШИ ТРУДНОСТИ

Годы 1921–1922 были у нас на Урале, да и не только на Урале, неурожайные, голодные. В связи с этим и у нас в детдоме чувствовался недостаток в питании. Дети получали в день всего $\frac{3}{4}$ фунта хлеба. Конечно, этого им было мало. Они только о том и мечтали, как бы побольше поесть.

— Мне сегодня тетя Маня к чаю дала большую краюшку хлеба!

— А мне маленький кусочек. Краюшки мне не досталось.

— Ребята! Одиннадцать часов! Еще целых полчаса ждать до еды!

Войдешь в комнаты, посмотришь на железную печку, а она вся завалена картофельной кожурой: ребята жарили картофельные обрезки и ели. Всякие меры мы принимали, чтобы они этого не делали, но разве за всем уследишь? Попроberутся на кухню и либо выпросят, либо утащат там кожуру и жарят.

Выбросишь всю их стряпню в печку, глядь, а на печке ее больше прежнего.

Мы им говорим:

— Ребята, вредно это кушать!

Они нам в ответ:

— Ничего не вредно, это ведь картошка. Мы лебеду ели, да не умерли.

Другие кричат:

— Давай больше хлеба, тогда не будем!

И все же ребятам у нас было лучше, чем дома. Хотя хлеба мало, все же это хлеб, а не лебеда, да еще суп и каша дополняют хлеб.

Начнут рассказывать, вспоминать, кто чем питался:

— При маме хоть лебеда была, а как умерла мама, и лебеды не стало! Хоть камни грызи!

Понемногу питание стало у нас улучшаться. Ребята перестали печь картофельную шелуху, но битвы из-за картошки и хлеба все еще продолжались, однако все это уж не то, что было зимой.

Одеты ребята хотя и не так, как полагается, но и не трясут больше лохмотьями. На них хоть все и старенькое, но исправленное и чистенькое, а некоторые щеголяют уже во всем новом.

Теперь о мытье ребят. Когда в детдом стали прибывать дети — страшно было на них смотреть, до чего они были грязные! А у нас ни ванны, ни бани не было, да и воды согреть было негде. В комнатах мороз. Дров нет и печи неисправные — топить их нельзя: весь дым в комнаты. Поставили мы железные печки, но как быть с дровами, где их взять?

Бывало и щепы собирали и в лес ездили за хворостом на своей лошаденке. А лошаденка тоже голодная: нет фуража — не везет, нет сил.

На ребятах ни одежды теплой, ни обуви. Куда они поедут в мороз? Совершенно случайно нам привалило счастье: роясь в кладовой, среди разной рухляди я нашла шубенку — когда-то это был тулуп — вся рваная, грязная. Возились мы с ней два дня, чистили, чесали, починяли. Потом в ней и ездили ребята за дровами. День поездят в ней, а вечером надо ее починять, настолько она была ветхая. И каких только на ней не было заплат — всяких сортов и размеров, но все же как-никак шуба!

Неподалеку от нас стояла чья-то старая кладовая. Сначала ребята снимали с нее по бревнышку и резали их на дрова,

а потом бревнышко за бревнышком всю кладовую и растащили. Если иногда нам и давали дров, то опять-таки от них мало пользы — сырые были, не горят. Кое-как разожжем их в железной печке, принесем ведро воды, и греем его на печке. Поставим тут же стиральное корыто — вот тебе и ванна.

Много было положено труда и бессонных ночей на выкраивание и пришивание разноцветных рукавов к рубашкам, также и на починку штанишек и верхней одежды. И с башмаками такая же история. Где-нибудь найдешь рваный валенок, из негa вырежешь подошвы, но целых подошв не ходило, делали составные: стягивали несколько кусков шпагатом с изнанки, вот и получалась подошва.

Завдом целые дни летал по городу и чего-нибудь добивался. Как только ему что-нибудь пообещают, бежит домой радостный, только полы шинели развеваются. Мы уже это знали. Увидим в окно: «Ну, бежит «наш» на всех парусах, значит, с радостной вестью», и ждем его, как дети отца. А он еще в дверях кричит:

— Ну, опять добился продуктов!

Во дворе у нас пустовало одно помещение.

Наш зав добился разрешения приспособить это помещение под баню. Помещение требовало ремонта и перестройки. А где взять кирпича на каменку, дерева и работников? И опять наш завдом метался по городу, обивая пороги всяческих учреждений.

Наконец у нас своя баня. Баня работает почти ежедневно. Ребята разбиты на группы, и каждой группе приходилось мыться через неделю.

Хотя мы всячески боролись с грязью, но при большой скученности детей нас все же одолела вошь. Начались тифозные заболевания, осилила трахома и другие болезни. Врач Парамонова торчала у нас целыми днями. Взяли постоянную медицинскую сестру. От тифа умерли две няни: Немешаева и Мальцева. Не миновала и меня эта напасть: 22 февраля

меня схватил голодный тиф, и я долгое время была между жизнью и смертью. Никто не думал, что я встану. Только с наступлением лета начали сокращаться заболевания.

ПИАНИНО

Чем больше росло количество детей в нашем детдоме, тем настоятельнее вставал вопрос о том, как их воспитывать, чему учить, чем занять их досуг. Сами развлечений мы им дать не могли никаких. В кино и театр отпустить их не в чем — нет ни одежды приличной, ни обуви. Сколько ни думали, сколько ни ломали головы, ничего придумать не могли.

Один раз в марте, в полдень, видим, летит наш завдом через двор, полами шинели, как крыльями, хлопает.

— Ну, значит, будут хорошие новости!

Влетел в комнату, бросил по привычке шапку на стол и выдохнул:

— Оповестите всех, что в три часа собрание, нужно обсудить серьезный вопрос! — И убежал к себе в комнату.

В три часа собрались. Завдом, краснея и волнуясь, замахал руками:

— Как видите, товарищи, нет у нас музыкальных инструментов, а без музыки, что ни говори, скучно!.. Мертвечина. И ребят порадовать нечем. Вот я и думаю: «Надо завести нам пианино». Я уже присмотрел одно. Правда, немножко порченное, но ничего, можно исправить. Отдают его за два пуда муки. Но ведь вы знаете, что муки у меня нет. От ребят я взять не могу, им и так недостаточно хлеба! Вот я и думаю: «Давайте мы все пожертвуем от своего пайка — паек мы получали наравне с ребяташками, двадцать фунтов в месяц — и приобретем для ребят пианино. Ведь нас двадцать два человека!»

Сосчитали, сколько нужно внести с человека, и все согласились. Привезли пианино. И хорошее и крепкое, а не играет, почему не играет — неизвестно. Бились мы с ним, бились и решили отделить еще муки от своего пайка и нанять мастера. Нашелся такой. Отсыпали мы ему полтора пуда муки, и заиграло наше пианино не хуже нового.

Стоим утром на перекличке, поем «Интернационал», а пианино гремит на весь зал. Мы же ног под собой не чувствуем от радости, от гордости.

ПАСХА

Ти-ли-ли, тили-бом,
Тили-бом, тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Кошка выскочила,
Глаза выпучила,
Побежала к кабаку,
Накурилась табаку!

скороговоркой поют ребята, выделявая конвульсивные движения руками и ногами и подражая этим пасхальному звуку, который несется с колокольни, стоящей против нашего детдома.

Одни, подражая звону мелких колоколов, тилиликают тоненькими голосами и при этом учащенно помахивают руками, как бы дергая за тоненькую веревочку.

Другие, постарше, изображают большой колокол, качаются из стороны в сторону и басом гудят:

— Бом-бом! Бом-бом!..

Третьи, приседая и подпрыгивая, задравши вверх головы и выпучив глаза, орут:

— Тили-бом! Тили-бом!

Некоторые из беспризорников, кружась по залу, отплясывают в присядку.

В зале стоит невообразимый шум, всполошивший весь дом. Сбежался почти весь служебный персонал, и кто со смехом, кто с удивлением смотрит на разбушевавшуюся молодежь. Последней пришла заспанная дежурная воспитательница. Она еще придерживалась религии. Поняв, в чем дело, она вся вспыхнула от негодования.

— Что это вы делаете? — закричала она. — Кого передразниваете? Это Христа встречают, а вы передразниваете!

Ребята затихли. Кто-то из них спросил:

— Тетя Ната, а кто это Христос?

— А откуда его встречают, он куда ездил?

Мы стоим, наблюдаем — интересно, чем это кончится.

— Никуда он не ездил. Он умирал и воскрес, вот его и встречают. Видите, — она ткнула пальцем в темное окно, — со свечками идут!

Ребята бросились к окнам:

— А почему его со свечками встречают, а не с фонарями? С фонарем удобнее — не погаснет, а свечка гаснет.

Подошла и я к окну. Вижу, в разных местах вспыхивают свечи и сейчас же гаснут от ветра. На улице темно, как осенью, ничего не видно, только головы мелькают на фоне освещенной церкви.

Кто-то из ребят мечтательно сказал:

— Сегодня там, ребята, куличей и красных яиц уйма-а... Так много-о-о, что я и не знаю!..

Ребята заволновались, заговорили о яйцах, о куличах.

Вдруг один из них закричал:

— Айда-те, ребята, Христа смотреть, какой он?!

— Он, наверное, нарядный, — сказал другой, оторвавшись от окна.

Мальчик постарше возразил им:

— Дураки! Вы думаете, что это человек? Это — бог!

Из толпы беспризорников кто-то твердо сказал:

— Какой бог? Тетя Оля говорит, что никакого бога нет!

Начались споры о боге, о том, почему к пасхе куличи пекут и яйца красят.

Кто-то спросил:

— А у нас сегодня будут крашеные яички?

— Нет, ребята, не будут. Завтра днем тетя Оля вам объяснит, почему у нас не будет крашеных яиц.

Два мальчика и девочка незаметно улизнули в церковь. Никто не заметил их исчезновения, да и не подумали мы об этом, потому что на дворе было темно и холодно. Кое-как проводили мы ребят спать с обещанием, что завтра им будет хороший завтрак, только с условием, чтобы они не бузили.

Ребята, убежавшие в церковь, как-то ухитрились стащить два кулича и несколько яиц. Прибежали домой, и пошла дележка.

Ребята устроили настоящую пасху — разговлялись куличами и яйцами и провозились за этим делом до самого рассвета.

А мы, ничего не подозревая, работали всю ночь — пекли к завтрашнему дню пироги. Начинка пирогов была колбасная. Колбасу нам выдали необыкновенно толстую, из одного мяса с примесью какой-то крупы. Мы изрубили с яйцами, смешали с рисом и начинили пироги. Напекли мы двадцать восемь штук. Длиной они были больше метра, а шириной — девять вершков. Ребят у нас в ту пору было человек триста. Но ведь и эта цифра немаленькая, нужно, чтобы всем хватило пирогов.

Наутро ребятам к чаю дали порцию сахара, конфетку и кусок пирога — три вершка в квадрате.

После чая пришли гости из колонии — девочки со своей заведующей Сибирячевой. Под пианино сначала пели «Интернационал», а потом разные песни.

Наши ребята столпились около пианино, слушали, кто мог — пел, а другие плясали.

На обед у нас было: суп из соленого мяса и на второе — жареный гусь с картофелем. К вечернему чаю тоже было испечено двадцать восемь больших пирогов, но уже с клюквой.

Перед вечерним чаем в зале был устроен концерт.

Девочки из колонии со своим учителем пения Федором Спиридоновичем пели и декламировали. Выступали и наши ребята. Один восьмилетний мальчик вышел говорить стихотворение о сироте-мальчике, о том, как он воспитывался в сиротстве, искал ласки у людей и не находил, скитался по чужим дворам.

Вспомнив свою собственную судьбу, он во время чтения так расчувствовался, что начал плакать и кое-как закончил стихотворение.

Воспитательница тетя Маня приласкала его, и он прижался к ней, как к матери.

Публика тоже была растрогана; у многих детей заблестели на глазах слезы, и даже нас, взрослых, это задело за сердце.

После концерта ребята вместе со своими гостями — девочками и учителем — пили чай с клюквенным пирогом.

Вечером пришли из церкви с жалобой:

— Ваши беспризорники стащили два кулича и яйца!

Заведующий рассердился и выпроводил их:

— Кто вам обязан искать? Да и какой толк искать? Давно все съедено, а кто стащил — не узнаешь!

СОВЕЩАНИЕ НА ПОЛЯНКЕ

Наш уральский май редкий год бывает теплым, а в 1922 году день Первого мая выдался теплый, веселый, солнце так и манило на воздух.

Ребят невозможно было удержать в помещении. Двор у нас был обширный, весь заросший травой.

Вот на эту-то полянку и стремились дети, насидевшиеся за зиму в помещении. Вырвавшись, ребята радостно кувыркались по зеленой травке.

Вышла и я. На полянке кружком сидят все сотрудники во главе с завдомом. Я подумала: «Как это похоже на картину, вышитую на ковре». Подошла и тоже стала в круг.

— Ну, теперь, кажется, все в сборе, — сказал завдом, оглядывая присутствующих. — Очень хорошо. Поговорим по-семейному. Я хочу вам изложить свою мысль и послушать что вы скажете. Вот видите, сколько у нас нетронутый целины? — и он широко обвел вокруг рукой. — Все вы знаете как трудно нам пришлось этой зимой: нехватало продовольствия — хлеба, мяса, молока, — и поэтому многие из детей болели. Главным образом нехватало овощей. Вот я и подумал: а почему бы нам не завести свой огород? Место для него имеется, земля хорошая, а лежит без всякой пользы. Давайте ее коллективно вскопаем, лопаты и прочий инструмент добыть нетрудно. Разделаем общий огород, а потом пусть каждый для себя возьмет грядку и сажает на ней, что ему хочется. Гряды получит только тот, кто будет работать на общем огороде!

Предложение завдома было встречено всеми с восторгом.

— Вскопать нетрудно, а вот где взять семян? — спросил кто-то из присутствующих.

— Был бы огород, а семена найдутся, — ответила я, и все рассмеялись.

На этом и закончилось наше «совещание на полянке».

На другой же день мы вскопали общий огород, погребли межи, сделали гряды. Вечером вышли копать целину для своих собственных грядок. Работали все, не исключая и завдома. Копать было трудно, попадались камни, кирпичи, но в такой артели работа шла дружно, весело, с шутками.

К девяти часам вечера вскопали по грядке на человека. Успелись назавтра выйти копать в четыре часа утра. Те, кто был на дежурстве, копали днем.

К вечеру огород был готов. Достали в городе семян и принялись за посадку. К этой работе я привлекла моих девочек.

Сама я сажала морковь и репу, а девочки засыпали посадку землей и прихлопывали землю лопатой. Они ходили за мной, как тараканы за хлебом. Для них все это было ново, все их интересовало.

— Тетя, для чего морковь засыпают землей?

— Чтобы она не засохла, ведь сажают ее моченой... Если засыпать землей, то она скорее пустит корни.

— А для чего, тетя, ее прихлопывают?

— Чтобы ветер не сдул землю.

Кроме репы и моркови мы посадили еще тыкву.

Через несколько дней мы пришли полоть овощи. Когда ребята увидели первые побеги зелени, их радости не было границ.

— Морковь! Репа! Репа! — кричали они и хлопали в ладоши.

Я показала им, как надо полоть сорную траву, чтобы не выдернуть вместе с ней и всходы. Девочки таскали меня чуть не к каждой травинке, боясь повредить драгоценную зелень.

Маленькие полольщицы хвастались своим умением и успехами.

— Я ни одной моркови не выдернула!

— Врешь, я видела, как ты обратно в землю ее засовывала. А вот я — так нет!

— И вовсе я не морковку засовывала. Сама ты врешь!

— А какие червяки большущие... Ужас!

— А сколько у нас будет репы!

— Моркови!

Когда пришло время, посадили на грядки капустную рассаду и картофель. Оставалось только ждать, пока земля, вода и солнце dokonчат нашу работу.

НЕ УДАЛОСЬ!

— Тетя, вот тебе записка!

Читаю: «Явиться в губоно для переговоров». Явилась.

— Вы меня звали?

— Да, мы тебя назначаем в поездку с ребятами в Минск.

Поедешь?

У меня сразу же созрел план: отвезти детей на место, а на обратном пути пробраться в Курск. Недолго думая, ответила:

— Поеду!

Выдали мне бумажку о моей поездке. Подала я отношение завдому. Он прочитал и вскипел:

— Вот тоже придумали! Разве нет других людей, кого можно послать? Нет, я тебя не отпускаю, ты здесь нужна!

Я попыталась спорить.

— Нет, не поедешь, — оборвал он меня и, схватив шапку, помчался в губоно.

Что он там говорил, я не знаю, но решение о моей поездке отменили. Вместо меня назначили Попову. С ней направили партию ребят из нашего дома и частично из других детских домов. Всего отсылали сто тридцать человек.

Мы с Поповой уговорились при прощании не плакать, но в момент прощания женская слабость вырвалась наружу, и у нас обеих брызнули слезы. Посмотрели мы друг на друга, преодолели слезы и залились смехом.

Каждая из нас думала не возвращаться в Екатеринбург: моя цель была уехать в Курск в Красную армию, она же мечтала пожить где-нибудь на юге. И вот ее мечта осуществилась. Мне было больно с ней расставаться, точно я теряла свою правую руку, — так мы с ней сжились и подружились за это время. «Пусть покатается, — думала я, — посмотрит свет. Она еще нигде не бывала, ничего не видела, а я уже достаточно на своем веку всего насмотрелась!»

ЭВАКУАЦИЯ РЕБЯТ

Сегодня день эвакуации. В зале с самого раннего утра из угла в угол колыхаются детские волны. Некоторые из ребят мечутся по залу, как рыба в воде, кажется, что видишь всплески волн, и только слышишь писк, рев, выкрики: «Тетя! Дядя!» Как дельфины, прорезывая своим ходом эти живые волны, снуют работники, бросая на ходу отрывочные распоряжения. Ребята волнуются и пристают с вопросами:

- Тетя, нас скоро повезут?
- Тетя, куда нас повезут?
- Тетя, а нам какое дадут белье: ситцевое или мешечное?
- Тетя, правда, что тем, которые едут, будет какао?
- Служащие уже сбились с ног и растеряли друг друга.
- Где заведующий?
- Куда ушла заведующая хозяйством? Мне ее спешно надо!

В одной комнате идет стрижка волос, в другой готовят ребят в баню. Вот бежит няня за чистым бельем на двадцать пять человек. Другая принесла ворох грязного.

- Куда его?
- Прибежал посыльный из канцелярии:
- Эй, тетя Груша, ребят привезли, встречай!
- Бегу в канцелярию, там яблоку негде упасть.
- Сколько привезли?
- Пятьдесят человек.
- Откуда?
- Из губэвака.
- А эти откуда?
- Из убежища.
- Сколько человек?
- Тридцать человек.
- А эти откуда?
- Из больницы.
- Сколько?

— Пятнадцать человек.

— Ты откуда, мальчик?

— Я пришел... Примете меня в приют?

— А бумажка у тебя имеется?

— Нет, нету.

— Нельзя принять. Иди в отдел, принеси бумажку, тогда примем.

— Гм-м-у-у, — плачет мальчик, — я ись хочу!

— А это что за мальчик?

— Привел мужик, посидел и ушел, а мальчика оставил.

— Ну ладно, записывай его в список беспризорных, отправим вместе с назначенными!

Комиссия перекликает детей по фамилиям, опрашивает, записывает и назначает куда кого.

— Безродных куда?

— На поезд!

— А этих куда?

— На дачу!

К двум часам подали лошадей. Малышей усадили, а ребята постарше пошли на станцию пешком.

На улице народ смотрит, удивляется:

— Ну и ребятищев!

— Откуда они столько их насобирали!

— У меня вот трое, и то беда с ними, а это столько, что ужас!

Дорога грязная, с выбоинами. Одну телегу трянуло — трое ребят вылетели в лужу и выкупались в ней. Пришлось их отправить обратно в баню. Их вымыли, переодели и доставили на станцию с последней партией. На станции крик, шум, возня. Кто просит есть, кому надо «до ветру», иные плачут, не хотят уезжать. В суматохе трое мальчишек сбежали. Сколько их ни искали, найти не могли. Наконец поезд тронулся, и мы вздохнули свободно. Отправили двести ребят. Вернулись домой усталые, голодные. Вот когда бы отдохнуть и пообедать. Но куда там! Оставшиеся в доме ребята встретили нас еще на лестнице голодным хором:

— Тетя, мы есть хотим!

Пришлось срочно готовить ужин. Ребята поужинали и улеглись спать. Теперь можно и нам отдохнуть. Но нет, завтра отправляем вторую партию ребят и надо с вечера сделать все нужные приготовления. Придется опять не спать до рассвета, а завтра весь день такая же суета.

СПОТКНУЛИСЬ

С нашим завдомом творится что-то неладное. Его отношение к некоторым сотрудникам, в том числе и ко мне, заметно изменилось к худшему. И хотя стычек еще нет, но уже чувствуется недоброе... Может быть, это на него весна так плохо действует. Человек он молодой, а тут наш завхоз перед глазами вертится. От нее все и пошло. Взять хотя бы сегодняшний день. Вечером девочки мне говорят:

— Тетя, давай споем песню.

— Девочки, пора спать. Мы разбудим других песнями.

— Нет, тетя, мы тихонько.

— Ну ладно, только тихонько.

Только начали петь, как вбегает завдом:

— Пора прекратить пение, — сказал он грубо. — Дети спят, а вы тут распелись...

Девочки замолчали и пошли спать. Только я успела подняться на свою «голубятню», слышу, из комнаты завдома раздается громкое пение. Мало того, воспитатель, завдом и канцелярист вылезли из комнаты с песнями и пошли в зал, стали играть на пианино и орать во всю глотку:

Я батькови угощу,
Горилочки нацижу...

Меня возмутило такое отношение: когда девочки пели — беспокоили детей, а как взрослые запели — не беспокоят...

Как-то на днях я зашла к завдому в комнату, чтобы доложить ему о проделанной за день работе. Заведующая хозяйством была уже там. Я стою у дверей и рассказываю про наши дела — вдруг вносят в комнату большой кипящий самовар. Завдом прервал мой доклад, взял со стола два куска намазанного чем-то хлеба, подал их мне и, взяв меня за плечи, выводил из комнаты.

Я была так ошеломлена его поведением, что не нашлась ничего сказать. Только у себя в комнате увидела, что в руках у меня куски хлеба. Попробовала их есть; оказывается, хлеб был намазан сладким маслом с ванилью и яйцами. Тут я догадалась, почему завдом не выслушал моего доклада и выводил из комнаты. Очевидно, у них было заготовлено много таких вкусных яств, которые они прятали от посторонних глаз. Вспомнила я, что на столе были также и бутылки с вином. Откуда же все это могло появиться? Ясно, что все это было взято из наших запасов, т. е. за счет детей. Американцы через АРА присылали нам в это время белый хлеб, масло и сгущенное молоко. И, конечно, все было проделано не без участия завхоза.

«Вот оно, началось... — подумала я, — а какой был хороший парень! Эта проклятая баба сбила его с толку!»

НАШИ БУДНИ

Стоят длинные летние дни.

Детдом работает полным ходом. Большими партиями отправляем ребят в нормальные детские дома и в колонии — человек по восемьдесят, по сто.

Вот уже июль, а число ребят не уменьшается, колеблется между пятьюстами-шестьюстами. Работы всем по горло. Хорошо, что я во-время догадалась организовать трудовую группу девочек. Девочки стали настоящими работницами и много помогают по дому и по огороду.

Овощи мы пропололи уже три раза, ежедневно ведем поливку капусты. Мальчики тоже начали помогать: достают ведрами воду из колодца, таскают ее на огород, а мы поливаем. Смотрю я на огород, и сердце не нарадуется.

Хотя я и числюсь в отпуске, но живу тут же, в доме. Никакого отдыха мне нет, а отдохнуть надо и духом и телом.

Враги мои ставили мне в укор, что я, дескать, ничего не делаю, даром хлеб ем, а вот как пришлось дать мне отдых, так и задумались — кому мою работу поручить! Обсуждали, обсуждали — и пришлось часть моей работы взять завхозу на себя, часть возложить на прачку, часть на няню, да еще в помощь привлекли воспитательницу, воспитателя и временного работника со стороны. Вот тебе и ничего не делаю!

Работа с девочками, которых я организовала в трудовую группу, осталась без руководства. А ведь это не моя обязанность, это обязанность воспитательниц. Или взять, к примеру, белье. Это прямое дело завхоза, но ей, видите ли, тоже нет времени с бельем возиться — у нее свои дети. Да еще с грязным бельем возиться! Какой ужас! А вдруг вошь?! Нет, нет, подальше от этого. Пусть других кусают!

Но мало того, эти бездельницы, белоручки, занятые амурными увлечениями, смеют еще нам, не боящимся никакой работы, говорить:

— Вы не можете быть воспитателями, потому что вы сами не воспитаны. Что вы можете дать ребенку? Ничего!

А мы, в свою очередь, спрашивали их:

— А что же вы даете ребенку? Ведь вся ваша работа заключается в кормежке, да еще вот разве заслуга ваша в том, что приучаете детей к любовным навыкам. Это дети уже быстро

перенимают от вас: девочки уже пишут записки мальчикам, а мальчики — девочкам. Того и гляди, что появятся новые, свои, беспризорники. Это ли не воспитание?!

По всяким вопросам политики — что такое советская власть или кто такой Ленин — дети обращаются ко мне. Я спрашиваю у детей:

— А разве вам воспитатели не объясняют?

— Нет, не объясняют. Они нам говорят: «Идите к тете Груше, она вам все расскажет».

Вот вам и «образованные» воспитатели! То же самое и с огородом. После «совещания на полянке» все с большим пылом взялись за его обработку. Но у «образованных» этого пыла хватило на два дня. Вскопали землю, прогрести гряды — и конец. Дальше работать им уже надоело.

— Что нам огород? Это не наше дело — мы воспитательницы, а не чернорабочие!

Завдом понял, что с ними ничего не выйдет, загубят огород, пришел ко мне и просит:

— Давай возьмись за огород, больше некому поручить!

И пришлось мне тащить это дело на своих плечах. Хорошо, что мне помогли ребята, иначе все наши труды пошли бы прахом.

— Как это вы сделали, что девочки вас слушаются? — спрашивают воспитательницы.

— А очень просто. Вот, например, история с попугаем. Факт маленький, но поучительный. Вижу я, что девочки скучают: развлечений никаких, каждый день одно и то же. Я набрала цветных тряпок, и девочки под моим руководством сшили из них попугая. Принесли его в зал — показать. Трудно даже передать, что получилось: все, кто там были — и сотрудники, и дети, — сбились в одну кучу: смотрят, удивляются. Как только попугай качнется на проволоке, дети шарахаются в сторону, визжат, кричат, в ладоши хлопают. Пугают: «Кыш-кыш!», как живую птицу.

— Где вы его взяли? — спрашивает завдом.

— Да это девочки сшили! Тетя Груша придумала.

Я смотрю на них и думаю: «Вот я необразована и невоспитана, а какое удовольствие доставила и вам, воспитателям, и детям. А наши воспитательницы только и знают: «Зайнька, поскачи, серенький попляши!» Все это старо. Детям надоело, им надо новое, невиданное и необыкновенное.

Я не говорю, что образование не нужно, — оно нужно, но если имеешь образование, то не надо его держать, как в мешке картошку: от этого получится только одна гниль.

ОГОРОД СЕБЯ ОПРАВДАЛ

На темных могилах из щебня былого,
Из смеха, из слез, изнуренных сердец
Мы, гордые, строим, мы, смелые, строим,
Мы строим рабочий дворец!

Это поют наши сторожа на огороде: две девочки из колонии, няня да мальчик Вася из нашего детдома.

Я сидела у окна своей комнаты без огня. Хотела было лечь спать, но, услышав песню, раздумала и вышла во двор.

Вижу, как Вася, приседая, смотрит по направлению к колонии. Там по заборной стене мелькнула чья-то тень. Вася побежал к стене и закричал:

— Вот кто-то перескочил через стену!

Все побежали к стене. Ребята прыгнули на нее, но никого уже не нашли. После этого осмотрели все три огорода.

Оказалось, что в общем огороде, в дальнем углу, вырыто шесть гнезд картофеля. Я сообщила об этом завдому и прибавила:

— Время картошку убирать, пока ее не расхитили, да и погода стоит хорошая!

На другой день все сотрудники, мои работницы-девочки и старшие ребята вышли копать картофель. За два дня закончили эту работу. Осталось убрать только овощи и капусту.

Через неделю вырыли овощи, а вскоре срубили и капусту.

Когда все это взвесили и сосчитали, то оказалось, что огород дал нам за одно лето более ста пудов картофеля, около пяти пудов моркови, капусту с гряд брали в кухню да кроме того еще насолили две кадки. Свеклы уродилось столько, что не знали, куда ее девать. В погребе нет места, все завалено картошкой. Маку мы сняли десять фунтов, да репы десять пудов, не считая гороха да бобов, которыми вдоволь все полакомились.

Ребята грызут репу и не нарадуются.

— Теперь не будем жарить картофельную кожуру, репы много.

А девочки их задирают:

— Говорите нам спасибо: если бы не мы — не видать бы вам репы!

— А кто вам воду таскал на поливку?

Из коллективного огорода картофеля пришлось на каждого из нас по пять пудов. Тыкву также поделили, каждому сотруднику дали по три тыквы, да еще варили ребятам из нее кашу и жарили. Труд наш не пропал даром! Результаты его превзошли все наши ожидания.

ДЕТСКОЕ СОБРАНИЕ

В зале на стене прибита бумажка. На бумажке выведено синим карандашом большими каракулями:

Объявление

«Завтра, 18 октября 1922 года, назначается общее детское собрание в 1 час дня в зале».

К назначенному часу зал полон. Ребята сидят на приготовленных местах и сосредоточенно ждут начала.

Председатель деткома (мальчик) объявляет:

— Считаю собрание открытым! Предлагаю избрать председателя и секретаря!

— Колю!

— Еще кого?

— Дядю Колю!

— Федьку!

— Нет, Федьку не надо, он плохо пишет!

— Ну Ваську.

Кандидатов голосуют по фамилиям. Выбранные, гордо подняв головы, проходят через гудящий зал и занимают места за столом. Председатель и секретарь получают по листику бумаги и огрызок карандаша — один на двоих. Карандаши были у нас в ту пору редкостью.

— Товарищи! — говорит председатель. — Нам надо довыбрать детком... У нас выбыло несколько человек из правления по болезни, а которые уехали домой. Остался один Коля да одна девочка. Надо добавить. Назначайте кандидатов!

Опять выкрикивают фамилии.

— Голосуем. Кто за Ваньку — поднимайте руки!

Часть ребят поднимает руки.

— А кто против?

Вторая часть поднимает руки.

— Почему вы против Ваньки?

Некоторые смущенно хмыкают, а кто посмелее — кричит:

— Потому что он ругается с нами!

— Он нам хлеба мало дает!

— Он у нас хлеб ворует!

— Ну хорошо, а кто за Колю?

Разом взлетают над головами руки. Зал, как щетка.

— Единогласно!

Так выбираются детком, комиссия, заведующие. Каждая кандидатура обсуждается серьезно.

— Товарищи! — говорит председатель. — Нам нужно еще избрать товарищеский суд. Этот суд будет нас же судить, кто плохо себя держит. Вот вы сейчас говорили, что у нас ругаются, дают мало хлеба, воруют хлеб, и указывали на другие непорядки. Кто не будет слушаться деткома и будет нарушать порядок нашего дома, тех будет судить товарищеский суд. Его нужно избрать на таком большом собрании, на котором и наши старшие товарищи воспитатели. Согласны? По залу прошел ропот страха и удивления.

Вдруг из среды ребят выкрик:

— Согласны!

— Согласны! — зашумел зал.

Опять идет переключка фамилий, имен, прозвищ. Потом голосование.

Кончается собрание пением «Интернационала». Во время пения ребята держат себя дисциплинированно, один другого одергивают:

— Стой смирно, не шевелись, а то товарищеский суд тебя без обеда оставит!

Все расходятся. Начинается спор:

— Я говорил, что Федька не пройдет, а пройдет Коля — вот и прошел!

— А Копытову Настю не надо бы выбирать. Чего она понимает: девка, как девка!

— Да ведь она большая, как не понимает?

Смотришь на все это, и невольно приходит на ум свое детство. Как мы росли? Что мы видели? Что мы знали?

А теперь, при советской власти, ребенок уже на собрании сам голосует; он уже чувствует себя человеком, полноправным гражданином. А старшие, тринадцатилетние ребята, уже решают общественные дела, им даются ответственные поручения, и надо видеть, с какой серьезностью относятся они к своим обязанностям.

— Эй ты, зачем туда бросаешь сор! Убери! А на пианино почему пыль не стерта? Смотри у меня!..

И девочка-работница берет тряпку и вытирает пыль.

Детком дает приказания хозкомиссии:

— Ты смотри, чтобы ребята картошку не таскали зря, ее надо беречь, чтобы на зиму хватило!

Заведующая библиотекой, девочка пятнадцати лет, ведет работу, как взрослая: аккуратно выдает книги, принимает обратно, делает им учет. У нее же и выставка рукоделий.

Девочка четырнадцати лет, заведующая отделом метеорологии, отмечает перемену погоды. На стене у ней приколот лист бумаги, где она ставит разные каракули и закрашивает огрызком цветного карандаша квадратики дней в соответствии с переменной погоды.

Другие следят за работой товарищей, отмечают их поведение и судят непокорных своим товарищеским судом, наказывают:

— Ваньке за то, что он пробежал обед, — кашу подать в последнюю очередь!

— Федьке за то, что взял без спросу пайку хлеба, — за обедом дать маленький кусочек!

Других заносят на красную или черную доску.

Одним словом, дети сами чувствуют, что от них что-то требуется важное, что они готовятся к серьезной жизни...

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Одиннадцатилетняя Вера Буланкова прожила тяжелую жизнь. На ее глазах, когда она была еще шестилетним ребенком, банда Колчака расстреляла ее отца, коммуниста. Тут же, при ней, терзали и ее мать: били палками. Девочка ползала около бесчувственной, окровавленной матери. Офицер, скрежеща от злобы зубами, крикнул:

— У-у, щенок! Влепить ей двадцать пять!

И вlepили ребенкy. Утешили плетьюми, чтобы она ввек не забыла этой картины.

Вот что она пишет (я сохраняю ее слог и стиль):

Я бедная девочка, пролетарская дочь,
Хотя я малютка, но жизнь мне невмочь.
Живу одинокой, среди бедных таких же детей,
И ищем мы ласки от чужих нам людей!
Хоть мать я имею, но живу я одна,
Отец мой зверски белыми замучен,
Мать моя бедна.

У Оли Щекаловой отца убили на колчаковском фронте. Мать умерла. Девочка была направлена в детдом. Здесь она сыта, одета и согрета теплом и лаской. Потерю родных она понемногу забыла и мечтает теперь только об одном — скорей бы начать учиться.

Я, как вольная птичка, порхаю
Целый день, как на ветке, пою,
От нужды вседневной не таю,
Все мелочи жизни не знаю,
Чтоб тревожили душу мою!
Я о книжках, тетрадках мечтаю.
Ах... как читать я хочу!
Скоро ль день тот настанет,
Когда в школу учиться пойду!
Но дни за днями проходят,
Дождаться никак не могу.

К ученью стремились и все другие. Недостаток знаний ощущался ребятами столь же остро, как и недостаток в хлебе. А что мы им могли дать, когда у нас не было самых необходимых вещей — не было бумаги, карандашей, учебников. Дети должны были запоминать «с голоса», писали углем на стенах и дрались за каждый клочок бумаги, за огрызок карандаша. И все же учились и делали успехи. Писали стихи, рассказы, а Маруся Скороходова сочинила даже целую пьесу, которая была поставлена на детском вечере и имела огромный успех.

А вот история жизни мальчика Миронова, им самим рассказанная:

«Отец мой был рабочим на заводе Верхние Серги. В семье нас было четверо: отец, мать и нас, ребят, двое. В 1913 году отец заболел и умер. Брата моего белые силой забрали в армию. Через две недели заболела мать. Соседи свезли ее в больницу, и я остался один. Хлеба — ни корочки, и я начал продавать вещи. Продал швейную машину. За нее мне дали тридцать пять фунтов овсянки. Ах, как жалко было мне машину, ведь это было все наше богатство, но что же поделаешь — голод!

Когда мать поправилась и вышла из больницы, я поступил на завод, в катальный цех, тянуть проволоку.

В 1919 году по сокращению штатов всех подростков уволили с завода. Уволили и меня. Жить стало нечем.

В конце 1919 года мы с матерью решили ехать в Екатеринбург, думали, что там скорее найдем хоть какую-нибудь работу. Все, что у нас было, распродали за самую низкую цену и поехали.

В тридцати верстах от нашего завода дорога идет по ревинскому пруду. Ехали ночь. На пруду вышла наледь. Впотьмах мы ее не заметили и заехали в эту наледь. Вымокли, особенно мать. А был сильный мороз. Одежда на ней застыла колом. Тут она снова простудилась и по приезде в город слегла. Положили ее в больницу. Я остался у дяди. У него своя семья большая, меня ему кормить трудно.

В начале 1920 года дядя заболел тифом и умер, а дней через двадцать после его смерти умерла моя мать. Я остался кругом сиротой и без приюта.

Я узнал, что в Верхисетске живут соседи с нашего завода, ушел к ним и жил у них дворником три месяца. Вдруг является брат хозяина, и хозяин взял его к себе вместо меня, а мне от места отказали.

Жил я на улице, голодал. На работу не берут, говорят, молод — это первое; а второе — и без меня много взрослых без

работы. Есть хочу. Что делать? И вот голод заставил меня лезть по чужим карманам. Присоединился к таким же мальчуганам, как и я, и начали мы действовать...

На станции в худом вагоне был наш ночлег, а всех-то было нас двенадцать человек! Утром вставали и, голодные, шли на промысел. Так жили мы три дня, а на четвертый день нас прогнали из вагона. Однажды нам повезло: на зеленом рынке мы взломали лавочку с хлебом и в ту же ночь уехали на станцию Шаля. Там отдохнули и подкормились.

Съели хлеб и опять приехали в город.

Стали ходить на рынок, таскали из крестьянских возов, что попадает съестное: картошку, репу, морковь, молоко. Тем и кормились. Спали около реки, в пустых лавочках. Подошла осень. Стало дюже холодно. Мы попросились ночевать в губэвак. Так и жили. Днем ходили на промысел, а ночью в губэвак.

Один раз мы заметили на станции вагоны с картошкой. Подкупили милиционера — дали ему четыре мешка картошки, а остальную — себе. Пошли продавать эту картошку на рынок. Я успел продать три мешка и шел уже с последним, как тут — р-раз — нас всех и забрали. Стали допытываться, где взяли картошку. Один из нас испугался и все рассказал. Рассказал даже и о том, что мы подкупили милиционера за четыре мешка картошки. Милиционера, разумеется, заграбастали, а нас отправили в эвакоприемник, а оттуда вот сюда... — Миронов посмотрел на нас сначала серьезно, а потом радостно улыбнулся. — Я рад, тетя Груша, что попал сюда... Тяжело скитаться да воровать... Бьют больно, да и...»

Он не договорил и махнул рукой.

РАСЦВЕТ ДЕТДОМА

К середине 1922 года стараниями персонала и самих ребят наш детдом приобрел вполне приличный вид.

Мальчики занимали две комнаты: одну на двадцать пять кроватей, а другую — на двенадцать. Матрацы были новые, покрыты новыми простынками и ватными одеялами. Подушки в белых наволочках и на них белый чехол. В изголовьях кроватей висели чистые полотенца. В каждой комнате дежурный, который должен смотреть, чтобы ребята не бегали по кроватям и чтобы ничего не пропало.

Комната девочек-работниц была показательной. Пол они сами ежедневно по очереди мыли. Там полная чистота, и сами они всегда чистенькие.

За их неустанную работу завдом сосредоточил все, что было возможно, в этой комнате: белье для кроватей выдавалось лучшее, подушки перовые, наволочки белоснежные, чехлы на подушки из хороших белых платков.

К тому же девочки нашили себе маленьких подушечек, а наволочки вышили цветочками. Посмотришь на кровати, и кажется, что на каждой подушке лежат цветы. На каждой кровати в головах перекинута хорошее полотенце, и почти у каждой кровати стоит столик, покрытый салфеткой. Посреди комнаты большой стол с чистой скатертью, а в простенке, между окон, трюмо. На окна девочки сами сделали из бумаги шторы, вырезанные замысловатым рисунком. У некоторых кроватей на полу лежали маленькие коврики, вышитые гладью старыми нитками. Чтобы достать ниток, распускали рваные цветные чулки, и такими нитками вышивали.

Через комнату протянута дорожка самотканых половиков. Комната выглядит уютно. Мы козыряли этой комнатой перед посетителями, и сами с любовью смотрели на нее.

Девочки спали по две на кровати. Мальчики спали и по три на каждой. Это, конечно, негигиенично, но что же было де-

лать, если нехватало кроватей на шестьсот человек? У маленьких детей в комнатах за чистотой следили няни, с них и спрашивалось. Одеты были ребята тепло и чисто. Беда была с мальчишками, на которых одежда горела, как на огне. Девочки же любили одеться понарядней, а некоторые из них пытались даже подкрашивать губы и ресницы. Против этого мы, конечно, восстали.

Это были лучшие времена детдома, когда Верницоса и другие сослуживцы отдавались работе целиком. В дальнейшем завдом под влиянием завхоза стал работать все хуже и хуже, а в конце года от нас ушел. После него завдомы начали часто меняться. Работа колебалась, а потом начала падать.

ГЛУБОКОЕ ГОРЕ

Сумрачный январский день. Мутные, изорванные морозным ветром облака осели на горизонте бесформенными грудами. И, может быть, от этого по городу преждевременно разлились тяжелые сумерки. Восточный ветер гулял в улицах, рвал с крыш снег. Кружил его поземкой и протянулся в сугробах. Лошади, распыливая ногами косые сугробы, жмурясь и сгибая набок головы, тяжело шли навстречу ветру. Мужики в санях сидели спиной вперед, закутанные в шубы, нахлобучив поглубже меховые шапки.

Пешеходы, путаясь ногами в снегу, кособочились, сгибались в три погибели, точно готовясь кого-то бодать, покрывали, пряча нос в воротники.

Я только что начала подготавливать к завтрашнему дню работу, как вдруг увидела в окно: спешно идет к нам рассыльная из окроно. Я вышла навстречу. Она подала мне бумажку и ушла. Я развернула бумажку и прочла коротенькое, но тревожное своим лаконизмом извещение:

«... Экстренное собрание партийной ячейки...»

Прихожу на собрание. Лица у всех вытянуты, глаза недоумевающе спрашивают: «Что случилось?!»

Решительными шагами, но, видимо, взволнованный, выходит на сцену секретарь ячейки. Все затихли.

— Товарищи... — глухо сказал он и осекся. — Товарищи... — произнес он, набравшись сил. — Все мы должны как один человек крепко сплотиться вокруг нашей коммунистической партии. Мы должны заменить одного дорогого нам человека, который ушел от нас навсегда... Мне трудно вам передать... ту скорбь, ту... глубокую печаль, какая постигла нас всех...

Тишина. Кто-то за спиной у меня учащенно сопит. Сосед рукавом утер мокрый лоб.

— ...Мне трудно сообщить вам наше общее глубокое горе!.. Наше большое несчастье!.. Наш любимый Владимир Ильич... умер!!!

— А-а-а?! — пронеслось по залу, как общий вздох.

Кто-то вскочил с места и сейчас же опустился. Все окаменели. Я осмотрелась, как бы ища защиты. Вижу — у всех глаза круглые, горящие... Лица меловые...

А секретарь дрожащим голосом что-то говорит и говорит. Ничего уже не соображая, я смотрю на него и вижу, как нижняя губа его странно подергивается, дрожит. Он закусывает ее, стараясь удержать, но она помимо его воли ломается, как у ребенка перед бурными слезами. Он делает невероятные усилия, чтобы не расплакаться. В ячейке семьдесят человек, и большинство из них женщины. Что с ними будет, если он не сдержит себя и первый заплачет?!

Известие было настолько ошеломляющее, что все мы в первые минуты как-то забыли, что у нас есть слезы. Как примириться с мыслью, что Ленина нет и никогда не будет?! Что умер величайший человек в мире? Нет, этого не может быть, это что-то не так!..

Доклад продолжался.

— Товарищи!.. — продолжал секретарь. — Мы не должны предаваться горю и унынию... Мы должны быть готовыми к бою... Мы должны удвоить нашу бдительность! Нам нужно еще больше окрепнуть, закалиться, чтобы не согнуться, устоять во время бурь на пути к выполнению его заветов... Ленина не стало, но мы все должны его заменить. Его заменит партия в целом! Она жива, сильна и еще более пополнится сознательными товарищами-рабочими!..

Мы вышли подавленные. На улице выл морозный ветер, и от его заунывной песни на сердце становилось еще тяжелее. Казалось, что весь город как-то осел, потемнел и обезлюдел.

Я не знаю, как другие товарищи, но думаю, что они так же, как и я, шли домой, не видя дороги. Сдерживаемые долго слезы хлынули у меня из глаз и заслонили весь мир. Я шла, как пьяная, натыкаясь на заборы, попадая в сугробы. В груди лежала тяжесть, в ушах гудела вьюга.

Дома я проплакала всю ночь и встала утром разбитая.

Весь город узнал о случившемся. Печальное известие проникло и в наш детский улей. Только что успели окончить завтрак, как вдруг ко мне в комнату влетает мальчик с широко открытыми, испуганными глазами:

— Тетя Груша, Ленин умер?!

Я стояла у стола, держала разносную книгу. От крика мальчика книжка выпала у меня из рук, точно я в первый раз услышала это известие, и слезы опять полились градом.

— Да, умер ваш дедушка Ленин, он вас очень любил и много сделал хорошего для детей!..

Глядя на меня, мальчик тоже заплакал и выбежал из комнаты. Уныние воцарилось во всем доме.

Дети притихли, сидят и ходят скучные, говорят мало и шопотом, точно боясь кого-нибудь разбудить. Зашалит кто-нибудь, сейчас же его одергивают:

— Ну, что ты зашумел!

Но как ни тяжело было на сердце, а работа требовала точного и немедленного исполнения. Я вышла по делам в город.

Люди шли придавленные, скучные.

Многих охватил тоскливый страх: «А что же теперь будет?.. Как будем жить без Ильича!..»

Враг поднял голову, и по городу поползли зловещие слухи:

— Теперь война будет!

— Всех коммунистов и сочувствующих перережут!..

Стали раздаваться и нескрываемые, наглые вопросы:

— А что вы теперь будете делать?.. Ведь Ленин-то умер? Буржуи вас, как мышей, передавят!..

Эти слухи проникли даже в детскую гущу; нашлись и у нас подлецы, которые стали запугивать детей:

— Вас тоже вместе с коммунистами перережут!

Среди ребят началось брожение, разговоры, рассказы о всяких ужасах. Настрашают друг друга, а потом со слезами бегут ко мне:

— Тетя, мы боимся: говорят — нас убьют.

В час похорон Владимира Ильича город совсем затих, а в минуты, когда наступило последнее прощание с любимым вождем и другом, на всех фабриках и заводах загудели жалобные гудки. И кого где застали эти роковые пять минут — там люди и останавливались, как вкопанные. Все движение прекратилось. Плывут тяжелые минуты, гудки воют и воют, а вместе с ними льются слезы...

Всем дорогой человек уходит от нас навсегда...

Мне рассказывали, как где-то под Пермью внезапно остановился в пути пассажирский поезд. Думая, что произошло крушение, пассажиры повыскакивали из вагонов, но, убедившись, что все в порядке, стали спрашивать машиниста:

— Почему остановился поезд?

Машинист стоял на своем месте без шапки и ничего им не отвечал.

Подошел начальник поезда.
— Пускай поезд, — приказал он.
Машинист молчал.
Выждав пять минут, машинист надел шапку и сказал:
— Я хоронил Ленина!
И взялся за рычаг.

НЕ ДО СВИДАНИЯ, А... ПРОЩАЙТЕ

Нас гордость волнует, крепки наши руки,
Мы знаем, как строить, хоть ночь так темна...

Хожу по комнате, тихонько напеваю и совсем не думаю
о песне, она сама где-то в складках памяти рождается и обле-
кается в мотив; пою, а руки готовят девочкам работу. Спешу.
Надо итти по заданию окроно на обследование трех семей.

А песня нейдет из головы, и только я начала

...И камень...

как сзади меня девочки подхватили хором:

...И камень на камне, и камень на камне
Встает за стеною стена.
И если ты веришь во всходы зари,
То камень в основу клади.

Слышу, как диссонансом ворвался откуда-то прозаиче-
ский голос:

— Что это у вас с утречка весело? Рано пташечка запела,
как бы кошечка не съела...

Оглядываюсь — в комнате стоит няня Женя и улыбается.

— Нас-то не съест... Мы большие! Мы и раньше, когда плохо
было, не плакали, а теперь и подавно... Живем хорошо, ребята

устроены. Чего же еще надо?.. — рассудительно проговорила няня. — Пойте, девочки, пойте!

Девочки улыбнулись и затянули снова. Женя присоединила к ним свой грудной сильный голос.

— А что эта за рама? — обрывая песню, спросила Женя.

— А это я нашла сегодня на вышке. Девочек надо учить в пяхах вышивать, вот я и хочу ее использовать вместо пях!..

Все засмеялись.

— Ну и тетя Груша, чего придумала!..

— Надо, вот и придумала!

Одна девочка задумчиво сказала:

— А правда, говорят, что если песни поешь, так, значит, перед слезами!..

Девочки засмеялись:

— Это бабушкины сказки! Ведь правда, тетя?

— Конечно, сказки! Не надо этим забивать себе голову. В жизни разное бывает: бывает, поешь, бывает, и плачешь, — какое придет настроение! Ну, садитесь за работу!

Девочки принесли старый мешок, разрезали его, натянули на раму и сели трое к раме.

— Я буду лодку с парусом вышивать, — сказала Тоня.

— А я — старика, — заявила Рима.

— Римочка, одного старика тебе мало, возьми еще море...

— А я буду вышивать избушку и старуху...

— Ну вот, вам и хватит, покуда я приду!.. Шейте хорошенько, не шалите. А ты, Даша, что-то заленилась, у тебя плохо подвигается работа с полотенцем!

— Шелку зеленого нет на листочки!

— Ты бы давно сказала, что нет.

Подаю ей шелк.

— Надо скорее кончать, а вдруг меня не будет — полотенце так и останется с одним концом!

— Ты, тетя, разве хочешь уходить?

— А мы как же без тебя останемся? — с испугом заговорили девочки.

— Да никуда я не собираюсь! Так, на всякий случай, — говорю. — Ведь не вечно же здесь буду, когда-нибудь мы с вами и все уйдем отсюда!..

Мне нужно было в городе обследовать одну семью и на окраине Верхисетского завода еще две. На обратном пути я зашла в окроно сдать вчерашнюю работу. Меня попросили зайти к секретарю. Прихожу, он мне и заявляет:

— Мы тебя командидуем в Полдневную работать в избе-читальне!..

Я онемела. Стою и не чувствую ног.

— Чего ты так смотришь?.. Там тебе легче будет. Будешь только с книгами возиться, а тут тебе тяжело. Да и нам надо туда послать человека на постоянную работу, а кроме тебя никого!..

У меня в голове кавардак: «Да что же такое, да как же это так? Выживают из города? А как же ребята?.. Коммуна еще не готова. Ребят выпишут — куда они пойдут? Рассыплются все в разные стороны... Разве можно так?!»

— Нет, не поеду! Я не знаю работы в деревне, да и дело с коммуной не закончено!

— Ну, это и без тебя сделают!

— Не поеду я! Вот закончим с коммуной — тогда видно будет!..

— Как так не поедешь?.. Тебя партийная организация командидует! — сказал секретарь и при этом строго посмотрел на меня. — Да тебе там легче будет... Мы будем ездить к тебе, навещать... Давай иди к Кошелевой, она тебе даст путевку. Дело уже решенное!

Я молча вышла в коридор. Долго стояла, глядя в окно. Бессмысленно вошла в кабинет Кошелевой. А мысли скачут: «Отказаться?.. Все равно пошлют! Ячейка! Эх!.. Жизнь ты моя!.. Как теперь быть с ребятами? Что будет с девочками, когда узнают, что я уезжаю?..»

Кошелева сейчас же написала извещение и с виноватыми глазами подала его мне. Ничего ей не сказав, я вышла

на улицу. Отойдя немного, вспомнила о бумажке и поднесла ее к глазам, а глаза не видят. С трудом прочитала о своем назначении.

Зло поднялось в груди! За что? За что лишают любимой работы? Кто же это мне так удружил? Уж не новый ли завдом, с которым я не поладила?

С такими черными мыслями я шагала по городу, не замечая дороги. Вдруг вижу — площадь! Оказывается, что я давно прошла мимо своего дома. Вернулась, дохожу до ворот, а сердце еще пуще заныло. Кто-нибудь из детей встретит меня и сразу увидит, что я не в себе. Посыплются вопросы. Как поступить? Сказать или умолчать? Нет... Не надо говорить... И девочкам не надо говорить, их надо подготовить к этому. «Ну, не скажу им, — рассуждаю я, — но ведь они все равно узнают!..»

Пробралась я незаметно в свою комнату и легла в постель. По обыкновению я должна была пройти в комнату девочек и посмотреть, что они делают, но я этого не сделала.

Думаю: «Вот немного успокоюсь, тогда пойду к ним». Вдруг, вижу, дверь тихонько открывается и просовывается голова девочки. Увидела меня, закричала:

— А, тетя, уже пришла?! — и влетела ко мне.

— Мы, тетя, думали, что кто-то чужой залез... Как ты пришла?.. Мы и не видели!..

Прибежали остальные девочки, зашумели, заговорили все сразу.

Лежу и смотрю на них: «Ах, мои вы, щебетуньи!»

Говорю им:

— Девочки, я сильно устала. Идите к себе, а я отдохну немного и приду к вам!

Всю ночь я не спала. На следующий день ходила, как в тумане. Девочки это заметили.

— Тетя, что ты какая-то невеселая?

Их испытующие взгляды и вопросы разрывали мое сердце.

Я неизменно врала:

— Чего-то нездоровится!

Постепенно начала собираться. Девочки это заметили.

— Ты, тетя, почему все собираешь?.. Уходишь?

— Куда уходишь? Зачем?

— Хочу отдохнуть на квартире, — успокаиваю их. — Я там пробуду недолго, поправлюсь и приду опять сюда!..

Девочки не поверили.

Поднялся шум, плач, посыпались вопросы. По счастью, никого не было в комнате из старших. Пришлось их успокаивать и одновременно бороться с собой, со своими чувствами. И мы решили, что я пробуду на новой квартире не более как два месяца.

— Мы провожать тебя пойдем!

— Ладно, девочки! Вы ложитесь спать, а я, как поеду, вас разбужу.

Кое-как выпроводила их из комнаты. Сажу и не знаю, что делать. Слезы текут из глаз. Отвернулась от окна. Эх!.. Надо уйти скорее. Схватила свой узелок. Хотела сейчас же выйти из помещения, но... ноги мои сами подошли к комнате девочек... Они уже спали.

Что было со мной тут — я не могу передать...

Я готова была целовать их всех, моих родных, близких, кровных мне, дорогих...

Не помню, как я выскочила из дому, видел ли меня кто-нибудь, как я прошла через двор и которыми воротами вышла — ничего не помню!

Очувствовалась я, когда была уже далеко от дома. Запахнула пальто, вскинула на плечи узелок и пошла медленней, но думы от этого стали еще тяжелее.

Пусть мне не верят, но это было так.

Пусть мне скажут: «Ведь это дети не твои!?»

Да, не мои! Но ведь если у меня нет детей, то у них нет матери. Они такие же бездомные, как и я!

часть пятая

В ДЕРЕВНЕ И В ГОРОДЕ

НА НОВУЮ РАБОТУ

Мчится поезд. С шумом и грохотом мелькают придорожные сосны и сторожевые будки, разворачиваются разноцветные полосы полей. Пассажиры зашевелились, готовясь к выходу.

Вот она, немилая Полдневая...

Пришла в сельсовет, предъявила документ председателю.

Он поднял голову от бумаг, скользнул по мне взглядом и молча, с напускной важностью, протянул руку за моей бумажкой. Далеко отнеся документ от глаз, он нарочито долго читал его, близоруко прищуривая глаза. Потом сунул его мне обратно и через плечо бросил молодому пареньку, очевидно, делопроизводителю:

— Зарегистрируйте!

И снова зарылся в бумаги.

Делопроизводитель взял отношение и сквозь зубы спросил:

— Где остановились?

— Я прямо сюда с дороги!

Сосредоточенно перелистывая книгу, он спросил председателя:

— Можно ее послать к Агафье Ивановне?

— Можно!

Паренек поднял голову и, слепо уставившись куда-то в угол, неопределенно показал рукой в пространство:

— Иди вон туда и скажи, что мы тебя послали. Работать будешь в избе-читальне!

И снова начал перелистывать книгу.

Прием мне не понравился. Я никак не ожидала, что в деревне так высоко и недоступно держат себя начальствующие лица.

Устроилась на квартире и пошла знакомиться с избой-читальней. По наивности я думала, что изба-читальня должна походить на городской читальный зал, где тихонько сидят люди и читают, знакомятся с последними новости.

Изба-читальня приютилась в довольно светлых комнатах двухэтажного деревянного дома. Но в ней не было ни души. В прихожей стояли два книжных шкафа на замке, залитый чернилами стол, две табуретки, скамейка да одна маленькая запыленная горка, приспособленная для книг. На полках небрежно и бессистемно было навалено много разных изодранных журналов и несколько старых книг. Другая комната служила читальным залом. Но и здесь обстановка не радовала: кроме средней величины стола, сиротливо приткнувшегося к углу, да лавок вокруг стен ничего не было.

Прежний избач сухо поздоровался со мной, отдал ключи от шкафов и, не говоря ни слова, исчез.

Чувствую, что приехала я, как в лес: никого не знаю, в деревне никогда не работала, а в избе-читальне тем более. Развела руками: как быть, с чего начинать?

Открыла избу-читальню, перебираю книги, знакомлюсь с ними. Первыми моими посетителями оказались дети. При-

шли, молча столпились у дверей, смотрят на меня. Потом кто-то из них крикнул, кашлянул и спросил тоненьким голоском:

— Тетенька, ты к нам жить приехала?

— Да, жить и работать, — отвечаю им.

— А дядя уедет от нас?

— Куда ему ехать, — отвечаю им. — Мы с ним вместе будем работать. Вы часто ходите к дяде за книгами?

— Нет, мы не ходим... — говорит один из малышей, косится на своих товарищей и мнет шапку. — О, знаете, дядя энтот, страх как ругается и даже на порог нас не пускает!

— Почему?

— Не знаем... И книжек нам не дает.

Один мальчик, что посмелее, говорит:

— Мы вот учимся, и в школе учитель нам говорит, какую нужно нам книжку прочесть, а где ее взять?! Легко сказать — прочитай, а вот попробуй достать!..

Пока мы разговаривали, ребят набилась полная читальня. Тем временем я нашла детские книги и говорю:

— Ну, дети, становитесь в очередь! Запишу вас и книг дам!

Ребята зашумели:

— Я первый пришел!..

— Нет, я!..

— Дури!.. Я тут с тетей разговаривал, а тебя не было... Я первый!..

Начала записывать и раздавать книги. Первыми отпустила учеников.

Отбившись от очереди, прижалась в угол горсточка детей и виноватыми глазами смотрит то на меня, то на учеников. Стоят, молчат. Я их заметила.

— А почему вы не в очереди?

— Да они дубовые! — махнул на них рукой, как на обреченных, боевой мальчик. — Они не умеют читать!

А я думаю: «Не нужно отнимать радости у ребенка!.. Книга, да еще с картинками, заманчивая мечта каждого... Дома

им почитают...» И дала всем по книге. Нужно было только видеть, какая у них была радость!

Много было шуму, споров: один выберет какую-либо книгу, ну и другому ее же надо. И тут пришлось создавать очередь.

С каким восторгом бежали они домой!

Матерей и отцов удивляло то, что и неграмотные ребята пришли домой с книжкой.

Школьники подбирали книжки по рекомендации учителя, взрослым грамотным я подбирала сама, а неграмотным давала журналы с картинками.

Среди хлама я нашла тетрадь, где была запись абонентов, но их было так мало, что я просто удивилась. Думаю: «Ведь село большое, не может этого быть, чтоб не любили читать книги!»

Со временем и взрослые начали посылать мне записки, чтобы подобрала для них интересную книгу, а потом сами стали ходить обменивать их. Читателей стало прибывать человек по пять ежедневно. Пришли женщины и молодежь; за два месяца прибыло более ста новичков. Потом начались у нас и беседы на разные темы: «Электрификация страны», «Болезни и падеж скота», «О власти при царизме и о советской власти». Беседа на тему «Религия и коммунизм» затянулась на два вечера, потому что сами слушатели пожелали ее продолжить.

Появилось в избе-читальне и учительство. Пришли комсомольцы. Пришли и красноармейцы. Все удивлялись переменам в избе-читальне. Но работать в Полдней было трудно.

Почти все коренное население жило старыми предрасудками. Каждое воскресенье была церковная служба. В покровскую субботу на панихиды целые корзины со стряпней тащили в церковь. А что касается советской власти, то у них она была в таком почете: если чем-нибудь материально обеспечивает их — значит, и советская власть хороша и коммунисты хороши, а чуть что не по ним — все проклятия выво-

рачивают из души. Молодежь за исключением незначительной горсточки была в ежовых рукавицах родителей, старых закоренелых фанатиков. Тяжело вспоминать, но молчанием не могу обойти то, что коммунисты слабо работали, не имели партнагрузок помимо своей основной работы. Берников — секретарь ячейки и заведующий библиотекой-читальней — почти не работал в избе-читальне. Коммунисты на собрания ячейки не являлись, а если приходили, то скребя затылки. Женщин в ячейке было только две, но и они никакой работы не несли.

Комсомол рос без всякого партруководства, как говорится, «на лес глядя», ребята ходили, как и другие, по улицам с гармошкой и горланили песни.

Наконец, возвратился из своей поездки Берников, приехал, но мне ничего в работе не помогает и не показывает, даже не разговаривает. Все он куда-то бежит. Начала его сама ловить, прошу его рассказать мне, как надо работать.

Он озлобленно огрызнулся:

— Надо переводить библиотеку на десятичную систему!

А как переводить — не показал, только то и сделал, что мобилизовал одного комсомольца мне в помощь.

Вечером придут люди, надо проводить беседы, а я одна: Берников, как млад-месяц, покажется — и нет его! Около меня вырос актив, и в избу повалило много посетителей. Ему это почему-то не понравилось, он начал укорять меня, что я только слежу за библиотекой и привлекаю читателей, а больше ничего не делаю. Я как новичок не могла даже понять, чего он от меня хочет, чего добивается.

И только уже гораздо позднее вывод сделала сама жизнь: Берников оказался оппозиционером-троцкистом и был исключен из партии.

Работала я с утра до ночи в холоде, в скорости передрогла, простудилась и под конец заболела: открылся сильный кашель.

Квартира у меня была неудобная, у хозяйки маленькие дети, они мне мешали, да и я им мешала своим кашлем; ложились спать они рано, а я приходила ночью, приходилось стучаться, будить их. О сне и думать нечего было: кровати не было, а на полу холодно, и даже худой одежки постлать не было.

Пришла к секретарю ячейки и рассказала ему о своем положении.

А что он мог сделать? Развел руками и успокоил:

— Приспособляйся!..

На мой запрос через неделю из района получено было извещение, что мне дают перевод в другое место.

В это же время происходили выборы делегатов на партконференцию в район. В число делегатов выбрали и меня. Это предложил Берников, хотя и не сказал, с какой целью, но я поняла это как маневр, чтоб избавиться от меня поскорее.

На этом и кончилось мое избачество в Полдней.

В Екатеринбурге меня направили избачом в село Косулино.

Приехала в сельсовет, вижу: сидят старики да мужчины средних лет, а молодежи не видно.

Председатель прочитал путевку и весело посмотрел на окружающих:

— Вот рик прислал нам избача, — и потряс над головой моей бумажкой.

Все враз заговорили:

— Вот это мы понимаем!

— Видно, человека сурьезного, не как наша Воробьева!

— Давай начинай работать, — повернулся ко мне с улыбкой председатель. — Мы тебе поможем!

В первый же день я пошла знакомиться с избой-читальней.

Дом, в котором помещена была изба-читальня, мне не понравился: старый, присевший к земле. Я сравнила его с громадным животным, лежащим на животе, подобрав под себя лапы, окна мне показались глазами, но скучными и сиротливыми, которые вот-вот заплачут.

Внутренность избы тоже неприветливая: окна низко за-
пали к полу, стол был намного выше подоконника. На стене
почти под потолком приклеен уже порыжелый и порванный
плакат. Кое-где болтались старые лозунги, частью изорван-
ные, видимо, на цыгарки.

Заведующей к моему приходу в читальне не оказалось.
Подросток-комсомолец мне сообщил:

— Ты ее не жди — не придет, она осердилась, что новый из-
бач приехал! Ушла домой и сказала: «Пусть, что хотят, то и де-
лают, а я не приду!»

Я долго ее ждала, так как надо было составить акт сдачи
и приема. Но так и не дождалась.

Скоро избу-читальню перевели в помещение сельсовета,
во второй этаж. Отремонтировали ее. Как только покончили
с побелкой и покраской и вымыли пол, я взялась за уборку
комнаты: установила мебель и украшения. Набежали помо-
гать комсомольцы, женщины. Закипела работа, только знай,
показывай им. Комната преобразилась, сделалась неузнава-
емой. И все, кто только приходил в сельсовет, поднимались
по внутренней лестнице в избу-читальню посмотреть, стоят
и любуются:

— Вот это читальня! Тут и отдохнуть приятно!

К моим запросам в рике и в сельсовете относились, сочув-
ственно и по возможности выполняли все мои требования.
Население относилось ко мне тоже дружелюбно. Одним сло-
вом, работа пошла, как по маслу.

В читальне по моему заказу была устроена полочка для
книг, на ней каждый имел возможность без задержки найти
нужную книгу. Газеты всегда были на столе. Я вывесила рас-
писание, когда и по каким вопросам обращаться за справками.

В читальне все время толпился народ. При сельсовете был
сельскохозяйственный кружок, но работал он плохо. Я его
прикрепила к избе-читальне, расшевелила кого следует,
и работа пошла.

О выезде секретаря райкома мне ничего не было известно. Неожиданно я увидела его у себя в читальне и удивилась: «Зачем он пришел?»

Он объяснил причину своего появления:

— Нужно организовать партячку! Вот зачем приехал.

После небольшого собрания была оформлена ячейка из шести человек. Меня избрали секретарем ячейки. Всех нас тревожила мысль, как мы будем работать. По партстажу все молодые, двое ленинского призыва, с годичным стажем, и три кандидата. Партработы никто не знает.

По указанию райкома я составила план работы, и мы стремились по силе возможности осуществить его.

Одной из первых задач мы себе поставили устройство в селе детских яслей. Слышали мы, что такие ясли имеются в других селах, но как приступить к их организации, с чего начать — не знали.

Поручили мы трем делегаткам женотдела узнать обо всем и доложить нам.

В следующее воскресенье делегатки без зову собрались в читальню. Всех интересовало, что скажут посланные товарищи.

С сожалением мы узнали, что с организацией яслей мы опоздали, так как сметы на устройство детских очагов давно уже утверждены.

Такой ответ нас опечалил. Самим устроить ясли — нет средств, помощи ждать неоткуда, а дело оставить — жалко.

Если мы нынче опоздали, то надо вести подготовку к будущему году, к весне. Но и для этого нужны средства. Где их взять?

Мне пришла в голову мысль: устроить делегатский огород, и доход от него обратить на ясли. Делегатки за это предложение ухватились.

Обработать огород, засадить и приобрести семена мы решились своими силами и средствами. Одной из делегатов по-

ручили ходатайствовать по инстанциям, чтобы наши ясли попали в смету на будущий год.

Все доходы с огорода постановили вложить в свою кооперативную лавку, где они пойдут в оборот и принесут пользу. Кроме того решили присоединиться к драмкружку и ставить спектакли своими силами, а вырученные деньги также сдавать на хранение.

КРАСНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Как только организовалась партиячка, на нее сразу же навалились горы неразрешенных вопросов. Дальше — больше. Дошло до того, что хоть каждый день собирай ячейку или бюро. К счастью, все члены бюро бывали ежедневно вместе. Я — в избе-читальне, другой член бюро был секретарем сельсовета, третий — заведующим лавкой ЦРК, которая находилась поблизости. Чтобы развернуть работу среди женщин, мы решили организовать красные посиделки.

Назначили день. Жду. Около одиннадцати часов стали подходить женщины — кто с пряхой, кто с вязкой, а кто просто с ребенком. Открывают двери и шутят:

— В гости идем, чем будешь угощать-то нас?

— Самовар-то готов! Чай пить идем!

Я их приветливо приглашаю:

— Милости просим, пожалуйста, проходите, места хватит всем, только вот насчет самоварчика я, правду сказать, и не позаботилась, уж чем-нибудь другим угощу!

А сама думаю: «А верно, как хорошо бы за самоварчиком посидели!»

Сама я об этом не догадалась, ведь в деревне мало работала, плохо знаю деревенские обычаи.

В первый раз пришли только те женщины, которые жили поближе. Повели мы между собой разговор о том, о сем, как-то незаметно разговор зашел о заразных болезнях — кто, где и как заразился. В это время принесли газеты. Одна из женщин увидела в газете заголовок «Оберегайте деревню!» и обратилась с просьбой прочитать эту статью.

Заметка была такого содержания:

В одной деревне поп был сифилитик и заразил через целование креста всю деревню.

— Откуда взялась болезнь? — недоумевали жители.

В конце концов дело выяснилось: попа убрали, церковь закрыли, так как в церкви все было заражено, начиная от креста, сосуда для причастия, ложки, которой подают причастие, до платка, которым вытирают губы тому, кто принял причастие.

Как только кончила читать, в избе поднялся сильный ропот. Женщины с брезгливостью говорили:

— А мы, бабы, и не подумаем об этом. Крест целуем и причащаемся, да и ребят таскаем, думаем — святое, а смотрите-ка, что бывает. А ведь и правда, чорт его знает, какой он, поп-то!

По селу разнеслось, что бабы ходили в гости в читальню, и там было интересно. На следующее собрание пришли уже тринадцать женщин. Долго судили-рядили и, наконец, подошли к такому вопросу: куда бы столкнуть на лето ребятишек — уж очень они мешают работе в поле, а дома оставить без присмотра нельзя. Я им тут, кстати, сообщила о нашем плане устроить детские ясли. И насчет огорода упомянула. Затея эта понравилась, все обещали помогать.

Через неделю в читальне собралось на посиделки уже сорок два человека мужчин и женщин.

Пришел секретарь сельсовета, поздоровался:

— Чего шумите, о чем идет разговор? Давайте я вам почитаю.

А я думаю: «Дело идет к лету, нужно делать подготовку». Подала ему две маленькие брошюры: одна по огородничеству,

а другая на тему «Какие растения не боятся засухи», и дала еще газету «Безбожник» с заметкой «Артельный труд».

Просидели часа три. Долго обсуждали заметку «Артельный труд».

— Это все мы можем сделать у себя. Разведем парники и семян найдем. А вот как бы добиться работать артельно? Ведь люди разные. Я вот думаю так, а другой иначе!..

Разные были мнения и даже очень смешные, но я была рада, что люди заинтересовались этим вопросом, думают, обсуждают...

ВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТА

В марте развернулась кампания по перевыборам сельсовета.

Ячейке комсомола было поручено писать плакаты и вести агитацию за стопроцентную явку на выборы. Вскоре все заборы и углы домов были облеплены лозунгами и плакатами, призывающими население на перевыборы.

В самый день перевыборов, 25 марта, была хмурая, неприятная погода, но все-таки вся школа и комсомол со знаменем, плакатами и агитповозкой вышли на улицу, к ним присоединились и детишки.

Жители с удивлением смотрели на небывалое зрелище:

— Вишь, что устроили!

— Да, откуда набралось столько ребят! Неужели это все наши, косулинские!?

Вечером пришло на перевыборы почти все население, остались дома только старый да малый. В сельсовете стало тесно, изба-читальня и даже лестницы были забиты народом. Пришлось перейти в школу.

На перевыборы приехали представители из райкома, из рика и шефы.

В прениях выступали многие. Указывали на недостатки работы сельсовета.

Новый состав сельсовета избрали из семи человек. В числе их оказалось три женщины: учительница, одна середнячка и одна батрачка.

При распределении обязанностей учительнице поручили возглавлять культурно-просветительную секцию, середнячке — коммунальную секцию, а батрачке — секцию санитарную.

Вскоре после выборов сельсовета подошел срок перевыборов комитетов взаимопомощи. В президиум также избрали двух женщин, и одну из них избрали председателем комитета.

Одну женщину я прикрепила к избе-читальне, а другой поручила следить за делегатским огородом.

Когда женщины занялись работой, тогда только выяснилось, что большинство из них малограмотные либо совсем неграмотные. Пришлось заняться их обучением, не теряя времени.

ОКТЯБРИНЫ

Апрельское утро. Благодатное солнце шлет на землю свои драгоценные лучи: «Живи, земля!»

С восходом солнца поднялась вся пернатая живность. Скворец усиленно насвистывал, прыгая с ветки на ветку в листьях черемухи, петухи, сквозь сон слыша дробь скворца, лениво поднимаясь, хлопали крыльями и своим «ку-ка-ре-ку» сбивали с толку скворца. Зеленая дубрава также оживилась. Все это предвещало хороший день, который на Урале называется «пчелиным» днем.

На улице появились мужики с лошадьми и потянулись в поле, позвякивая металлическими частями упряжи. Зазве-

нели голоса идущих по воду женщин. Сошлись женщины у ключа, языки чешутся, хочется поговорить, а не о чем: вчерашнее все переговорено, а нового за ночь ничего не случилось. Подходит еще одна женщина. Вид у нее самодовольный, потому что идет она с новостями:

- Слышали вы новость?
- Какую? — женщины всполошились.
- Да у Параскевы дочь родила.
- Неужели? Когда?
- Сегодня ночью. Парнишку родила.

И пошли пересуды, как будут крестить: в церкви или по-новому.

— Наверное, по-советски, ведь дедушка и бабушка неверующие: бабушка делегатка и дедушка кем-то в читальне; сын у них один комсомолец, другой в пионерах — вся семья куманисты.

— И эта, в читальной-то которая сидит, не допустит в церкву, отговорит.

Мне рассказала об этом делегатка, которая была у ключа.

Я говорю:

— Он у меня уже был, сказал, что у него сын родился и хочет октябрить; мы с ним уговорились устроить октябрины седьмого. Вот я пишу извещения. Вы мне помогите!

Седьмого апреля приехали представители из райкома, от шефов. Украсили сцену, посадили родителей на видное место. Народу в зал набилось полно, все интересовались, как будут «крестить» по-новому, по-советски.

Я открыла октябрины. Президиум у нас получился большой: ввели всех приезжих, от своих организаций, родителей и выборных от собрания.

Сделала доклад о новом быте. Зал слушал со вниманием. Потом спросили родителей, какое они желают дать имя ребенку. Родители заявили — Владимир, в память Владимира Ильича. Тут же это оформили. Делегатка от «шефов» приколла к одежде ребенка красную звездочку, подарила ребенку

одеяло, положила рядом с ним теплую фуфаечку, чулки, чепчик на него надела. Поднесла ему еще на рубашечки модеполаму и в подарок матери — десять метров ситцу.

От комсомола выступил секретарь и объявил, что по решению ячейки новорожденный Владимир с сего дня зачислен в отряд октябрят. Секретарь поздравил родителей.

От райкома передали подарок — книгу по истории партии. Многие еще поздравляли родителей с рождением сына. Октябрины закончились. В заключение силами нашего драмкружка был разыгран спектакль «Бабий выигрыш».

Октябрины прошли, как праздник. О них долго потом говорили: одни восхищались, что советские «крестины» прошли так шумно и весело, другие завидовали матери и ребенку, что они получили так много подарков и что им такую большую честь оказали.

АХОВАЯ ЖИЗНЬ

В вербное воскресенье после обедни приходят мужички в читальню и рассказывают:

— Ну, Гавриловна, сегодня нам от попа была нотация!

— Какая, за что? — спросила я.

— Поп начинает нас запугивать. Знаешь, маленьких пугают букой, а нас поп пугает мукой.

— Какой мукой? — смеюсь, спрашиваю я.

— Известно какой — адской!

Взял он сухую вербу и говорит: «Вот видите это? Кто не будет верить в бога, так же высохнет, как эта верба, а после смерти будет гореть в аду огнем вечным». Напугал нас прямо до смерти! — смеются мужики и спрашивают: — Ну, а ты нас чем пугать будешь?

— Мне пугать вас нечем, я только предложу вам прочитать книжечку «Ленин о религии», она вам много скажет.

Поп не напрасно пытался запугивать людей. Положение его стало аховое, средства в церковную кассу собирались туго, а семья большая, сам седьмой. Приход надломился — мужики-прихожане отшатнулись, да и некоторые женщины также. Помощников нет, старший сын совсем отбился от рук: записался даже в комсомол.

— Вот так здорово, — воскликнул поп, узнавши об этом. — Сын священника и вдруг каким-то крамольным комсомольцем заделался!

И начал по-божески учить сына ремнем.

— Не бей, отец, а то я уйду от тебя.

— Что же это такое? — недоумевает поп. — Сын на отца восстал!

Запечалился поп.

Пасха пришла, а доходов нет. И требы уменьшились. Где взять хлеб и другое прочее? Да и церковь нуждается в ремонте.

— Ну, матка, пришла жисть поистине аховая! — жалуется он попадье.

В воскресенье во время обедни поп попросил молебщиков не расходиться и, выложив им свою нужду, потребовал себе жалованье.

В противном случае грозил бросить приход:

— Оставайтесь, нехристи, без пастыря!

Церковный совет думал-думал и придумал: наложить на каждый дом налог: один пуд муки или один рубль пятьдесят копеек деньгами (в селе 148 домов). На эти средства вести ремонт церкви и выдать из них попу жалованье.

Поп и решил пугнуть прихожан: кто, дескать, не внесет обложения, тот не может войти в церковь и будет исключен из стада христового.

«Вот ведь страсть-то!» — испугались боголюбцы и стали вносить налог: кто хлебом, а кто деньгами. Но таких было

немного, большинство было этим налогом недовольно. По селу пошел ропот:

— Че же это батька-то придумал, где мы возьмем ему платить такую уйму денег?

Мужики-работники заговорили своим языком:

— Этим ты, батя, нас не запугаешь. Мы и так к тебе не пойдем, а ремонтировать церковь заставим, потому как она наша общественная. Мы не позволим, чтобы ты ее развалил, так и знай!

Церковь побелили, кое-что подправили. Поп все же видит, что церковь день ото дня все пустеет и пустеет, остаются одни старухи, а от них никакого дохода.

Тогда он пошел на последнее. Желая подсчитать свои силы, он выпросил в сельсовете разрешение сходить в день вознесения с иконами. В сельсовете ему сказали:

— Чорт с тобой, веди своих баранов!

Результаты были настолько плачевные, что поп разуверился в своей пастве и уехал навсегда из Косулина. После него приехал другой, прожил около двух недель и также смылся. Церковь осталась пустовать.

ПЕРВОЕ МАЯ

Утро вылилось пригожее, казалось, сама природа подготавливалась к этому дню.

Ослепительное солнце заливало лучами блестящую зелень хлебов и веселые лица людей с красными знаменами, на которых виднелись надписи: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Комсомол — смена старшим», «Женщина, вперед!»

В праздничном боевом настроении мы вышли в поле и видим: нам навстречу движутся рабочие со станции. Еще издали, не доходя до них, наша демонстрация крикнула «ура».

Рабочие ответили:

— Да здравствует Первое мая!

Момент, когда сошлись и встали лицом к лицу наши две демонстрации, был настолько торжественным, что невозможно передать его словами.

Я много видела демонстраций и сама участвовала в них, но такого глубокого чувства гордости и радости, кажется, не переживала. Сошлись две великие силы нашей страны — крестьяне и рабочие — и слились в одно могучее целое.

Каждый из присутствующих хотел говорить.

Эта поломанная и брошенная в поле за ненужностью телега, сколько она поддерживала в тот день радостно трепещущих ног!?

Эти поля, политые в девятнадцатом году кровью, сколько раз они слышали в этот день многократное сильное, боевое «ура», поднимавшееся к самому солнцу.

После приветствий вся масса двинулась выстроенными рядами. Первыми шли отряды пионеров и школа во главе с комсомолом, за ними — сельсовет, делегатки и различные организации, каждая под своим знаменем. Шествие замыкала пожарная дружина с лошадьми, бочками, машинами и пожарными принадлежностями; все металлические части были вычищены и блестели на солнце.

Когда демонстрация сгрудилась у сельсовета, на улице стало тесно, хоть расширай ее.

Открыли митинг, все с удовольствием прослушали доклад о значении праздника Первого мая, а потом о предстоящих задачах весенней кампании, о землеустройстве в селе. Всех необыкновенно возрадовало торжественное обещание пионеров нашего отряда! После митинга был поставлен детский спектакль. Часть публики осталась смотреть спектакль, а остальные отправились на околицу села. Там пожарная дружина должна была инсценировать показательный пожар, чтобы проверить, все ли у нее в порядке. Для этой цели предполагалось зажечь старый, предназначенный к сносу амбар.

Но пока мы торжествовали, отмечая наш пролетарский праздник, классовые враги не дремали, и вместо инсценированного пожара дружине пришлось гасить настоящий.

Вокруг села много было ометов соломы. В одном месте кто-то зажег солому да так, чтобы ветер мог вместе с горящей соломой перебросить огонь на село. Опасность угрожала всему селу. К счастью, пожарная дружина была в полном составе и полной готовности. Огонь удалось быстро погасить.

Вечером драмкружок поставил спектакль. Смотреть пришло около четырехсот человек.

Пожарники очень жалели, что не видели детского спектакля, но для них ребята на другой день повторили свое выступление.

В общем празднование Первого мая прошло блестяще, только пожар немного очернил дело.

Пятого мая к нам приехали от редакции «Крестьянской газеты» и прокурор. Сельсовет созвал общегражданское собрание. Покуда собирались, наш делегат, ездивший на праздник в город, рассказывал о том, что он там видел и как его катали на автомобиле. Он рассказывает, а делегатка, ездившая вместе с ним, подтверждает:

— Я взглянула на него, а он обеими руками держит голову. Думала, что он шапку держит, спросила, а он мне ответил: «Какую шапку — голову! Того и гляди, она слетит».

А делегат поясняет:

— Ну, я боялся, уж шибко скоро нас мчали!

Редактор «Крестьянской газеты» сделал доклад о работе газеты, заметил, что от нас не поступало ни одной заметки в газету, и предложил выбрать корреспондента.

Долго шумели, не знали кого и выбирать. Говорили:

— Мы малограмотны, не сумеем.

Но все же кого-то выбрали.

Потом редактор и прокурор спрашивают:

— Нет ли каких ненормальностей в работе сельсовета и председателя? Нет ли жалоб на кого?

Особенного ничего заявлено не было мужиками. С тем гости и уехали.

Надо сказать, что были среди мужиков и такие, которым советская власть была, точно кость в горле. Всякими способами они нам вредили и старались охаять все, что мы делали.

НА ФАБРИКЕ ИМЕНИ КУТУЗОВА В СЕЛЕ АРАМИЛЕ

Вечером 8 мая мы уехали на партконференцию. Райком созвал ее на фабрике, чтобы рабочие могли участвовать на ней без отрыва от производства.

Мне очень интересно было посмотреть на теперешнюю фабрику, ведь когда-то я бывала на ней. Помню, хотя это было очень давно, один такой случай: около крыльца стояла заложенная с самого раннего утра лошадь; около девяти часов вышел из парадного хозяин фабрики и, покуда он садился в коробок, чуть ли не всех, кто попал ему на глаза, обругал, а кучеру надавал по шее. Когда он выходил, все бросились бежать врассыпную, кто куда, а кто не успел убежать, замерли на месте и смотрели на хозяина со страхом. Я убежала в нижние двери и выглядывала оттуда из-за косяка.

Меня интересовало: что же теперь на фабрике? Первое, что я увидела издалека, был красный флаг, развевающийся по ветру, и красные полосы плакатов по фасаду. Люди суетливо перебегают по двору, без всякой опаски, не оглядываются, ни от кого не прячутся. Я посмотрела на те двери, за которые я пряталась от хозяина, и припомнила старое время. Вот и тот столб, у которого стояла лошадь. Нас повели вверх по лестнице в те двери, из которых выходил когда-то хозяин. В хозяйских комнатах я никогда не бывала. В одной из них

сохранилось хозяйское наследство — большое трюмо. Теперь здесь красный уголок и библиотека; в других комнатах помещаются ячейка, местком; в комнате ячейки мягкая мебель, паркет.

В клубе, как и полагается, сцена с декорациями, большой зрительный зал, украшенный лозунгами и плакатами. К конференции райком собрал в клубе стенгазеты со всего района, между ними была и наша, последний номер.

После вечернего заседания одна из работниц увела меня к себе ночевать в общежитие при фабрике. Общежитие соединялось с фабрикой коридором, это облегчало переход на фабрику в зимнее время. И подумалось мне: «Вот ведь как теперь все усмотрено. А прежде?»

На второй день нам показали фабричный детский сад. Мы пришли, когда шла кройка ребятам рубашек и платьиц. Общая столовая была внизу. В столовой введено самообслуживание, а со столов убирала уборщица. Обед для рабочих был хороший, из трех блюд.

При клубе был рабочий драмкружок, который для нас поставил спектакль; имелась и духовая музыка.

Пока я была на конференции, в Косулине устроили слет молодежи. Из района прибыли шефы. Собралась и вся наша молодежь с комсомолом и пионерами, были и девушки; набралось всех около ста пятнадцати человек. Сначала провели объединенное собрание, а потом затеяли разные игры. В центре села у нас была большая и ровная площадь, вот на ней производились все игры. Давно я посматривала на эту площадь и думала: «Вот бы здесь разбить общественный сад с летним клубом — хорошее место для разных игр молодежи, да и старики отдыхали бы здесь. А так ведь выйти некуда, как только в избу-читальню. Но кому охота летом сидеть в четырех стенах?!»

Стали к нам часто приезжать из города разные организации. Приехала «Синяя блуза», ее нужно было принять и пре-

доставить ей для спектакля удобное и оборудованное помещение. А где такое место? Опять в школу!

После «Синей блузы» приехала школа 2-й ступени — около двухсот человек — ставить спектакль и заняться с нашей молодежью. Опять вышла заминка с помещением.

На одном из собраний комсомола я выложила, наконец, свою мысль об устройстве общественного сада.

Ребята радостно подхватили мою мысль и постановили обратиться с просьбой в партийную ячейку. Вопрос этот прошел через сельсовет. Общество решило, не откладывая дела в долгий ящик, заняться сейчас же подготовкой. Лесничество дало триста жердей для изгороди. Отрядили двух человек к районному агроному, который обещал составить план сада. И дело пошло.

Явился к нам однажды из лагеря отряд пионеров. Ребята пришли ко мне — просят работы. А какую я могу им дать работу? Я сообщила о них председателю сельсовета. Он подобрал из ребят пять человек постарше и послал их в поле, а большинство осталось с вожатыми.

Я вспомнила, что у моей хозяйки много навоза в конюшне. Говорю:

— Ребята! У меня есть работа, но она вам будет тяжела и неприятна.

Вожатый отвечает:

— Мы приехали не гулять, а работать. Где работа? Какая?

Я говорю:

— Нужно оказать помощь матери красноармейца, бедной старушке.

Ребята все в голос:

— Идем! Матери красноармейца надо помочь!

Ребята пустились бегом. Нашли у соседей лопаты, тачки и начали работать. Хозяйки в то время дома не было, приходит она — испугалась:

— Ай, что они делают?.. Чем я буду им платить?

Мне пришлось ей объяснить, что ребята за работу ничего не возьмут. Восемнадцать квадратных сажен навоза толщиной в восемь вершков ребята выбросили и свезли в огород.

Хозяйка вытащила во двор стол, принесла простокваши, молока, усадила ребят, и они прекрасно пообедали.

Я дала им справку об их работе для предъявления руководителям лагеря.

В ТАШКИНОВЕ

В октябре меня по распоряжению окроно неожиданно сняли с работы в Косулине.

Когда я спросила, почему так сделано, мне ответили:

— Ты там работу направила, теперь в другое место поезжай.

Мне очень не хотелось отрывать от Косулина. Привыкла я там и к работе и к людям.

Прихожу в окроно, меня спрашивают:

— Куда ты хочешь поехать?

Я отвечаю:

— На готовую работу я не поеду. Дайте мне такую деревню, где никакой работы еще не велось.

А заведующий этому и рад. Предлагает мне Таватуй и Михайловск. В Таватуй я бы поехала, но боюсь воды, там надо через озеро ездить, а я не могу. Решила ехать в Михайловский район. Мне написали путевку.

Михайловский райком направил меня на должность избачки в деревню Ташкиново за тридцать пять верст от Михайловска.

Деревня эта — самый глухой угол в районе. Населена она почти сплошь сектантами. Одним словом, старая, дореволюционная деревня.

С первых же дней там началась против меня агитация. Сторожиха читальни говорила женщинам: «Она приехала наших баб сбивать, не ходите к ней. Кому она нужна, этакое старье! Сидела бы на печи, а то еще в библиотеку лезет — молодых сживает».

Меня удивляет — был здесь избач, а работы не видно никакой. Даже дел никаких не заведено. Имеются две какие-то тетрадошки, в которых ничего не разберешь.

Познакомилась с председателем сельсовета, он же и секретарь ячейки.

— Холодно у нас в читальне, — жалуюсь я ему, — можно простудиться. Нельзя ли как обогреть, зимой ведь будет еще холоднее. Да и огня нет, а ведь читальня работает главным образом по вечерам!..

— Печь топить, — отвечает председатель, — нельзя — дымит, а железной печки нет. Перебейтесь уж как-нибудь. А лампа у нас есть, лампу дадим.

Председатель распорядился дать керосину из запасов сельсовета. Председатель — ничего, человек хороший, а вот сторожиха проходу мне не дает.

Было собрание партячейки. После собрания я хотела было поработать, а сторожиха убрала лампу.

— Это, — говорит, — сельсоветская лампа, и тебе не полагается!

Приезжал из райкома инспектор и такую «рысь» на меня нагнал, что просто ужас! Будто я ничего не делаю, никакой работы не веду, и даже в книге посещений написал, что работа моя никуда не годится. Что же это такое? Ведь я здесь всего только восьмой день!

Сколько хватило сил и умения — провели октябрьский праздник. Один из партийцев сделал доклад о том, как произошла Октябрьская революция и что она дала крестьянам.

После доклада демонстрировали туманные картины, поставили инсценировку «Суд над рабочим Потехиным, нанес-

шим побои своей жене». Присутствовало больше двухсот человек, из них половина женщин. После инсценировки — представления. Сначала женщины смущались и молчали, но после того, как заговорили мужчины, стали выступать и крестьянки.

На вопрос — довольны ли судом, достаточно ли осужден виновный? — женщины ответили, что мало, а мужчины, наоборот, говорили, что обвиняемого надо было совсем оправдать.

В конце вечера молодежь устроила разные игры, и публика долго не расходилась.

Наконец-то вспомнили и о нас: из Михайловского рика я получила для избы-читальни железную печку, десять фунтов керосину, бумаги, тетрадь, карандаш и конвертов. А ведь еще нужны: книжный шкаф, ящик для абонентов, полочка для книжной выставки, табуретки, скамьи, висячая лампа.

Избрали заведующего клубом и руководителя сельскохозяйственного кружка. Открыли школу по ликвидации неграмотности. Записалось тридцать три человека. Организовали ячейку ОДН.* Кроме сельскохозяйственного кружка организовали кооперативный, политграмоты, советского строительства, естественно-научный, производственный, военно-спортивный, медицинский.

В военно-спортивный кружок записалось двадцать четыре человека молодежи, и сразу после собрания кружок провел первое занятие — «шаг в ногу». Прошли далеко за деревню и вернулись с песнями. Жители смотрели в окна, выходили на улицу, дивились:

— А вот, поди ты, идут, как один!

— Так-то лучше, по крайней мере не ходят пьяными, не хулиганят!

Но какое же здесь пьянство! Все у них какие-то праздники, и то в одной, то в другой деревне без конца пьют. Недавно вечером какой-то пьяница наехал на изгородь, лошадь уда-

* Общество «Долой неграмотность».

рилась головой, а сам он вылетел из саней и долго тащился на вожжах, потеряв шапку. Хорошо, что наши крестьяне остановили лошадь, ввалили пьяного хозяина в санки и направили лошадь по дороге. А куда — никто не знает.

А бабы-то как пьют, как «гуляют», — смотреть стыдно! Стала беседовать с мужиками о пьянстве, сколько приносит оно убытка в хозяйстве. Я взяла среднюю цифру издержек на праздник рождества, и цифра оказалась огромная — более двух тысяч рублей.

Говорю им:

— Вот ведь где трактор!.. И это только наше общество в сто сорок восемь домов, а ведь и другие деревни то же самое делают!

Мужики говорят:

— Сознаем все это, да погулять охота. Лето придет, некогда гулять будет. Да, впрочем, и самогон нам обходится дешево — заварим пуд муки, и выйдет шестнадцать бутылок!

РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ

Открылась запись в члены кооператива. Никто не идет. «Мы, — говорят, — и без кооперации проживем. Была у нас кооперация, вложили мы по пять рублей, а работнички все пропили да дома себе понастроили, а кооператив лопнул». Как жаль, хорошее было дело, а не сумели вести. Председатель — хороший человек, да слишком доверчив: никто ему здесь не помог, Свердловск далеко, а местная ячейка спит.

Провели беседу в память нашего уральского писателя Мамина-Сибиряка. Предложили собеседникам, у кого есть книжки Мамина-Сибиряка, принести их в избу-читальню, чтобы отсюда все могли их брать и читать.

Ездил в Свердловск на комиссию. Признали меня нетрудоспособной, инвалидом труда. Что же теперь делать? Рабо-

та только начинает разворачиваться, а приходится кончать! Эх, жаль! Если брошу, то опять все застынет. Нет, будь что будет, поработаю еще до лета.

Узнала, что у моей квартирной хозяйки будет «супрядка», и решила использовать ее для начала работы с женщинами. Договорилась с хозяйкой и накануне «супрядки» развесила в ее комнате плакаты, новую стенгазету, принесла книжечку «Бабий выигрыш». Когда женщины собрались, я спросила, не желают ли они послушать книжечку. Все охотно согласились, посадили меня в середину и внимательно слушали. Книжечка понравилась, пошли суждения и про своих мужей. Все признали, что и на советскую и на общественную работу нужно проводить женщин, чтобы везде был их глаз. Если бы в нашей кооперации был женский глаз, может, она бы не лопнула. И в совет надо бабу послать, а то нам никогда не выбраться из-под мужнина кулака!

Незаметно для них я натолкнула их на мысль о создании женотдела. Побойчее женщины сказали:

— Давайте делайте бабье собрание, мы все придем.

Чтобы еще больше задеть за живое, я предложила им прочитать книжечку «Права крестьянки и памятка матери» — приложение к «Крестьянской газете». Книжку прослушали, и опять пошло толкование.

— Вот нынче закон какой — и баб оберегает! А мы-то ничего не знаем!

— Получают ли ваши мужья газету? — спрашиваю я.

— Да, получают.

— Читали ли вам ваши мужья что-нибудь из книжечки или газеты?

— Нет, — отвечают бабы, — не читают и не показывают. Наверное, давно уж на цыгарки изорвали.

Когда же я прочитала закон о браке, о разводе, о семье, о защите прав матери и ребенка, о правах крестьянки на землю, о помощи женщинам, женщины окончательно разволновались.

— Учиться надо, — сказала я и указала им на школу ликвидации неграмотности.

— Нет у нас времени учиться, — отвечают женщины. — Надо прясть, по дому работать, по хозяйству.

Тогда я показала им плакат «Машинная обработка в сельском хозяйстве»; разъяснила, что при машине больше свободного времени. Опять столкнулись с безграмотностью, сравнили значение в хозяйстве женщины грамотной и неграмотной.

— Правильно! Если бы мы знали грамоту не хуже мужиков, везде были бы сами. А то нам никто ничего не разъяснит, ничего не скажет, вот и живем по-старинке.

Много говорили, обсуждали, делились мнениями. Все остались очень довольны. Спрашивали, когда можно приходить посоветоваться со мной. Пользуясь таким настроением, я предложила записаться в ячейку ОДН. Записались пять женщин и тут же внесли членские взносы. Смотря на женщин, я и сама как будто оживилась и забыла о своей болезни.

Понемногу начинаю выполнять свой план. Сегодня было организационное собрание естественно-научного кружка. В нем записано двенадцать человек, все больше бедняки. Определили цели и задачи кружка, постановили еженедельно проводить беседы. Руководителем выбрали учительницу. Не знаю только, как пойдет работа. Довольна я, что до весенних работ еще успеем кое-что сделать.

Школьники первой группы пришли с экскурсией в библиотеку. Малыши ведь, а каждый со своей тетрадкой, каждый задает вопросы, и все это серьезно, деловито. Меня они так взволновали, что я чуть не расплакалась.

Вот какое пришло время! Такой малыш, а уже идет и требует, чтобы ему дали то, что нужно. Мне вспомнилось мое детство и как я училась грамоте. Нас-то в детстве ничему не учили, хуже того — били, когда увидят в руках книжку. Не вздумай, бывало, задать вопроса — тебе так «зададут», что долго будешь чесаться. А мне, несчастной, только и было ученья, что сидеть да качать ребенка.

АПТЕЧКА

Не было ни гроша, да вдруг алтын! Приехали из Свердловска сразу двое: один — председатель окрполитпросвета, инспектор изб-читален, а другой — инспектор от окрвоенкомата.

Инспектор окрполитпросвета задал мне несколько вопросов, а на мои дела и не взглянул, как я ему их ни подкладывала, — торопился к учительнице Б. Никаких указаний не дал, не объяснил, что правильно или неправильно, а в ревизионной книге сделал заключение, что моя работа никуда не годится. Почему? Где недостатки? Как их исправить? Неизвестно. Ах вы, бабники, бабники! Ездят, только славу делают, что работают, а на самом деле только зря деньги тратят! Вот военный инструктор умнее — сходил к учительнице, попил чайку, а потом пришел в избу-читальню и потребовал на просмотр дела военного кружка.

Из района приехал агроном Соколов. Попросила его устроить в избе-читальне вечер вопросов и ответов. Народу собралось много, агронома засыпали вопросами. Словом, вечер прошел очень хорошо.

На призыв избы-читальни собрать деньги на выписку аптечки первыми подписались работники местного лесничества. Подписка, хотя медленно, проходила и среди крестьян. Когда набрали около тридцати рублей, я, посоветовавшись с председателем сельсовета, решила не ждать и выписать аптечку сейчас же, а подписку продолжать.

Наконец долгожданная аптечка пришла. В это время в сельсовете было около двадцати мужиков. Был почтовый день, и они ждали писем. Почтальон всегда, как только приедет, поставит лошадь на корм, потом идет в сельсовет для сдачи привезенного. Когда почтальон показался на улице с ящиком, все вдруг засуетились, обрадованно закричали:

— Ой, аптечка, аптечка!

Кто кричит «ура», кто аплодирует, а кто уже побежал встречать. Вырвали из рук почтальона ящик и бегут с ним в помещение. Вот ящик уже на столе. Кричат:

— Раскупорить надо, раскупорить!

— Чем?

Под руками ничего подходящего не оказалось.

Я кричу:

— Сначала надо заплатить за нее, тогда и откроем ящик!

Но куда тут! Появился толстый нож, и крышка с треском слетела на стол. С шумом вылетела упаковка. Все сосредоточились, смотрят, ждут, а я стою в страхе — вот что-нибудь сломают:

— Да тише, товарищи, ломаете!

Оказалось, что в ящике — второй ящик.

Вот и второй вынут. Крышка открыта, и на столе один за другим становятся в ряды флаконы, баночки, свертки, коробки.

Присутствующие так увлеклись разборкой, что забыли о своих делах, кто за чем пришел. А почтальон сидит с улыбкой и любит.

Известие о прибытии аптечки полетело по деревне из избы в избу.

Начались разговоры:

— Теперь незачем ездить за тридцать пять верст, у нас теперь дома своя лекарка!

— Вот посмотрим, как она будет нас лечить.

В ожидании аптечки я приготовила журнал для записи больных и отпуска медикаментов.

Послала письмо районному врачу и просила помощи и указаний в работе, но ответа все нет. Составила план санпросвещения, но все осталось в проекте. Я серьезно заболела.

Первого мая устроили в школе литературное утро. Ребята выступили с докладом о значении Первого мая. Потом был детский спектакль, декламация. Родители сидели и лю-

бовались на своих ребят. После спектакля было угощение: раздавали детям семечки, орехи и конфеты, а председатель сельсовета приветствовал их речью. Потом выступал военно-спортивный кружок да так ловко, что все залюбовались. Меня по болезни на празднике не было, но мне передавали, как крестьяне говорили между собой:

— Это избачиха все выдумала, без нее ничего бы не было!

Вечером комсомольцы проводили комсомольскую пасху.

Зажгли бумажные фонари и прошлись по улицам с песнями. Очень было красиво и радостно.

При подготовке к Первому мая я так сильно простудилась, что двух слов не могла сказать без кашля, сил совершенно не стало. Послала я заявление об отказе от работы и получила распоряжение сдать дела. Жалко оставлять работу — так хорошо пошла, но что поделаешь — не в силах больше.

НА ПЕНСИИ

В первый месяц по выходе на пенсию я еще не понимала, что от всего отшиблась; я чувствовала себя больной, и мне представлялось, что я в отпуске, на отдыхе. Но второй месяц показал всю тяжесть нового положения. Деньги вышли. Жить негде. Пришлось перебиваться у знакомых — где день, где ночь. Тут я почувствовала, что оторвалась от жизни. Мне казалось, что я куда-то провалилась, потеряла самое себя, что около меня нет никого живого. Перед моими глазами проходили картины прошлого — моя работа, радости и огорчения, но скоро и они стали затухать, исчезать, и я погружалась в какую-то пустоту. Я сравнивала себя с человеком за бортом и чувствовала, что мой жизненный корабль ушел от меня в вечность. Минутами я была близка к умопомешательству.

В такой тоске я писала в Ташкиново, чтобы узнать, как там идет работа, что случилось с моими начинаниями. В письмах, которые я получила в ответ, с горечью рассказывали о том, что работа избы-читальни заглохла, так как мой заместитель оказался человеком, мало пригодным к делу. Эти известия усугубили мою печаль. В конце концов я решила все бросить и уехать к Андрею в Староуткинский завод, где он в это время работал. Прожила я там с конца 1926 года до середины 1928 года. Привыкнув к постоянной работе, я очень тяготилась ничемным однообразием домашней обстановки. Долго так продолжаться не могло. Терпение мое лопнуло, и я написала одному товарищу в город, чтобы выслали мне денег на дорогу.

В Свердловске меня ждала неожиданная большая радость.

24 ноября 1928 года я получила приглашение на беспартийную женскую конференцию, созванную городским советом. На конференции в числе других дел в порядке дня стоял вопрос о чествовании героев труда. Вдруг слышу — называют мою фамилию. И сейчас же за этим раздался гром аплодисментов. Я растерялась и не знала, что делать.

— Иди на сцену! На сцену иди! — кричали мне соседи.

Не помню, как я прошла через зал, как поднялась на сцену. Увидев меня на сцене, публика стала хлопать еще сильнее.

Когда подали почетную грамоту, она в руках моих тряслась. Смотрю на нее, а буквы прыгают по бумаге, не могу уложить их в слова. Сердце переполнилось радостью и в то же время жалостью. Радостно было, что дорогая мне советская власть не забыла моей многолетней тяжелой работы и отметила ее своим вниманием, хотя я уже вышла из строя. Так радостно мне это было, что если бы советская власть была одним человеком, я, не задумываясь, обняла бы этого человека и сказала: «Дорогой ты мой, спасибо тебе, что не забыл меня, старуху. Все ты увидел, все оценил, будь здоров вовек, на благо всех трудящихся!»

И грустно мне было, что рано я родилась, много убила сил попустому, мало успела сделать, и вот теперь, когда кругом кипит работа по социалистической стройке, я уже инвалид труда, больная женщина. Эх, родиться бы мне лет на двадцать позже, как бы еще поработала!

Вот эта грамота, с которой я теперь никогда не расстаюсь:

«Дорогой товарищ!

В день празднования десятилетия со времени первого съезда работниц и крестьянок окружной отдел работниц и президиум городского совета отмечают вашу упорную и постоянную работу в борьбе за укрепление октябрьских завоеваний, за укрепление быта и раскрепощение работниц и крестьянок.

В период гражданской войны вы неуклонно работали над укреплением тыла и оказанием помощи борцам фронта. В трудных условиях разрухи и голода вы участвовали в организации детских яслей, садов, общественных столовых, работали над созданием единой трудовой школы по борьбе с эпидемиями, беспризорностью, темнотой и невежеством. Добросовестным выполнением своих обязанностей и деятельным участием в общественной жизни под руководством коммунистической партии вы были в передовых рядах рабочего класса.

Впереди нам предстоят огромные задачи и трудности роста социалистического строительства, преодолеть их возможно только при активном участии миллионов работниц и крестьянок. Успешное осуществление задач нашего строительства немыслимо без культурного подъема масс, без культурной революции. Необходимо преодолеть наследие прошлого — безграмотность, пьянство, беспризорность, религиозные предрассудки и еще неизжитые уродливости семейного быта.

Через советы улучшайте быт работниц и крестьянок, поднимайте их культурный уровень, укрепляйте обороноспособность Советского союза.

Окружной отдел работниц и президиум горсовета честуют в вашем лице одну из представительниц тысяч женщин-общественниц, выкованных Октябрьской революцией, хотят видеть вас и дальше бодро и неутомимо работающей над укреплением завоеваний Октября!

ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК.

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА».

24/XI 1928 года.

В ЖАКТЕ ИМЕНИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

На первом заседании нового правления жакта были распределены обязанности. Руководство культурно-бытовой комиссией поручили одному члену правления. Работу с женщинами возложили на другого члена правления — женщину. Но работу они не двинули. Когда на одном из заседаний правления запросили отчет, уполномоченная по работе среди женщин категорически заявила:

— Я не работала и не буду!

— Почему?

Никакой причины она не указала.

Культкомиссия также не пошевелила ни одним пальцем, отговариваясь отпусками и пр. А правление с головой зарылось в «дела». Сидят целыми днями и шелестят бумагою, как мыши. Временами появляется рука, чикнет на счетах и опять спрячется. А лица человеческого не видно.

Настроение у меня сразу переменялось: опять я на работе, опять я кому-то нужна. А главное — опять весна, солнце. Стою я как-то у окна, люблюсь солнечным закатом, слышу, ко мне в комнату вошли. Оборачиваюсь, оказывается, это одна из работниц нашего правления — молодая женщина. Здороваясь со мной, она спросила, на кого я смотрю в окно.

— Да вот люблюсь на весну, как она борется с зимой, и сравниваю с ней наши молодые годы.

— А я сейчас шла, тоже интересно было смотреть: на улице грязно, шли подростки — девушка и мальчик, лет по шестнадцати, она в ботинках, а мальчик в валенках. Им нужно было перейти дорогу. И вот девушка посадила мальчика себе на загривок и потащила его через грязь. Он ухватил ее за шею и повис на ней, ноги загнул назад. Так было комично, люди шли и невольно улыбались. Я посмотрела них и думаю: «Наверное, у мальчика ничего нет кроме валенок». Как у нас еще много недостатков! Когда мы с ними справимся? Взять хотя бы наши жактовские детплощадки!

Подошла весна, пора их открывать, а чего только ни хватишься, того и нет. Правда, столы, скамейки мы взяли у родителей, сад и кухню дает жакт, но ведь надо начинать дело с деньгами, а их нет, и не знаю, где их взять. Вот и пришла посоветоваться с вами. Горсовет предлагает заняться сбором утильсырья, но ведь одной мне ничего не сделать, нужны люди.

— А ты созови партийную ячейку, там это дело и обсудим! — посоветовала я.

Через день на собрании ячейки избрали финкомиссию, которой поручили изыскать нужные средства.

Комиссия составила из трех человек, в том числе и меня. Мы уговорились сейчас же взяться за сбор утиля, сносить его во дворах в одну кучу, а потом подыскать лошадь, собрать все кучи, свезти их и сдать.

Участницы собрания сообщили это решение своим соседям по квартире, началась небывалая чистка. Обыскали кла-

довки, чуланы, перерыли старое барахло; таким образом, мы заодно помогли хозяйкам избавиться от ненужного хлама, за это они нам были только благодарны.

Рядом с правлением была пустая комната. На это время мы ее заняли, возимся в ней: разбираем утиль, сортируем, моем посуду, бутылки, флаконы. Два дня мы работали так, не покладая рук. Потом выпросили у одного из членов жакта лошадь, свезли утиль и получили тридцать восемь рублей с копейками. Женщины были в восторге.

— Можно теперь и площадку открывать!

— Товарищи! — говорю я. — Надо еще сад вычистить, песку для ребят привезти, найти заведующую, воспитателей и техничек.

— Сад вычистим завтра. Все придем чистить!

— Заведующей будешь ты, а других сама найдешь.

И вот через несколько дней зашумел наш сад, не от вихря, не от бури, а от звонких детских голосов, от новой детской песенки:

Мы ребята-бята-бята...

Наклоняя ветви, удивленно прислушиваются деревья к необычайному шуму. Многие им пришлось слышать долгую жизнь: слышали они стоны и плач крепостных рабов под свистящими прутьями; слышали молитвы людей, просящих у бога смерти как избавления от тяжелой изнурительной жизни и притеснений; слышали пересуды хозяйшечек, сидящих около шипящего самовара, за столом, уставленным сладостями, и жалобу нищего ребенка, который, глотая голодную слюну, тщетно просил милостыню; слышали они, как весенним вечером шептались влюбленные, мечтая о своем будущем счастье; да мало ли что слышали эти старые липы? Но того, что творилось сейчас под их зеленым шатром, ни разу еще не слышали они за всю свою долгую жизнь! Ну как же им не удивляться?!

А дети звенят с утра и до вечера, оглашая воздух звонкими голосами, радостно пурхаются, как воробьи в свеженасыпанном песочке, бегают друг за другом, спотыкаются слабыми ножками, падают, плачут, чтобы через минуту опять засмеяться. И поют:

Весна, весна,
Деткам радость принесла!

Площадка ежедневно требовала все новых и новых средств, а доходы ниоткуда не поступали. Правление денег не давало, хотя и обещало это делать, родители неаккуратно платили свои взносы. А персонал нужно было чем-то оплачивать. Мне как предфинкомиссии пришлось над этим серьезно задуматься. Решили мы устроить лотерею, но так, чтобы она ни копейки нам не стоила... Поручили двум активистам произвести среди членов жакта сбор вещей для лотереи. Большинство встретило нашу идею сочувственно. Лотерея прошла шумно и весело и принесла нам хороший доход.

Понемногу я снова втянулась в работу. Это меня оживило, подняло силы. Я снова почувствовала жизнь. Я знала, что эта работа мне лично ничего не даст, попрежнему я сидела на пенсии и жила в холодной комнате, но общественная работа меня так захватила, что я не замечала своих личных невзгод, а только видела, что снова живу! Я — нужна! Весь день я проводила в ячейке или бегала по городу, а ночью строила планы, как и что делать завтра. И так этим иногда увлекалась, что никак не могла заснуть. Чтобы отвлечь себя от мыслей, я возьму, бывало, книгу «Популярная астрономия» и лягу в постель, открою окно комнаты и изучаю звездное небо, сравнивая описанное в книге с тем, что я вижу на небе. Так с книгой и засну.

Были у меня и другие занятия. Один знакомый краевед предложил мне записать по памяти известные мне народные песни, сказки, пословицы. Я этим делом занималась

по ночам — вспоминала и тут же, лежа в постели, записывала, а утром переписывала свои заметки начисто.

Работа моя в жакте не пропала даром. Вскоре около меня образовался немалый женский актив. Мы стали устраивать собрания: летом — в саду, а когда начались холода, — в большой комнате рядом с правлением. Соберемся там, читаем, обсуждаем наши дела. А так как женщины не умеют говорить поодиночке, то всегда в комнате стоял шум, крик и смех. Правление, хотя и помещалось рядом, не обращало на нас никакого внимания, никто из правленцев не заходил поинтересоваться, из-за чего мы тут шумим.

Наши собрания были чем-то вроде «кружка самообразования». Мы разделились на группы. Всех групп я наметила десять — по разным вопросам. Вскоре о наших собраниях стало известно даже в жилсоюзе, и меня заочно выбрали руководителем культкомиссии; кроме того мне поручили вести работу среди женщин по жакту.

Таким образом, я оказалась жактовским женорганизатором. Я с удовольствием взялась за это поручение. Провела двух своих активисток в члены правления жакта, мобилизовала несколько человек для бесед с женщинами, наметила целый ряд других мероприятий, которые, однако, не успела осуществить, так как со мной неожиданно приключилось несчастье.

Враги увидели, что женщины зашевелились. Им это не понравилось, и они решили меня уничтожить.

Вечером 22 октября 1929 года я шла по темному переулку на собрание. Улица безлюдная, без освещения, дома стоят черные, как скалы, с трудом их отличишь друг от друга. Иду и посматриваю на крыши, чтобы не пропустить тот дом, где назначено собрание. Подошла, взялась за скобку. Закрыто. Стою и думаю: а где же вход? В это время на крыльцо быстро вбегает мужчина, хорошо одетый, с портфелем. Я спустилась со ступенек и пошла во двор, думая, нет ли там другого входа. И вдруг как будто куда-то провалилась...

Очувствовалась. Стою около амбулатории и понять не могу — почему я здесь и почему такая слабая, разбитая. Вижу автобус, хотела сесть в него, но раздумала: «Нет, пойду пешей, на автобусе меня хуже растрясет». Автобус ушел. Я тихонько поплелась, только перешла дорогу, вижу, мне навстречу идет знакомая, бывшая воспитательница детского дома, с которой мы вместе когда-то служили. Она, как только меня узнала, испуганным голосом спросила:

— Что это с вами?

— Не знаю, что-то заболела.

— Как заболела! Да вы кругом обвязаны марлей, что с вами? Побил вас кто, что ли?

Я хотела пощупать голову — рука не поднимается, оказалось, что и левая нога идет плохо.

Женщина взяла меня под руку и повела домой, помогла мне раздеться и ушла за врачом. Врач осмотрел руку и ноги.

Платок, который был на голове, оказался весь в крови.

— Вас кто-то ударил сзади, рука и нога отбиты.

На другой день пришли товарищи навестить меня. Они рассказали, что нашли меня, лежащую без сознания, на тротуаре и отправили со скорой помощью в амбулаторию; там раны на голове зашили, забинтовали, но почему отпустили меня одну в таком состоянии — непонятно. Повидимому, кто-то напал на меня сзади во дворе, ударил по голове и выбросил на улицу, где меня и нашли товарищи.

Я пролежала до половины января, а когда стала немного двигаться по комнате, написала о происшедшем в стенгазету.

«За новый быт

Ответ на запрос

Кто бы вы ни были, вы сделали запрос мне ударом, я отвечаю словом в стенной газете и не в одной. Вы хотели взять мою жизнь — я своей жизнью не дорожу. Она принадлежит не мне, а моей партии и революции, но добавляю: не думай-

те, что меня не будет — и только. Нет, не только! Я не одна, не будет меня — на мое место встанут сто женщин. Может, и больше. Вы хотели напугать других, но не напугаете. Я ожила и не боюсь вас. Если я несла общественную работу, то теперь еще больше усилю эту работу, насколько моих сил хватит — буду работать. Я вас не искала и не ищу, вы сами придете на свое место, которое заслужили. Но одно скажу: смешно, что у старухи вздумали жизнь отбирать, она и так немного проживет. Уж как смешно! Ведь не старик же напал, ясно, что молодой, а сзади напал, на старуху, видно совесть нечиста и трус! Я оставлю после себя не одну, не две верных революции женщины, а, может быть, сотни и еще столько же названных мною сыновей — все коммунисты! Да здравствует партия коммунистов! Долой всех оппозиционеров, и всю их компанию вместе с попами — долой!»

Культработа в мое отсутствие остановилась, никто не нашелся, чтобы ее продолжить. В январе 1930 года жилсоюз затребовал отчет о массовой работе и об организации ячейки ОДН. Правление хватилось, но никаких материалов по массовой работе не было. Назначили собрание, мне не сообщили, так как знали, что я больна.

Я не утерпела и потащилась с больной ногой и с обвязанной головой на собрание. С этого дня я опять взялась за работу, хотя ежедневно приходилось посещать, несмотря на болезнь, правление; очень трудно мне было, но все же отчет за 1929 год был своевременно мною представлен.

ЗАКРУТИЛОСЬ

Прошедшая осень встряхнула женский муравейник, разворошила его, встревожила глубоко, до нутра. Не сидится теперь женщинам по-старому дома с ребятишками.

Стекаются женщины из разных углов жакта, как ручьи в озеро. Жужжат: ж-ж-ж-ж-е-а-хи-и-ха-а-а-а! Не разберешь — не то смех, не то спор.

— Так как же, товарищи, надо нам кружок кройки и шитья? — стуча по столу линейкой, спросила председательствующая женщина.

— Надо, надо! — кричат женщины.

— Хотя научимся ребятишкам рубашонки шить.

— А кто будет нас учить?

— Найдем!

Из группы женщин одна поднимает руку:

— Товарищи, нам всем необходима политграмота, без нее мы, как слепые котята подле стенки, ничего не понимаем.

— Обязательно надо! Будем просить фракцию жилсоюза, чтобы дала нам лектора.

— Разгрузить себя от горшков и корыта — вот что нам надо; столовую, прачечную надо!

— Детскую площадку летом надо открыть, прачечную, надоело мужицкие штаны стирать. Как съездит муж в командировку, так навезет грязи — не отстираешь. Ребятишек много, а тут возись еще со штанами.

— Кому что, а ей штаны надоело стирать! — посмеялись женщины.

— Вот столовую бы надо организовать. Меньше дров пошло бы, и дома заботы меньше.

— А я против коллективной кухни. При наших заработках в столовой семью не прокормишь, а дома чего-нибудь сваришь — и ладно, наедятся.

— Дайте слово.

— Говори.

— Товарищи, я слышу, некоторые высказываются против коллективного питания. А я скажу: сколько бы мы ни держались за старый уклад, все равно сама жизнь заставит применить коллективное питание, а потому надо взяться всем

за это и чем скорее, тем лучше. Я предлагаю избрать комиссию для организации коллективной кухни.

Голоса:

— Правильно!

— Товарищи, намечайте кандидатов в комиссию.

Выбрали мы комиссию и утвердили собранием.

— Товарищи, считаю собрание закр...

— Постой, постой, не закрывай, — замахала руками одна женщина.

Она вскочила на середину комнаты, быстро машет руками, торопливо заговорила:

— Я предлагаю устроить встречу раненых и больных бойцов Дальневосточной особой красной армии. Они едут через наш город. Надо собрать им на подарок.

— Верно!

— Правильно! Давайте соберем!

Собрание зашумело, задвигалось, посыпались на стол деньги.

— Когда понесете подарки, скажите, что это от домохозяек!

— Тогда они совсем замучат тебя штанами! Надо будет открывать отдельную прачечную для мужицких штанов. Ха-ха-ха!

В течение нескольких дней женщины собрали двадцать шесть рублей, купили съестного и табаку, закупили это в ящик и поднесли красноармейцам; те приняли с удовольствием и благодарили за внимание.

Все как будто шло хорошо, но, чем больше жакт расширялся, тем более росла его задолженность по разным видам платежей. Председатель мечется. Правление заседает, ищет выхода, «принимает меры»; в одном углу комнаты отдается распоряжение, а в другом оно застревает.

Уралжилсоюз нажимает на председателей, страшат черной доской, рогожным знаменем, созывает совещания с председателями, культкомиссиями и активом, но дело двигается туго.

В этой суматохе о нас, женщинах, и вовсе забыли.

Мы возмемся в своих ячейках, на детплощадке, проводим женские собрания, требуем от правления выполнения наших постановлений относительно общественного питания, прачечной и пр. Но для всего этого нужны средства, а их-то у правления и нет.

В сентябре состоялось постановление горсовета: «Выселить из жактов нетрудовой элемент».

Вот где началась горячая работа! Для обследования нашего жакта было выделено пять бригад, состоящих из мужчин и женщин. Кроме того у женщин еще своя забота — надо во что бы то ни стало на зиму открыть детский сад и найти для него подходящее помещение. День хлопочут о детсаде, а вечером бригадой женщины работают по выявлению нетрудового элемента.

Приходят, рассказывают, где что было:

— Куда ни придем, везде нас ругают, а иногда просто выгнать грозят, мы все равно делаем свое дело.

— Иной раз вперед уже знаешь, что за жильцы. Придешь к ним, а тебе вытаскивают такие документы, что станешь втупик и думаешь: «Где они их достали?»

— Ходили мы трое. Пришли в один дом, а там, как мы знаем, живет бывшая домовладелица, раньше у них было два дома и кожевенный завод. Предложили ей выехать из квартиры, а одна из нашей бригады стала ее защищать, что капиталистом-де был ее муж, а она-де бедная. Потом пришли к бывшей попадье, а наша сердобольная и попадью защищает: «Куда ее выселишь, зачем в душе ковыряться у каждого».

— Кто же взял такую в бригаду?

— Не знаю. Она только мешает работать. Если обращать внимание на слезы, то никого не выселишь.

Хотя я не ходила с бригадой, но была в курсе всей работы.

Здоровье поправлялось плохо, ноги и голова продолжали меня мучить. Я написала заявление во фракцию жилсоюза

о том, что в виду болезни не могу быть председателем культкомиссии.

Вновь выбранный председатель культкомиссии просмотрел дела и сказал:

— Это что же, здесь засилье женщин!?

— А с кем же вести работу, как не с женщинами?

— Я этого не ожидал.

Больше он и не показывался. Кому охота возиться с «бабами»? После него выбрали еще нескольких председателей, но никто из них не удержался — все сбежали, потому что работы было много, она дробная и к тому же не оплачивается. Так вся работа попрежнему и оставалась на мне, хотя мне было тяжело с ней справляться.

В октябре наша бригада включилась в ударную работу по мобилизации средств внутри жакта. Пришлось обходить квартиры и собирать с жильцов недоимки и пожертвования. Женщины взялись за это дело с большим усердием, работали до двенадцати часов ночи. Задолженность жакта стала понемногу снижаться.

1931 год был расцветом общественной работы в жактах; актив их увеличивался с каждым днем, и работа вихрем крутилась. К лету по одному нашему району создано несколько десятков ударных бригад в триста мужчин и женщин; однако наряду с этим чувствовались неумелость руководства, непонимание этого движения и халатность.

Наш актив работал, что называется, «до седьмого поту», а правление на все требования отделялось одними пустыми обещаниями. Председатель стал показываться все реже и реже, а иногда в нетрезвом виде. Однажды он явился весь забинтованный. Оказывается, у него были гости, пьянствовали, разодрались и ему голову продолбили. Все говорили:

— Вот так председатель, всем пример показывает!

— С таким председателем не на красную, а на черную доску попадем!

Мы изо всех сил бьемся, а в Уралжилсоюзе говорят:

— У вас что-то неладно пошло.

Актив с горечью просит:

— Дайте нам другого председателя, с этим мы никогда не вылезем из долгов.

Председателя вызвали в Уралжилсоюз для объяснений; вместо того чтобы исправиться, он начал мстить активу.

Мы принимали все меры, чтобы поскорее открыть общественную кухню, прачечную и ясли. Помещение для кухни было найдено каменное, вполне соответствующее назначению, нехватало только водопровода. Сделать его было легко — канализация была на той же улице, надо только провести трубы через двор, но сколько бы ни просили об этом правление, оно ничего не делало.

А вот другой пример.

Из Уралжилсоюза получено было предложение послать несколько человек из актива на курсы по подготовке: библиотекаря-красноугольца, двух ликвидаторов неграмотности и пяти дошкольных работников.

Председатель умышленно скрыл от нас это распоряжение и сам сделал выбор, кого куда послать, и при этом нарочно все перепутал: в библиотекари попала женщина, которая не умела читать, а в дошкольных работниках оказались люди, уже окончившие эти курсы. Конечно, все от назначений отказались, дело затянулось, и вакансии на курсы остались неиспользованными.

Несмотря на все это, усилиями актива, почти без помощи правления, 15 мая была открыта первая общественная кухня при нашем жакте.

РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ

В тени деревьев расставлены скамейки. Тут и там виднеются беседки, украшенные цветами и плакатами; каждая беседка приглашала посетителей:

— Добро пожаловать!

В сад стекались люди со всех концов города и стремились к средней беседке, перед которой стояло несколько рядов скамей. На беседке плакат: «Горячий привет конференции жилищной кооперации».

— Тинь-тинь-тинь, — звонко оглашает воздух медный колокольчик.

Скоро скамьи заполнились людьми. В беседке за столом, накрытым красной материей, поместился президиум конференции. Влево, на площадке, играют дети.

Кругом весело и приятно, только бы любоваться, но почему-то на сердце неспокойно. «Отчего бы это?» — думаешь и ищешь причину. Взор невольно падает в угол беседки, где стоит рогожное знамя. И мороз пробегает по коже. Но почему же? Ведь не чорт же стоит, а рогожа, прибитая к черенку, на ней какие-то слова написаны черной краской — и только! Да еще висит на веревочке кисточка из драного мочала, похожая на белильную, на ту, которой белят кухню известью. Чего тут страшного? А почему-то, куда бы взор ни обращался, всякий раз он останавливался на этом знамени.

— Уж не нам ли приготовлено?

Рядом с рогожным стояло красное переходящее знамя. На него также смотрели и думали: «Вот какой-то счастливец, жакт, получит его...»

Вскоре загадка разъяснилась. Президиум объявил, что красное знамя переходит от жакта «Красный Октябрь» к жакту им. Фрунзе.

Публика долго аплодировала, поздравляя новых владельцев знамени. Затем вынесли рогожное знамя и поставили его

так, чтобы всем было видно. Собрание притихло, каждый подумал: «Ой, не нашему ли жакту?»

Председатель конференции объяснил, за что награждается рогожным знаменем такой-то жакт, и вызвал председателя жакта получить знамя. Никто не вышел, сколько ни вызывали. Тогда конференция постановила вручить рогожное знамя правлению жакта по месту его нахождения. На следующее утро собравшиеся подняли красное знамя, захватили рогожное и всей конференцией двинулись по городу: с красным знаменем шли впереди, а рогожное тащили в хвосте. Остановились около дома, где помещался «рогожный» жакт, вызвали все правление и повесили знамя на ворота дома. На председателя жалко было смотреть, так его пришибло позором.

Около ворот столпились любопытные. Кто соболезнует, что жакт проштрафился, а кто смеется:

— Хорош подарочек!

— Несите в красный уголок, зачем на воротах оставлять, еще украдут такую красоту!

ЛИКВИДАЦИЯ

Общественную кухню, как я уже писала, мы все-таки открыли, а вот с прачечной и яслями дело подвигалось плохо — все из-за халатности правления. Помещение для прачечной мы нашли, но правление никак не могло удосужиться закрепить его за нами. Для яслей мы заняли хороший большой деревянный дом; врач из здравотдела осмотрел его и нашел вполне подходящим, но тут мы натолкнулись на другое затруднение — жильцы этого дома никак не соглашались переехать в другое помещение. Дело дошло до суда, где и застряло, так как правление ничего не предприняло, чтобы ускорить решение.

Надумали мы было обзавестись своим домом отдыха. Нашли подходящую дачу недалеко от города. Два дома, один из них двухэтажный, местность красивая, над озером, в котором водится много рыбы. Жилые постройки можно было использовать для наших ребятишек и для взрослых отпускников; в надворных постройках держать скот и птицу; имелся также огород для овощей. Послали делегацию осмотреть дачу. Все пришли в восторг:

— Это клад, а не дача!

— А ребятишкам как будет хорошо!

— Мы, как получим отпуск, так сюда с удочкой, свеженькой ухой позабавимся, — говорили мужчины. — А к ухе и тово... пол-литровочки! Куда как хорошо!

— Ай да бабы, что придумали! Как только вы добьетесь!?

— Добьемся, — уверенно сказали женщины.

Вопрос пошел по инстанциям. На фракции правления я сообщила о желании актива иметь свой дом отдыха и о том, что делегаты уже ездили его смотреть и выбор одобрили. Председатель Уралжилсоюза завистливо спросил:

— А где же эта дача?

Я ответила, что дело не в том, где она, а в том, желательна ли вообще иметь дачу?

— Значит, ты не хочешь сказать, где... — прервал меня председатель союза и стал высказываться против покупки дачи:

— Жакты никаких домов не имеют права покупать, у нас арендное товарищество.

Ему возразили:

— Как не имеют права? Откуда ты это взял? Ты не отворачивай в сторону, тебе стыдно, что бабы вас опередили!

Поднялся спор. Было ясно, что председатель союза хочет перехватить у нас дачу, потому и спорит. В конце концов постановили перенести вопрос на заседание правления. Туда явился весь актив, и, как ни сопротивлялся председатель, собрание все же постановило купить дачу. Сговорились с вла-

дельцем и заключили с ним договор. Оставалось только закрепить договор, заплатить деньги — и дача наша.

Так думали мы, но председатель думал иначе: подписать договор он подписал, но положил его под сукно.

Мы ждали-ждали и начали требовать:

— Почему не доканчиваешь дело? Где договор?

Председатель сперва отмалчивался, а вскоре и совсем скрылся. Культурно-бытовая работа жакта шла в гору, финансовое положение оставалось неудовлетворительным. Ликвидировать задолженность никак не удавалось, как ни старались актив и правление. В это время как раз вышло предписание: крупные жакты разбить на мелкие и передать их в райжилсоюзы. В правлениях пошла подготовка к сдаче дел.

После бегства председателя работа нашего правления совсем остановилась. Нужен был новый председатель. Собрали с этой целью заседание. Актив заявил:

— В председатели надо выбрать женщину!

— Нам надоело слушать, что у нас председатель — пьяница.

— Женщина лучше знает бытовые условия, а остальному научиться.

— Кого же вы предлагаете?

— Борисову.

Борисовой мало пришлось председательствовать. На ее долю выпало только сдавать дела жакта и краснеть за чужие грехи. А потом ликвидировать жакт.

Тридцать первого августа актив собрался в саду. Уселись группой под деревьями. На нас медленно надвигался строгий глаз фотоаппарата. И чей-то суровый голос сказал:

— Спокойно!

А через минуту:

— Готово!

Это была наша последняя встреча.

Так окончил свое существование боевой жакт им. Чернышевского.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

В 1916 году я писала в своем дневнике: «Все люди живут мечтой, каждый своей, а вот мне уже не о чем мечтать!» С течением времени и у меня нашлась мечта. Когда-то я мечтала о всеобщей справедливости. Прошло много лет, и у меня появилась другая мечта: когда же я увижу моих женщин-домохозяйек свободными работницами? И увижу ли?

В моем преклонном возрасте при начале каждого дела я наталкивалась на мысль: успею ли? И вот теперь я вижу, что моя мечта осуществилась. Я сижу в кругу женщин, которых шесть лет тому назад собрала около себя, как говорится, «по маковому зернышку». Вспоминаю теперь и невольно улыбаюсь: какие они были смешные, пришибленные, как робки были их первые шаги в общественной работе! Они были малограмотны или совсем неграмотны. Было время — я боялась за них, как бы они не сбились с пути, как бы домашняя жизнь не отвлекла их от работы, как бы насмешечки над ними, вроде «нечего вам делать, вот вы и шляетесь по собраниям», не повлияли на них дурно! Я грустила, когда они ссорились между собой. Некоторые из них терпели от мужей крупные неприятности, им грозили разводом! Бывало, что и волк забирался в овечье стадо. Я думаю, что женщины не забыли те моменты, когда за критику в нас летели стулья от тех, кого мы критиковали. Много было борьбы и в своей среде; два раза чистили мы свои ряды, численностью они поределли, зато качеством укрепились.

Когда 23 декабря 1933 года на городском слете ударниц я передавала пятнадцать женщин из актива первому райкому ВКП (б), то мне не стыдно было за них.

Время от времени потом я справлялась в райкоме, как работают мои женщины. Мне отвечали: «Спасибо, работают хорошо». С тех пор многих из них уже премировали за активную работу.

Они вспоминают прошлое и смеются над собой, смеются над теми робкими забытыми женщинами, какими были они раньше. Теперь я видела их веселыми и довольными; иные изъявляют желание вступить в партию. Разве для этого не стоило жить и работать?

ЭПИЛОГ

За окном метель. Шуршит по черным стеклам мерзлая крупа, хлещет в рамы и стремительно падает вместе с порывами ветра куда-то вниз в темноту. Тогда внизу, в котловине, обрисовывается неясными контурами Ревдинский завод. Около доменных корпусов огненной лавой искрится и ползет только что выброшенный чугунок, сверкают, играют блики расплавленной массы. В корпусах мечутся дым и пар, но когда порывистый ветер с гор на момент врывается в цех — тогда можно различать около печей черных копошащихся людей.

Я стою у окна, смотрю в глаза бушующей стихии и вспоминаю всю свою жизнь, детство, проведенное здесь, и жизнь людей, с которыми когда-то встречалась или шла вместе...

Нас в комнате много: группа писателей, старые ревдинские рабочие, женщины, о которых ревдяки забыли, живы ли они или же давно умерли, ударники, лучшие люди завода.

Кто-то в углу кашлянул и зашаркал ногами. Ханжина, мать местной учительницы, встрепенулась. Уже дочке около пятидесяти лет, а матери скоро будет сто. Взгляд ее весь в прошлом, и мне кажется, что она нас не замечает. Старушка поправила волосы под платком и, захватив двумя пальцами сухие губы, еле слышно заговорила:

— Ох, господи ты мой, сколь кровушки той разлилось понапрасну!.. А за Демидовым мало ли умирало народу?! Вот на моей памяти чего только здесь не было!.. Как только под-

нялась на ноги, так и замерло мое сердце со страху от одних только рассказов про бунт кучекладов...

Все насторожились и замолкли.

— ...Девчонкой тогда была, ровно восемь лет мне было, что ли, ну не больше, — начала Ханжина, — и вот пришлось мне увидеть самого хозяина...

— Это вы про Демидова?.. — спросил кто-то.

— Ага!.. Ну, значит, была у нас о ту пору свадьба, и на свадьбу сам Демидов пожаловал. Подвели к нему нас, детей... Приказали руку поцеловать, а я, как посмотрела на его золотой мундир — поверите, ног лишилась, язык отнялся и память. Стою и ни с места... Как подступилась к нему — теперь это мне уж не в память!.. Так! Ну, а насчет бунта я много чего перезабыла. Ведь когда ж это было?.. Я тогда только на свет народилась, а ведь прошло с того времени, почитай, шибко много лет...

— Да, бабушка, много прошло времени!.. Уж скоро сто лет будет!..

Ханжина удивленно подняла редкие брови, задумалась, а потом тяжело вздохнула:

— Ох ты-ы, жизнь наша!.. Сколь прожито!.. Какую дороженьку я прошла!

Потом беспокойно осмотрела всех нас и медленно, осторожно начала рассказывать, как бы раскрывая тяжелые двери прожитых лет:

— ...Всяко рассказывают про бунт, и теперь не знаю, кому верить... Знаю только, что когда ночью, после боя, Круглов Александр Данилович...

— Это был главный управляющий!.. — перебил кто-то.

Ханжина продолжала:

— ...Вышел на площадь с фонарем — вся площадь была завалена убитыми... Кто стонет, кто просит: «Приколите нас Христа ради!..» — «Сам издохнешь!..» И вот подошли к одному раненому и спрашивают: «Ну что ж, хорошо бунтовать?..

А если еще будет бунт, пойдешь?..» — «Пойду!» ответил раненый. А надо сказать, что Круглов негодяй большой был: приказал этого раненого отправить на конюшню... Принесли его на конюшню, да там и всыпали ему по первое число!.. Вот ведь как это было!.. Да... Но это еще не конец... Идет Круглов среди убитых, освещают ему фонариком дорогу, опирается на костыль и вдруг... попятился назад...

Чувствую, как по спине моей прошел мороз. Все вытянули лица, насторожились.

— ...Попятился назад да как вскричит: «Люди добрые! Да что это за наважденье?!» Подошли ближе, вышла из-за облаков луна, и все увидели: лежат это рядышком убитые муж и жена.

— Да, женщины тож бунтовали... Камни подавали мужчинам! — вставил мой сосед рабочий.

— ...Лежат это так рядышком муж и жена, а на груди у матери дите ползает и все грудь у нее ищет!.. Грудной ребеночек был... Ну, вот и испугался Александр Данилович.

— А ведь расстрел кучекладов — это его работа была!.. Сволочь такая!.. — возмущенно сказал приземистый, чуть сутулый член завкома.

— ...Велел взять эту девочку, ну и как круглую сироту призрел ее...

— Призрел!.. Нечего сказать — призре-е-ел! — прервал ее кто-то.

— ...Жила она у него, а жизнь хуже собачьей у нее была! Придут к Круглову гости, — она должна была на стол подавать, а гости на Круглова: «Зачем держишь такую гадину, бунтарское отродье?!» Ну, значит, и помыкал ею... Выросла, больно хороша собой стала, надо и о замужестве подумать, а от женихов отбою не стало... А был у нас здесь иконописец такой пьянчуга-а, свет пройди — не встретишь такого!.. В Михайло-архангельской церкви нашей он, знаете, иконостас писал. Ну, Круглов и порешил за него отдать эту де-

вушку... Забыла теперь ее имя... Крутится в памяти, вот-вот на языке, а не знаю!.. Нет памяти уже!.. Вышибло с годами!..

— Ну, это не так важно!.. Что ж было дальше?..

— А что же дальше?! Дальше оно известно, что было... Не любила она его, ужас как!.. Но против воли благодетеля не пойдешь, вышла замуж, думала, лучше будет!.. Бить в скорости ее начал, этот живописец... Нужно что-нибудь попросить ей у него — становись на колени и проси. Забеременела она, а он, несчастный форсун, заставил ее корсет носить, чтобы и виду она не показывала, что забеременела... Бывало, выйдет на улицу, пройдет несколько шагов, да и обомрет... Водой откачивали... Помаялась-помаялась, разрешилась ребенком, а сама богу душу отдала!.. Вот так-то оно!..

Все опустили головы, как будто между нас прошла тень замученной красавицы-женщины, как будто прошли тени расстрелянных кучекладов... Сделалось как-то жутко. Я невольно вздрогнула и, подняв голову, встретила с голубыми, но уже выцветшими глазами высокого седого старика.

— Да разве это первый случай? — сказал он. — Демидов моего родного дядюшку забил до смерти. Провинился как-то он перед ним, а он, Демидов-то, возьми да и напиши своему охотнику записку: «Отдуй, мол, Хромова, плетью». А надо сказать, что тот охотник первейший друг был моего дядюшки. Ну, выпили они, посидели, а потом охотник и говорит моему дядюшке: «Прости меня Христа ради, не могу отказаться!..» Обнялись, поцеловались. Простились, значит... Ну, и простились, конечно, навеки. На завтра дядюшка не выдержал — умер... Потешались над нашим братом-рабочим... А то был у нас такой николаевский солдат, отслужил двадцать пять лет, пришел на завод, а его в шею!.. Пошел по миру. Насбирать-то насбирает милостыню, а куда пойдешь переночевать — негде, никто не пускает. И вот как-то сдружился он с медведем. А медведь на цепи у Демидова сидел. Спал солдат рядом с медведем. Как ночь — он к нему и идет. Уж неизвестно, что там у них вышло, но раз медведь разозлился и разо-

рвал солдата. Что ж вы думаете?.. Медведь делает свое дело, а Демидов стоит и только потешается... Хохоchet... А потом ни суда, ни следствия... Так и прошло...

— Солдат?! Что там солдат — он, говорят, не знаю, правда или нет, своего сына засек на конюшне!.. — вставила пожилая работница. — Последний сын был, и того не пожалел, а то нас будет жалеть?! Мой дедушка вечный был кучеклад... А отец за работой над кучами свету не видел... Однажды поправлял кучу и провалился в нее. Еле вытащили. Весь обгорел, сменил кожу, как у малого ребенка она у него была... Донесли Демидову, а он только и сказал: «Сам виноват!» И хоть бы какое-нибудь пособие!.. Ни копейки!.. Теперь вот только за-боле-й — значит, тебе и бюллетень выдают, доктор бесплатно, а тогда — хоть ты умирай, хоть ты подыхай — никакого внимания! Бунтовал и мой дедушка тоже. Рассказывал потом, и это я хорошо запомнила, как тогда в толпе пронесся слух: «Пушки привезли!..» — «Да не смеют они стрелять!..» Вышел исправник: «Повинуйтесь!..» Никто ни слова. Тогда вышел священник: «Если начальству не хотите повиноваться, то повинуйтесь богу!» На священника кто-то крикнул. И вот тогда он крестом благословил пушки. Исправник махнул белым платочком. Грянула пушка и проложила целый проулок. Некоторые бросились удирать, встретили попа, схватили его и чуть не утопили... Всего было... Я же сама кучекладка... А когда вошла в годы — была несколько лет прислугой у графа Стенбока. Издевалась надо мной барыня, помыкала. Целые дни и ночи работала на них, никогда не могла угодить, все плохо, все худо... На работе и дитя сбросила. А теперь на заводе работаю...

Она внимательно осмотрела всех и, краснея, сказала:

— Вы меня уж извините, товарищи!.. Может, оно и худо говорю, но я думала над этим долго: целые годы... Хочу, знаете, в партию войти... Правда, годы мои шибко большие... Уж за пятьдесят перевалило...

Все радостно зашумели, задвигались:

— Да какие такие ваши годы?..

— Плевое дело...

— Теперь старики идут в партию!..

— Подавай, подавай заявление, Маремьяна... Не бойся, поддержим!..

В этот момент раскрыли двери, вдруг ворвалась к нам бодрая и жизнерадостная песня:

Ве-е-ди-и, Буденный, нас скорее в бой,
Пусть гром гремит...

Я встала у порога и слушала песню. В моем сердце перемешались и гордость, и радость, и слезы...

Вот они, будущие строители, счастливые дети, живущие счастливой жизнью... Они не знают, как жили мы, люди, обреченные в свое время на гибель... Они должны об этом узнать, чтоб еще глубже понять, как хорошо теперь жить на свете!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	6
-------------------	---

часть первая

В ТЕМНОТЕ

Семья	10
Детство	18
Наша семья в городе	22
Семья распадается	25
Моя школа.....	28
Семик	32
Я — учительница	34
Двойное воспитание	35
Бонна	37
Новый царь	41
Кому легче от манифеста?	43
Гвоздарка	46
Заработок около покойников	49
Тряпичник	50
Глухота.....	52
Моя любовь	54
Еще немного об Якове	65
Как я тонула	66
Просватанье	68
Замужество	72
Родители мужа	77
Караван	79
Приезд свекра.....	84
В городе.....	87

Мастерская.....	92
Побои.....	95
Фосфорный цех	97
Голодный год.....	98
Опять дома	101
Коронование Николая	106
Совесть.....	107
Животные	110
Как я начала писать	113
После смерти свекра	115
Переписка	116
Собака	118

часть вторая

ПЕРЕМЕНА ЖИЗНИ

Смерть мужа.....	121
На фабрике.....	122
Фабрика Макаровых	126
На постройке.....	128
Торговля и незнакомцы	133
1905 год	136
По больницам.....	140
Карабаш	154
Опять в больнице	156
Челябинск	159
Эрмитаж	162

часть третья

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

Год четырнадцатый — кровавый.....	164
Опять больница.....	169
1917 год	179

1918 год	187
1919 год	194
Паника	198
Вступление в партию.....	205
На службе в Красной армии.....	206
Друг	214
Тиф.....	215
Профсоюз.....	216
Праздник труда	217
Эвакуация госпиталя на фронт	220
Засиделись	223
Едем	226
Курск.....	230
Мое письмо	233
Первое мая	235
За солью	236
Отпуск.....	237

часть четвертая

СЕМЬЯ СЛУЧАЙНЫХ

На гражданских правах.....	243
На пороге детдома	245
Начало работы.....	248
Наши недостатки	253
Субботник	254
Новая няня.....	257
Откуда они?.....	258
Первая трудовая группа.....	259
Кто виноват?	263
Рабочий день	264
Наши трудности.....	269
Пианино	272
Пасха.....	273

Совещание на полянке.....	276
Не удалось!	279
Эвакуация ребят	280
Споткнулись	282
Наши будни.....	283
Огород себя оправдал.....	286
Детское собрание	287
Детское творчество	290
Расцвет детдома.....	294
Глубокая горе	295
Не до свиданья, а... прощайте	299

часть пятая

В ДЕРЕВНЕ И В ГОРОДЕ

На новую работу	304
Красные посиделки	312
Выборы сельсовета	314
Октябрины.....	315
Аховая жизнь	317
Первое мая	319
На фабрике имени Кутузова в селе Арамиле.....	322
В Ташкинове.....	325
Работа с женщинами.....	328
Аптечка.....	331
На пенсии.....	333
В жакте имени Чернышевского.....	336
Закрутилось	342
Рогожное знамя	348
Ликвидация	349
Через пять лет	352
Эпилог	353

Литературно-художественное издание

Кореванова Агриппина Гавриловна

Моя жизнь

Руководитель проекта О. В. Климова

Набор текста Н. Ф. Тофан

Верстка К. А. Поташева

Электронное сетевое издание

размещено в архиве УрФУ

<http://elar.urfu.ru>

Подписано к публикации 01.06.2021. Формат 84×108 1/32.

Уч.-изд. л. 18,1. Объем данных 3,91 Мб.

Издательство Уральского университета

620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41

E-mail: rio@urfu.ru

<http://print.urfu.ru>

